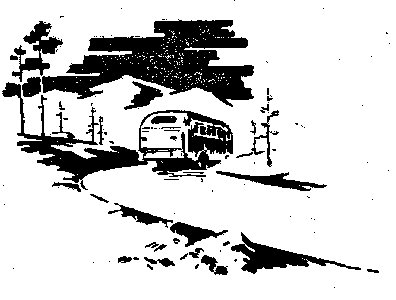
# Река прокладывает русло

# Сергей Снегов

### Часть первая



1

Телеграмма была адресована Пустыхину, но первым прочел ее Бачулин.

Бачулин, двухметровый мужчина с руками гориллы и душою кролика, не поверил своим глазам. Он протер очки, снова впился в аккуратненький телеграфный листочек и ошеломленно сказал:

— История! Выходит, все летит к чертям? Ну, не обрадуются ребята. — После этого он обратился к секретарю Анечке: — Хорошая, просто на коленях прошу: дай телеграмму показать товарищам! Не представляешь, как важно!

Анечка, высокая золотоволосая девушка, была не из тех, кого легко уговаривают. Она отрезала:

— Кому важно, придет и прочитает! Знаю я вас, Василий Романович: в первой же комнате потеряете, а мне потом отвечать!

Бачулин с осуждением пробормотал, в третий раз пробегая глазами телеграмму, чтоб затвердить ее наизусть:

— Не завидую твоему будущему мужу. Придется рассказать, кому следует, что у тебя за характер. А то по незнанию попадет человек в беду.

Анечку, избалованную вниманием молодых проектировщиков, мало трогало, что будет говорить о ней Бачулин. Для порядка она все же ответила гневным взглядом. Бачулин поспешил убраться.

Его мысли были полностью заняты непонятной телеграммой. Он решил ознакомить с ней всю проектную контору и потратил на это три часа из восьми официального рабочего времени. Он ходил из комнаты в комнату, усаживался на столах, подоконниках, чертежных досках или других «подручных инструментах для сидения» (так обычно их именовали в конторе) и, легко покрывая приглушенным голосом общий гул, многозначительно объявлял:

— Старик наш размахнулся, хлопцы! Можете выбрасывать в помойку изготовленные чертежи. Сказочка начинается сначала.

Проектанты по-разному воспринимали его сообщение.

Экономисты сперва разбушевались, но потом, обсудив ситуацию, отпустили Бачулина с миром. Старший экономист Шульгин, импульсивный, нетерпеливый и нетерпимый старичок, даже бросил на прощание:

— Спасибо, Василий Романович, что к нам первым! Утром строители выклянчивали дополнительно двадцать миллионов на всякие свои просчеты и пересогласования. Теперь я им двадцать крестов поставлю, а не двадцать миллионов.

У строителей Бачулин встретил серьезный отпор. Он в увлечении выложил свою новость самому Шуру, руководителю строительной группы.

Шур был худ, прям, как шест, раздражителен и суров, седые жесткие космы на его голове торчали во все стороны, как прутья веника. Остряк Пустыхин, руководитель группы металлургов, говорил о Шуре: «Глядеть на него так же опасно, как на прославленную греками Горгону Медузу, — можно от страха потерять нить мысли. Спорить с Шуром нужно, отворачиваясь». Эта оценка, впрочем, не мешала напористому Пустыхину при удобном случае самому переходить в наступление и, оставаясь с Шуром в приятельских отношениях, «задавать строителям „деру“».

Выслушав Бачулина, Шур задергался от негодования и закричал высоким, сердитым голосом:

— Ну, чему ты радуешься, чему, я спрашиваю? И без тебя тошно, а ты еще чепуху распространяешь!

— Не чепуха, Вениамин Израилевич! — оправдывался Бачулин, побаивавшийся, как и все в конторе, грозного Шура. — Сам читал. Ты же знаешь, я не лгу.

Бачулин, в самом деле, сознательно никогда не лгал. Но так как человек он был увлекающийся, то правда в его изложении часто казалась неправдоподобной. Его ценили как работника, но считали вралем. Среди проектантов о Бачулине ходила острота: «Если Василий утверждает, что вечером солнце зайдет, то к этому сообщению нужно отнестись с большим сомнением».

Шур махал на Бачулина руками, топорща седые космы.

— Врешь, врешь, не мог ты читать подобной глупости!

Совсем по-иному встретил сообщение Бачулина старший инженер группы автоматики Лесков. Лесков был обрадован: наконец и на его улице наступал праздник! Он ударил Бачулина по плечу и пошутил:

— Сплетня бризантного действия, Василий! В другой раз письменно предупреждай, чтоб успели подготовиться. Нет, в самом деле, правда?

Бачулин заверил:

— Чистая, как слеза, Саня! Стану я в таком важном деле...

Лесков прервал его:

— Повтори-ка еще разок для ясности.

Бачулин декламировал телеграмму, как стихи, смакуя каждое слово:

— «Требуемой рабочей силе отказано Точка Предложено срочно перепроектировать учетом комплексной автоматизации производственных процессов Точка Выделяют дополнительно семьдесят миллионов Точка Выбегает крюк Точка Объем строительно-монтажных работ увеличивается Точка Ближайшую субботу назначаю внеочередной технический совет Точка Неделин».

Лесков от возбуждения не мог усидеть на месте. Он захохотал и воскликнул:

— Черт возьми, да это же переворот, понимаешь?

— Переворот! — подтвердил Бачулин, радуясь, что наконец его сообщение оценили по-настоящему. — Говорю тебе: крушение всех проектных основ. Земля дыбом. Придется теперь Пете Пустыхину поработать кудлатой головешкой.

— А что такое крюк, который выбегает?

— Не знаю, — отвечал Бачулин честно. — Сказано, крюк — значит, крюк.

— Нет, а ты как думаешь?

— Да как тебе сказать... Ну, возможно, обыкновенный крюк... Знаешь, такелажный для поднятия тяжестей.

— Не бреши, не бреши, Василий. Перепроектировка завода — и какой-то крюк!..

Лесков помчался к Анечке проверить, так ли все, как ему рассказали. Нет, все было правильно, слово в слово. Лесков бросил телеграмму на стол и улыбнулся Анечке. Та вздохнула. Лесков был единственным среди молодых сотрудников проектной конторы, кто ей всерьез нравился. Это началось еще с прошлого года, когда она пришла на работу в контору. Анечка сразу выделила Лескова. Он был высок, красив, всегда серьезен, почти хмур, это очень шло к нему, недаром все о нем говорили как о талантливом инженере. И, вероятно, он был единственным, кто за ней не ухаживал. Даже два совместных посещения кино — Анечка многого от них ждала — ничего не изменили. Душу Анечки раздирали сложные чувства: она готова была и возненавидеть Лескова и влюбиться в него без памяти.

Она сказала, кивая на телеграмму:

— У вас такой вид, словно вам поднесли подарок.

— Угадали, Анечка! — сказал Лесков, ликуя. — Просто не могу передать, до чего вы попали в точку! В министерстве наконец поняли, что металлургический завод — это не обязательно дымный сарай, где главный герой — человек с ломиком... Нет, это замечательно: волна новой техники докатилась и до металлургов! Наконец-то мы сядем за настоящую работу!

Анечку мало интересовали дела металлургов. Она твердо знала, что заводы — и старые и новые — ужасны: дым, пламя, грохот и грязь. Она сказала:

— Да, кстати, Александр Яковлевич, у нас на будущей неделе запланировано коллективное посещение театра. Вам оставлять один или два билета?

Лесков нетерпеливо отмахнулся:

— Что вы, Анечка, какой тут театр! Боюсь, вдоволь поспать времени не будет.

К этому времени в контору возвратился Пустыхин, с утра уехавший на совещание в горплан. Он бесцеремонно согнал Бачулина со своего стола, на котором тот сидел, и потребовал объяснений: почему шум вместо работы? Пустыхин, главный инженер проекта, язвительный, плотный, с бородой лопаточкой, был признанным любимцем и авторитетом в конторе. Он знал все металлургические заводы страны, был участником крупных проектов, прочитал массу книг, сам писал — имя его было известно среди специалистов. Проектанты свято верили, что если бы не беспощадный язык Пустыхина и неистребимая любовь высмеивать начальство, он давно бы сидел в кресле замминистра или — на худой конец — начальника главка.

— Все говори, не таясь, — приказал Пустыхин Бачулину. — Врешь по обыкновению?

Бачулин с негодованием отверг обидное подозрение. После первых же его слов Пустыхин распорядился:

— Товарищи, кто помоложе, к Анечке! Живо, аллюр три креста!

Положив на стол телеграмму, Пустыхин вслух читал ее, потом перечитал еще раз и задумался, сжимая губы и покачивая головой. Металлурги, не дыша, ожидали слова своего руководителя; они видели, что он изумлен.

— Катастрофа, Петя? — сочувственно сказал Бачулин. — Вроде кирпичом по темени, правда?

Но Пустыхин уже овладел собой и весело вскинул голову. Треща сочленениями пальцев, он стал комментировать телеграмму. Он не стеснялся в формулировках и не подбирал обкатанных выражений. Толкование Пустыхина было категорично, голос ровен, он сразу пришёл к решению, готов был отстаивать его в любом споре.

Смысл его толкования сводился к следующему.

В центре, видимо, разразилась очередная катастрофа. С горных вершин Госплана свергнулась лавина новой кампании. Все, что не несет на себе медного ярлычка автоматизации, опорочивается. Только так надо понимать сообщение управляющего проектной конторой Неделина: человека оглушили неожиданной установкой, он растерялся и понес глупости о коренной переработке проекта. Никакой коренной переработки не будет! Его, Пустыхина, вокруг пальца не обведешь, дудки! Новыми установками его не испугают! Он видел в жизни множество различных кампаний, память хранит ему большой набор сменявших одна другую установок. Но он делал дело, будет делать его дальше. Спроектированные им заводы таковы, какими им должно быть, никто не определит сейчас, в какую кампанию они возводились. Важно, чтоб завод выдавал металл, это существенно, все остальное — фразы, оформление. Что же, оформление можно подобрать, это пустяки.

— Вот так, товарищи! — энергично закончил Пустыхин. — Любая кампания — это показ, выпячивание. Теперь на первый план придется выпячивать автоматику, о каждом пустяке кричать: вот, внедрили! А чтоб случайно не забыть чего-нибудь, выдадим нашим смежникам задание построже. Пусть механики и энергетики попотеют над переделкой своих чертежей, я не возражаю. Спихнем эту ношу на их плечи.

Короткая речь Пустыхина внесла ясность в смятенные умы его сотрудников. Еще минуту назад казалось, что придется ринуться во что-то неизведанное, чуть ли не новые пути открывать. Но получается, просто нужно работать, хорошо работать, они уже давно так работают — выдают грамотные проекты, делают нужное дело.

Пустыхин кивнул Бачулину.

— Валяй, Василий! За сообщение спасибо, но сам готовься к неприятностям: кому-кому, а механикам достанется! Семью потами изойдешь.

Как это ни странно, но перспектива грядущих неприятностей скорее обрадовала, чем огорчила Бачулина. Он уже впадал в уныние: после слов Пустыхина странная телеграмма Неделина как-то на глазах потускнела, посерела и растеряла свою многозначительность. Бачулин любил масштабы и готов был примириться с неприятностями, лишь бы не потеряться в мелочах. Насвистывая бодрую песенку, он отправился наконец к себе и вскоре с головой ушел в чертежи.

В конце дня к механикам пришел Лесков. Уставший от конструктивных расчетов Бачулин, зевая, откинулся на стуле. Он любил поболтать, к тому же Лесков был его приятель.

— Ну как? — спросил Бачулин, возвращаясь все к той же теме. — Интересную я вам выдал новость, правда? Ты что скуксился?

Лесков казался мрачнее обычного. От недавнего ликования в нем не осталось и следа. Сухощавое нервное лицо его было насуплено, широкие черные брови грозно сведены к переносице, пальцы непроизвольно постукивали по столу. Бачулин знал Лескова уже три года, но еще ни разу не видел в таком волнении.

— Я от Пустыхина, — сказал Лесков. — Крупно побеседовали. Без всякой дипломатии.

Бачулин оживился:

— Ну? В самом деле? О телеграмме Неделина?

— О телеграмме. Поделились мнениями.

— Очень интересно, Саня! Я ведь тоже толкования Петины слыхал. Он утверждает: нет никакого поворота, все остается по-старому, работаем, как работали.

Лесков гневно взглянул на Бачулина, словно эти возмущавшие его мысли исходили от самого Бачулина.

— Мне он это тоже выложил! Ну, я не постеснялся...

— Ругались?

— Нет, не ругались — объяснились. Иное объяснение хуже ругани.

— Да ты толком, Саня! О чем конкретно?

— Обо всем. Что его проектное задание на завод — очковтирательство, а не новая техника. Что нас он еще может подавить своим авторитетом, а в Москве люди поумнее, там разобрались и постановили: переделывать. И что надо срочно перестраиваться, пока всем нам не дали по шапке.

— При всех такое вывалил? — Бачулин покачал головой. — Сильно, сильно! А он что?

Лесков пожал плечами.

— Ничего. Молчал и посмеивался, потом вскочил и предложил после работы побеседовать наедине. Даже проводил меня до двери, очевидно, чтоб больше я его на людях не разносил.

Бачулин с сочувствием глядел на упрямое, энергичное лицо Лескова. Он всей душой желал приятелю успеха, но страшился трудностей задуманной Лесковым борьбы. Нет, не легко приходится тому, кто открыто встает на Пустыхина.

2

Пустыхин считал дни. До заседания технического совета оставалось трое суток — слишком мало, чтоб переубедить колеблющихся и разгромить противников. Пустыхин не сомневался: драка предстоит крупная, такой, пожалуй, у него еще не бывало — все словно взбесились. Он наметил линию: бороться против тех, кто отвергает любую переделку проекта, как Шур и Шульгин, а еще больше — против тех, кто слишком заносится, как Лесков. Постановление правительства не могло быть детальным, это руководящие указания, конкретизировать их придется на месте. Кто явится на обсуждение с готовой программой переделок, тот окажется сверху — танцевать пойдут от его программы, как от печки. Пустыхин часто говорил: «Счастливые случайности — это явления, тщательно подготавливаемые заранее». Он торопливо работал, дополняя свое старое задание новыми требованиями, мысли его уносились в сторону. Пустыхин улыбался, он обдумывал не только технические аргументы, но и насмешки, злая шутка всегда была верной его помощницей, скоро, скоро он обрушит ее на головы Шуров и Лесковых!

Шур его беспокоил мало: это был старый противник и друг, уже не раз они наступали друг дружке на мозоли. Но от идей Лескова Пустыхин готов был отбрыкиваться обеими ногами. Происходило это не оттого, что он боялся всего нового, как это случалось с другими. В основе его сопротивления лежали более тонкие причины.

Каждый человек имеет заветный «пунктик» — нечто в себе, чем гордится и за что особенно себя уважает. У Пустыхина тоже был такой «пунктик», он не скрывал его, говоря на совещаниях: «Возможно, вы правы, но я инженер средний, я привык так...» И с торжеством называл главное свое качество: ни один из разработанных им проектов не забраковывался, все они были осуществлены на практике. В первый момент — особенно для людей малоопытных — горделивость Пустыхина казалась странной: инженеры для того и проектируют, чтобы проекты осуществлялись, это так же естественно, как естественны люди с нормальным зрением. Пустыхин не спорил, он указывал только, что естественность эта очень редка: нормальное зрение встречается раз на сто случаев, а проектанта, всегда осуществляющего свои проекты, и днем нужно искать с огнем. Пустыхин был таким проектантом. Он не был робким делягой, в каждом его проекте встречалось что-либо новое и своеобразное, у него выработался свой особый почерк, он всегда был на один шаг, но только на один шаг впереди своих товарищей. Этот шаг был неизменно верным. Ошибок Пустыхин не признавал, и не только потому, что за ошибки били. Он развил в себе особое, редчайшее чутье, почти талант — понимание того, что наверняка осуществимо. Если чутье подсказывало ему, что новшество может провалиться, Пустыхин попросту отвергал опасное задание или умело спихивал его на плечи соседей.

Уже с первых слов Лескова Пустыхин решил, что тот требует неосуществимого. Для Пустыхина это означало одно: Лескова нужно осадить. «Завод без людей! — думал он, угрюмо усмехаясь. — Крепенько формулирует. Для газетной статьи подойдет, а в чертеж не уложится!»

И когда Лесков после работы явился в комнату металлургов, между ним и Пустыхиным состоялся откровенный разговор, все поставивший на свои места. Пустыхин для удобства пересел со стула на стол.

— Выкладывайте! — сказал он почти приветливо. — Какие вы у меня обнаружили уклоны, загибы и перегибы? Правые, левые, продольные или поперечные?

Лесков повторил то, что уже днем сказал о проекте. Задание Пустыхина создает впечатление, что новая техника внедрена во все процессы, но это только видимость. Автоматических регуляторов много, а автоматизированного производства нет — осталась масса ручного труда! Вот что его, Лескова, бесит — они делают пустое дело. Телеграмма Неделина требует совсем другого.

Пустыхин слушал Лескова внимательно. Его живые темные глаза то улыбались, то вспыхивали иронией, то делались вдруг серьезными и ласковыми. Он лицом и глазами словно подбодрял и подталкивал: вали, не стесняйся, тут все свои. Но Лесков не умел спорить. Он иссяк уже на третьей минуте, смутно чувствуя, что не опровергает ошибки проекта, а только бранится, отвергая его в целом.

— Хорошо! — сказал Пустыхин с одобрением. — Очень искренне! Приятно работать с человеком, который верит в то, что слова — это не слова, а дела. Впечатление такое, как будто выпил чего-то освежающего.

— Это не ответ! — крикнул Лесков запальчиво. — Прошу разобрать мои аргументы по существу!

— А это и есть существо ваших аргументов, Александр Яковлевич, — то, что вы молоды и неопытны. Сейчас я оглушу вас одним-единственным вопросом, и после ответа на него вы будете мертвы. Понимаете, мертвы! Вопрос таков: что вы предлагаете?

Лесков изумился:

— Как что предлагаю! Именно то, о чем говорится в телеграмме Неделина, — комплексную автоматизацию! Никакого ручного труда, работают одни машины, люди лишь наблюдают за машинами. Только такое производство надо проектировать.

Пустыхин с торжеством стукнул ладонью по столу.

— Вот тут я вас и поймал, дорогой Александр Яковлевич. Такого производства нет. Что вы на меня уставились? Повторяю: нет его, этого вашего совершенного, полностью автоматизированного металлургического производства, завода без людей, с цехами на замке. Нигде нет: ни у нас, ни за границей. Это производство еще только рождается в умах исследователей, в тигельках лабораторий, и никто не знает, каково оно будет.

Лесков знал, что именно это возражение выдвинет против него Пустыхин, и подготовился — сейчас начинался настоящий бой.

— Ну и что же? — сказал он с вызовом. — Знаю, что подобного производства еще нет. Тем более надо его создать, раз оно не существует. Разве не в этом задача проектировщика — разрабатывать то, чего до него и в помине не было, а вовсе не повторять зады? Срочно закажем промышленности новые машины...

— А пока будут разрабатывать новые машины, мы на целые годы сложим ручки на животе? — спокойно заметил Пустыхин. — Удивительная у вас фантазия, Александр Яковлевич! Вы, кажется, думаете, что вся жизнь вращается на подшипниках ваших желаний? Поймите нашу реальность: площадка для проектируемого завода уже подготавливается, мы не можем ждать недели, а вы предлагаете потратить годы на исследования и разработку! Вы, как фанатик, свято верите в каждое пышное название, за которым ничего важного и нового не кроется.

— Как ничего? — чуть ли не крикнул Лесков.

— Ничего! — с силой повторил Пустыхин. Он решил говорить начистоту: мальчишку следовало поставить на место, чтоб он не наделал неприятностей. — Скажите, пророк автоматизации, в какую сумму должна обойтись перестройка всей металлургической цепочки по вашему плану? Это ведь новые агрегаты, оборудование, размещение зданий и прочее. Я понимаю, вам трудно указать точную цифру. Никто ее не укажет. Я прошу дать грубую оценку.

— Ну, это очень приблизительно, — сказал Лесков, замявшись. — Думаю, что-нибудь вроде четверти сумм, отпущенных на завод в целом.

Пустыхин кивнул головой.

— Именно. Порядок дополнительных затрат вы оценили правильно. Но завод, да будет вам известно, обойдется свыше двух миллиардов рублей, а четверть составит ровно пятьсот миллионов. Улавливаете, дорогой? Неделину же отпускают дополнительно семьдесят миллионов. Неужели академики Госплана не знают, что они делают? Неужели они не понимают того, в чем так хорошо разбираемся мы с вами? Чепуха, все они знают! Просто и в мыслях у них не было требовать от нас революции, о которой вы мечтаете. Понимаете ли вы теперь, что формула «комплексная автоматизация» — только хлесткая фраза, некрепкая голова от нее кружится, а в сущности — это фикция, ярлык очередной кампании.

Лесков был сражен. Растерянный, он смотрел на Пустыхина. Тот болтал ногами, сидя на столе, и светил проницательными глазами. Он наслаждался разгромом, учиненным Лескову. Он знал, что против таких аргументов возразить нечего.

— Вот так, дорогой Александр Яковлевич, — подвел он итоги. — Давайте бросим утопии. Слова останутся словами, а дело делом. Мы займемся, как всегда, делом.

Лескова, однако, разгромить было легче, чем заставить признать поражение. Он сказал упрямо:

— Я все-таки буду отстаивать свой план — требовать разработки новых машин, а не ориентироваться на готовенькое. Можно в конце концов добиться увеличения ассигнований. Уверен, что Неделин посмотрит иначе, чем вы. И на техсовете я тоже с этим выступлю.

Выговорив все это, Лесков вызывающе посмотрел на Пустыхина.

— Что ж, выступайте, — холодно ответил Пустыхин после недолгого молчания.

Больше они не спорили. Лесков удалился, Пустыхин соскочил со стола и задумался. Если бы Лесков увидел сейчас обычно веселого и насмешливого Пустыхина, он бы возликовал: противник его был мрачен и раздражен. Одного, только одного он не сказал Лескову, один слабый пункт не расшифровал, а мальчишка с какой-то безошибочной интуицией все бьет и бьет по этому месту. А может, у него не интуиция, а логика, может, он прав, этот мальчишка? Смотри, с каким убеждением спорит, как горячо и искренне! Молодец все же! Вздор, прав он, Пустыхин, как уже десятки раз бывал прав в спорах с другими мальчишками. Все это очередная кампания, ничего больше. Развитие техники идет своим порядком, это — глубинное течение, а наверху кипят поверхностные бури — кампании. Лесков теперь поднимет крик, и этот крик понесется по ветру новой кампании. Свою фантастику он прикроет модными фразами. Против мыслей можно спорить, идею можно опровергнуть. А против модных фраз защиты нет. Лесков завопит: «В проекте узаконивается ручной труд, какая же это автоматизация?» И все с ужасом закачают головами: «Ах, нехорошо, нехорошо! Ручной труд, говорите? Кошмар!» Ручной труд сохранится, конечно, но дело будет стоять, нервы им потреплют. Техника остается техникой, она развивается шагами, скачками, а не взрывами, как того хочется всяким мальчишкам. Это истина, такая же истина, как то, что солнце встает на востоке, а детей рожают женщины, — глупая, банальная, святая правда. Легче ему, Пустыхину, от сознания, что правда на его стороне, не станет. За правду тоже бьют, и больно!

— А ты уже и испугался? — вслух с презрением спросил себя Пустыхин. — Поджилки затряслись? Что-то раньше я в тебе, друг, трусости не замечал!

Он продолжал размышлять. Итак, примирение с Лесковым не состоялось, будет драка. Что ж, подеремся! Он, Пустыхин будет драться не из амбиции, а за важное дело, чтобы разрабатываемый им завод быстрее вступил в строй, скорее дал необходимую стране продукцию. Лесков, возможно, найдет сторонников, таких же прожектеров, но и он, Пустыхин, тоже не окажется в одиночестве. Сейчас главное — убедить Неделина, чтоб он не поддался Лескову. Черт его знает, с какими настроениями Неделин приедет из Москвы! Телеграмма его, прямо сказать, туманна.

На столе у Пустыхина зазвонил телефон. Обругав себя, он схватился за трубку: вспомнил, что обещал в этот вечер жене и двум дочерям-близнецам, оканчивавшим среднюю школу, пойти наконец в театр — больше года не находил он на это времени.

— Петя, ты совсем потерял совесть! — с упреком сказала жена. — Ну как можно так опаздывать? Мы давно одеты, ждем тебя. До начала осталось всего полчаса.

— Милая, прости, очень важное дело, никак не мог отложить! — оправдывался Пустыхин. И тут же по обыкновению пошутил: — Сама виновата, зачем выбирала в мужья бессовестного человека? Я бы на твоем месте давно подал на развод из-за непригодности мужа к семейной жизни. Поверь, ни один суд не откажет: слишком серьезные доказательства.

Жена только вздохнула в трубку: он всегда отшучивался, когда бывал виноват, не спорил, но извинялся. И она понимала, что он в самом деле перегружен, она даже немного гордилась этим — его всегдашней занятостью, тем, что всем он нужен не меньше, чем ей самой. Она поспешно сказала:

— Выезжай прямо в театр, Петя, встретимся у входа. Мы уже выходим из дому.

— Хорошо, иду в театр, — пообещал он.

Пока он надевал пальто, снова зазвонил телефон. Приехавший только что Неделин просил немедленно зайти к нему домой. Пустыхин вспомнил о жене и дочерях и с шутливым отчаянием махнул рукой. Ладно, нехорошо, конечно, но посмотреть спектакль им придется и на этот раз без него.

3

Михаил Георгиевич Неделин, управляющий проектной конторой, был человек опытный. Он свободно разбирался в работе своих подчиненных, хоть давно не садился сам за чертежную доску. Под его руководством были спроектированы крупнейшие заводы страны, заводы эти работали, выдавали хорошую продукцию — немало тут было и его усилий. Но все знали, что за новую и, главное, сложную работу Неделин берется без особой охоты: он был осторожен и недоверчив. Пустыхин шутил о нем: «У Неделина застарелый административный ревматизм: на каждом новом задании кости ломит». А в министерстве с насмешливым уважением говорили об умении Неделина отделываться от рискованных начинаний: «По части спихотехники Неделин — классик: пушинку на него взвали — тут же на соседа переадресует». Но, расписавшись в получении плана, Неделин с головой уходил в дело, не давал спуску ни себе, ни другим. Сам он это объяснял так: «Похвала в кармане не залеживается, а хула тело жжет».

У Неделина на диване сидел высокий толстый и хмурый человек. Он громко сопел, рассматривая картинки в журнале.

— Знакомьтесь, Петр Фаддеевич, с товарищем Крюком, начальником нашего строительства, — представил его Неделин. — Прилетели вместе, будем утрясать спорные вопросы.

— Знаете, сообщение о вашем приезде в Ленинград вызвало у нас целое смятение, — весело сказал Пустыхин Крюку. — В телеграмме напутали: взамен «вылетает» написали «выбегает». Представляете, какие были толкования? «Выбегает крюк»!

Крюк даже не улыбнулся. Он, видимо, принадлежал к людям, которые ничему не удивляются, ни на что особенно не сердятся и ничем глубоко не увлекаются. «Замедленного действия мужчина», — быстро и насмешливо определил его в уме Пустыхин.

Неделин предложил:

— Расскажите нам с Владимиром Семеновичем, как у вас дела идут.

— Нет, раньше вы рассказывайте, что нового в Москве, — потребовал Пустыхин. — Телеграмма ваша многих в уныние повергла, а которые в пляс пускаются.

— Да, Москва! — вздохнул Неделин. — Много в Москве нового. Вся Москва новая! Сколько за эти два года перемен — страх! Густо, густо новые веяния пошли в столице.

О новых веяниях Пустыхин знал не хуже Неделина, но слушал с интересом. Неделин подробно описывал все, что его смутило. Он знал, конечно, что к проекту придерутся, без придирок дело не делается: тут, мол, переборщили, там недоборщили, а в общем, все в порядке. Но разговор пошел иной. В министерстве появилось еще одно управление — по новой технике, начальник его — замминистра, не кто-нибудь. И вот зам этот объявляет, что проект неплохой, но для теперешних условий не совсем подходит: новое нужно, вступление от стандартов...

— Я, конечно, вытаскиваю блокнот, — рассказывал Неделин. — Где требуется новое — том, раздел, страница? Что именно новое? Ну, и, само собой, предупреждаю: всего осуществить не сумеем, сроки поджимают. А он мне вдруг: «Что же я буду вам подсказывать? Сами думайте, творите! Контора ваша солидная, ждем от вас свежего слова». Вместо четких указаний что-то неопределенное: творите! Ну, я ему высказал свои соображения, не постеснялся, что зам. Он говорит: «Ладно, пойдемте потолкуем к Баскаеву».

Пустыхин Баскаева хорошо знал. Было забавно представлять, что такой нетехнический разговор мог повториться у Баскаева, не терпевшего общих фраз и эластичных формулировок. Пустыхин поинтересовался:

— Баскаев, конечно, вправил мозги этому новому заму?

— В том-то и штука, что нет! — торжественно сказал Неделин. — Вы не поверите, совсем другим человеком стал Баскаев. Ни крику, ни этого — оборвать на полуслове. Новый зам докладывает мнение экспертов: завод как завод, много уже таких имеется. Баскаев только покосился: «А вы что же, хотите, чтобы завод был не как завод?» Тот улыбается: «Именно, Сергей Николаевич, новые предприятия не должны походить на старые: такова моя мысль». Я, конечно, взмолился: мы же не исследовательский институт — новые пути прокладывать, мы проектировщики: сегодня выпускаем чертеж, завтра это уже действующий агрегат! Ну, Баскаев проворчал: «Резон тут есть, неделинцы — коллектив известный, но не все у них там Ньютоны и Менделеевы. Будьте любезны, поконкретнее». Только тогда зам говорит: «Главный недостаток проекта — невысокая производительность труда, автоматизации не хватает; с варварством этим — ручным трудом — пора кончать». Тут же и сроки согласовали: четыре месяца на все переделки.

— Ну, и как вы все это расцениваете, Михаил Георгиевич? — помолчав, спросил Пустыхин.

— Поворот! — решительно сказал Неделин. — Новая установка спущена — на самостоятельность. Прямая директива дана: новаторствовать. Ведь случалось иногда — за малую ошибку заклевывали. Попробуй тут себя прояви! А теперь, по-моему, многие ошибки простят ради новаторства. Мой вывод: надо дерзать!

Пустыхину слова Неделина показались чудовищными. Дело было не в содержании, не он один теперь говорил о повороте, о праве на самостоятельность, о новаторстве. Чудовищное было в том, что это произносил Неделин, еще недавно боявшийся новой мысли, как ереси. Сколько крови в свое время попортил себе Пустыхин, уговаривая его принять то или иное незначительное новшество! На все у Неделина был готовый ответ: «Государственный стандарт нарушаем — по головке не погладят!». И вот этот человек болтает о дерзании, о творчестве, о новых путях в технике — зрелище для богов! А впрочем, Неделин не изменился. Он всегда был исполнителем, осуществлял четкие, как угольник, задания. Сейчас его ошарашили новой установкой: твори! Усердствуя, он снова кидается исполнять: будет требовать от всех открытий, сам не хуже Лескова занесется в облака. И, возможно, любой вздор покажется ему приемлемым только потому, что это будет не старый вздор, а новый. Все эти иронические и мрачные мысли быстро проносились в голове Пустыхина, отражаясь на его подвижном лице.

Неделин с подозрением на него посматривал: он почуял что-то неладное.

— Так как же у вас? — повторил он. — Ориентировочную прикидку нового варианта уже составили? Учтите, замечания эти — насчет переделок — серьезные, тут отмахнуться пустячком не удастся.

Пустыхин успокоил его. Он уже понимал, как надо разговаривать с этим преображенным Неделиным. Нужно не спорить, со всем соглашаться и все делать по-своему. Пустыхин внушительно читал набросанное им задание переделок, на ходу — словно по писаному — вставлял в него новые пункты.

Неделин удовлетворенно кивал головой. Он видел, что Пустыхин постарался. В разговор вступил молчавший до этого Крюк.

— Новое разрабатывайте, а от земли не отрывайтесь, — сказал он, сопя еще сильнее. — Можете и такое напроектировать, что ни один строитель не выстроит.

Он встал и потянулся. Неделин с Пустыхиным тоже встали. Крюк обещал завтра зайти в контору посмотреть чертежи. Особо его интересует технический совет, может, придется даже выступить, чтоб объяснить товарищам положение на строительной площадке.

— Продолжим нашу беседу, Михаил Георгиевич, — предложил Пустыхин, когда Крюк ушел.

Теперь он говорил совсем по-иному. Неделин, не прерывая, только удивленно поглядывал на Пустыхина: ему казался странным слишком серьезный тон главного инженера проекта. Скоро он понял причину этого.

— Вы спрашиваете, как у нас дела? — сказал Пустыхин. — Скверно дела. Боюсь, придется кое-кому крепко дать по рукам, чтоб не губили проекта.

Он сообщил Неледину о своих спорах с Лесковым, о неладах с Шуром и Шульгиным, о всех подспудных течениях в конторе. Пустыхин твердо следовал своей методе: старательно подготавливал счастливые случайности, заранее нейтрализовал несчастные, заблаговременно опровергал и высмеивал своих противников. Но Неделин покачивал головой, не во всем с Пустыхиным соглашался. Он без осуждения отозвался о планах Лескова — предъявить дополнительные срочные требования к промышленности. Тогда Пустыхин переменил тон. В голосе его появились угрожающие нотки. Кому-кому, а Неделину достанется, если проект вовремя не поспеет. Надо выбирать: или застрять на год ради внесения непроверенных новшеств — черт их еще знает, как они пойдут на практике, ведь все это лабораторные разработки! — или сделать в срок хороший завод, без переворотов в технике, но самый передовой в Союзе, — за это он, Пустыхин, ручается.

Пустыхин бесстрашно добавил:

— Уступите стратосферщикам — готовьтесь к тому, что дадут по спине за проволочку с выпуском проекта, а начнут его проводить в жизнь — догонят и еще добавят. И палок не пожалеют, в этом можете быть уверены.

Неделин поморщился. Он не любил грубостей, хотя картина, нарисованная опытной рукой Пустыхина, казалась правдоподобной. К тому же Пустыхин был самым дельным человеком в конторе, его ценили в министерстве. Но и заряд, привезенный из Москвы, не был еще израсходован. Неделину жаль было расстаться с мечтами о неслыханном заводе, он успел по дороге домой уверовать, что именно им предстоит такой завод спроектировать.

Неделин дружески предложил:

— Что нам в одиночку препираться, Петр Фаддеевич? Техсовет не за горами, поспорим на техсовете.

— На совете решают; думать надо до совета. — Пустыхин, рассерженный, что Неделин не сразу с ним во всем согласился, пригрозил: — Я свое особое мнение запишу, если со мною не согласятся, спросят потом с вас, как с председателя техсовета.

4

Пустыхин взволновался больше, чем сам ожидал. Крепко же разворачивается новая кампания, если даже такого зубра, как Неделин, заставили скакать жеребчиком! Вполне возможно, что Неделин поддержит Лескова из одного бюрократического понимания новаторства. И, конечно, они найдут поддержку в министерстве — там тоже не жалуются на недостачу чинуш. Неделина еще по головке погладят: молодец, выполнил и перевыполнил заданные показатели по творчеству, вон сколько всяческой новизны! А к чему это приведет: сразу ли пойдет завод или замучится в болезнях освоения. — это чинуш мало касается. К тому времени, когда завод сдадут в эксплуатацию, их или не будет, или установки их забудутся, или еще что-нибудь новое приключится. «Установщики! — гневно думал Пустыхин об этих людях и о Неделине. — Технические мотыльки! Живут только сегодняшним днем — ни огня, ни души». Нет, он, Пустыхин, не таков! Он гордится своими работами. Он не допустит, чтобы кто-нибудь презрительно сказал через несколько лет: «Да ведь это Пустыхин с товарищами проектировал, они тут много непроверенного вздора насовали, не удивительно, что ничего не ладится».

Утром он забежал в машинописное бюро и распорядился размножить и разослать по секторам программу переработок.

Уже через час во всех секторах шло горячее обсуждение наметок Пустыхина. Возвратившись после обеда, Пустыхин застал у себя Шура с Шульгиным. У Шура было печальное и строгое лицо, Шульгин усмехался зловещей улыбкой. Пустыхин понял, что на него ведут контратаку. Он воскликнул со слишком шумной веселостью:

— Здорово, бояре! Зачем пожаловали?

Шур скорбно выговорил только одно слово:

— Чепуха!

Пустыхин снисходительно возразил:

— Ну, не совсем же чепуха! Шур стоял на своем:

— Чепуха, Петр, чепуха! Если принять твое задание, придется менять коробки и компоновку многих цехов. Неужели ты не понимаешь, что это сейчас неосуществимо?

Шульгин повернул к Пустыхину сверкающие под седыми бровями глаза.

— Половину! — сказал он грозно и сделал рукой жест, означающий отсечение головы. — Половину, Петр Фаддеевич! Бюджет не выдерживает: по ориентировочной прикидке, ты тут миллионов на сто тридцать размахнулся.

— Кое в чем, конечно, ужаться можно, — согласился Пустыхин. И бесстрашно глядя на седые космы Шура, он твердо сказал: — Только на многое не надейтесь, дорогие товарищи. Комплексную автоматизацию вводить — не трактор покупать, тут потребуются бюджетные жертвы.

— Ассигнования будут, жертв — нет! — веско ответил Шульгин. — Смета давно утверждена, не забывай этого!

А Шур, уходя, пригрозил:

— Я понимаю, Петр, твою затею, только она не пройдет! Ты вызываешь ажиотаж и наваливаешь работу на других. А работать нужно главным образом тебе. Честно предупреждаю: подниму большой шум, если свои астрономические затеи не укоротишь.

— Шуму много — толку мало, — беззаботно ответил Пустыхин.

Он, однако, сознавал, что даже в споре с самым слабым противником, Шурам, позиции его не во всем тверды. Шур мог создать вокруг Пустыхина атмосферу всеобщего подозрения в фантазерстве. Перед заседанием технического совета это было нежелательно. Пустыхин принял незамедлительные меры.

Утром следующего дня на стене был вывешен свежий выпуск стенгазеты «Труженик рейсшины». После серьезных статей о значении автоматизации и отчета о перевыборах месткома было помещено снабженное иллюстрациями огромное объявление:

НОВОСТИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Местная самодеятельность. Строители возобновляют постановку комедии Шекспира

«МНОГО ШУРА ИЗ НИЧЕГО»

Ежедневные репетиции на главах у всех. Смех до упаду.

В экономическом секторе новая цирковая программа. Популярные комики в вопросах экономики. Хождение на сметных канатах.

Бюджетное чревовещание. Эквилибристика плана.

Последнее достижение автоматики.

СОЛО — ЛЕСКОВ

Полет на ракете в стратосферу. Без руля и без ветрил в чистом эфире.

Возвращение на Землю не гарантируется.

Ужас без конца!

Вез справки из домкома о нормальных умственных способностях вход воспрещен!

Объявление имело успех. Перед стенгазетой весь день толпились хохочущие проектанты. Шур сказал Пустыхину с мрачной печалью, но без злобы:

— Дурак ты, Петр. Смех ничего не опровергает.

— Смех убивает, — нашелся Пустыхин.

Он торжествовал. Он видел, что Шур растерялся от неожиданного выпада. Еще хуже чувствовал себя Лесков. Они встретились с Пустыхиным в коридоре. Лесков, молчаливый и раздраженный, прошел мимо, не поднимая глаз.

5

Александр Яковлевич Лесков, по утверждению его приятелей, был составлен из шипов, игл и раскаленных стальных полос, скрепленных цементом нетерпимости. Даже его сестра Юлия, с ранних лет заменившая ему мать, — она была на одиннадцать лет старше, — не раз говорила с досадой: «Санечка, ты удивительный человек, голова служит тебе лишь для того, чтоб бодаться». И сам он, заболевая припадками самокритики — они появлялись с регулярностью малярийного приступа после каждой неудачи — мрачно сознавался в подлом характере. Но, как это ни странно, все трудности жизни Лескова проистекали из того, что в нем соединились три хороших качества: любовь к своему делу, последовательность мысли и бесстрашная откровенность. В целом они составляли такую неудобную для окружающих комбинацию, что даже близкие друзья временами побаивались его. Начальство переносило Лескова лишь в малых дозах. На ответственные совещания Лескова приглашали, только когда решались вопросы, относящиеся непосредственно к его работе, при этом заранее были уверены, что неприятностей не избежать.

После издевательского объявления в «Труженике рейсшины» не только один Пустыхин понимал, что предстоящее заседание технического совета мирно не пройдет.

Необычность чувствовалась во всем. В кабинете Неделина, где заседал техсовет, натирали полы, развешивали светокопии чертежей. Сам Неделин на два дня переехал в строительный сектор к Шуру. Заседание было назначено на три часа, но члены совета собрались в половине третьего: опаздывать на техсовет считалось неприличным. Необычность была и во внешнем виде собравшихся: проектировщики явились в новых костюмах, гладко выбритые, в воздухе смешивались запахи одеколона и хороших папирос. Один Шур пришел в потрепанной, старомодной толстовке, в какой обычно работал, лишь снял сатиновые черные нарукавники. И люди держали себя с приличествующей обстановке торжественностью — вплоть до начала заседания говорили о посторонних вещах. «Будет буря! — шепнул Пустыхин соседу. — Слышите, старый черт Шульгин болтает о кинокартинах, хотя никуда не ходит, кроме булочной, и то, если жена погонит».

Все работники проектной конторы знали о спорах Пустыхина с Лесковым и Шуром. Анечка, отмечавшая пришедших на заседание, сказала Лескову:

— Вы не отпечатали своей речи, Александр Яковлевич? Неужели без бумажки будете говорить?

Лесков удивился:

— Кто вам сказал, что я собираюсь выступать?

— Знаю, — уверенно ответила она. — И все это знают. Петру Фаддеевичу достанется от вас. Никто даже не сомневается!

Лесков покачал головой. Он ни с кем, кроме Бачулина, не делился своими соображениями. Правда, Неделин вызывал его и с сочувствием выслушал, но это происходило с глазу на глаз. «Василий раззвонил!» — недовольно подумал Лесков.

— Желаю успеха! — шепнула Анечка. — Большого, большого успеха!

— Значит, вы болеете за меня, Анечка? — Лесков улыбнулся. — Что же, это очень приятно, такая внушительная поддержка!

— Не шутите! — сказала Анечка с упреком. — Я ведь серьезно.

Лесков уселся возле Шура, напротив Пустыхина. Давно прошло то время, когда Лесков приходил на заседания техсовета, полный ожидания великих откровений. За три года, проведенные в проектной конторе, он стал опытнее. Он знал уже, что все эти заседания — парад: все существенное решается в личных беседах, в спорах над чертежами и схемами, здесь лишь придают этим решениям официальную форму, считающуюся почему-то обязательной. Знал он и о том, что выступление его не будет иметь серьезных результатов, хотя Анечка и желала ему успеха. Правда, Неделин на этот раз, кажется, за него, но хватит ли у Неделина смелости поддерживать Лескова против всех? Лесков собирался драться до конца, вплоть до формального осуждения своей позиции в протоколе. И оттого, что он проникал сквозь внешнее напускное в подспудное существо каждого, он видел истинное в них, то, в чем они не всегда перед собой признавались. Это было удивительное состояние: перед ним двигались и шумели люди, зал расцвечивался яркими галстуками, хорошими костюмами, ослепительными улыбками и сияющими взглядами, все это казалось ему картинами давно известной пьесы. Лесков громко рассмеялся, на него зашикали: он помешал Неделину, открывавшему заседание. Лесков продолжал улыбаться, прозрение, осенившее его, превращало все образы в карикатуры.

Рядом с Неделиным в конце стола сидел массивный и хмурый Крюк; во все углы обширной комнаты доносилось его шумное дыхание. Все с интересом поглядывали на него, стараясь догадаться, о чем он думает.

Неделин был опытным оратором, он знал, какие речи нужно говорить на собраниях.

— Мы крупный творческий коллектив — такова оценка нашей деятельности со стороны руководящих товарищей, — отметил он значительно. — Мы должны оправдать делами эту характеристику. А сейчас промышленность на пороге нового технического переворота. Кто, кроме нас, может его возглавить?

Он рассказал о новых требованиях, предъявляемых к проекту, упомянул о спорах в конторе: что ж, в спорах рождается истина, не нужно лишь превращать их в личные дрязги. «Я требую принципиальных решений», — заявил Неделин. А Лесков различал за этими хорошими и справедливыми фразами другое, невысказанное. «Товарищи! — укоризненно говорил Неделин этими невысказанными словами, — вы, кажется, собираетесь затеять драчку, вот уж не люблю я драк! Учтите, тут сидит Крюк, человек нам посторонний, он все запомнит и после — при случае — свои же непорядки спихнет на нас, так и скажет: они напутали, а я расхлебываю!»

Докладчиком по проекту выступил Пустыхин. Он детально разобрал то новое, что они внесли в проект, и следствие этих новшеств — немалый скачок в производительности труда. И снова Лесков видел два непохожих обличья одного и того же. Пустыхин разъяснял: «Под нас не подкопаешься, мы шагаем в ногу со временем. Раньше, в годы первых наших пятилеток, мы были впереди. Сегодня, в начавшуюся эпоху смелых технических полетов, мы тоже не отстанем. Новые времена — новые установки. Установки выполнены». А за этими бодрыми заверениями звенел вопль души: «Братцы, не подкачайте! Идет очередная кампания! Сами-то хоть не придирайтесь друг к другу! Нам завод строить, это же не фунт изюма!» Лесков злился: Пустыхин ловко затушевывал истинное содержание их спора. Казалось, он как раз восхвалял все новое и передовое, но это были только слова, все это обычно так и называлось, презрительно и метко: «Внешнее оформление».

Дискуссию открыл Шур. Зал шумел и смеялся: Шур в раздражении разносил выданное Пустыхиным новое задание. Если все принять, потребуется перепланировка площадки: выдача чертежей задержится на месяцы. Но зал смеялся не над этим, он смеялся над тайной обидой, звучавшей в каждом слове. «Вот смотрите, — говорил Шур вторым значением своих слов. — Завод, по существу, остается прежним, меняется в нем очень немногое. И это немногое целиком спихнули на нас, строителей. Технологи благодушествуют, а нам работы по горло. Мы справимся, не сомневайтесь, но ведь теперь нас сделают ответственными за все задержки! Разве это хорошо — отыгрываться на чужом горбу?» И зал отвечал улыбками и шумом: «Да, трудно вам придется, строители, но что ж тут поделаешь?»

Следующим ринулся в бой Шульгин. Зловеще глядя на Пустыхина, он огласил свои подсчеты. Если провести в жизнь новую программу, капиталовложения вырастут больше, чем на сто миллионов против утвержденной сметы. Он спрашивает: откуда взять эти суммы?

— Я требую, Михаил Георгиевич, — кричал Шульгин, повернувшись к Неделину, — чтобы прекратили разбазаривание государственных средств! Пора дать по рукам фантастам и стратосферщикам! Проект разрабатывать — не кантаты сочинять! — И, размахивая листком расчетов, он пригрозил совету: — Я собаку в этих делах съел, товарищи, я торжественно заявляю: не дадут нам этих немыслимых миллионов!

Пустыхин пробормотал негромко, но так, чтобы соседи слышали:

— Собаку съел, а хвостом вилять по обстановке не научился!

Пустыхин сиял. Дискуссия катилась по разработанному заранее расписанию, как поезд по рельсам. Все возможные счастливые случайности были организованы, все несчастные — обезврежены. Никто из противников не представил своей программы, танцевали все-таки от его печки. Конечно, полностью программа не пройдет. Пусть, он бросит им эту мелкую подачку, примет кое-что из поправок. Еще остался Лесков, вот он сидит, красный, нахмуренный, сжимает кулаки. Дурак, каждая мысль выступает у тебя на лице, как оспина, даже этого не можешь скрыть! А все-таки забавно: слова отравляют людей сильнее яда, пьянят крепче вина. Ведь ты отравлен словами «комплексная автоматизация», опьянен мнимой широтой технического горизонта. Неделин жевал эти слова, перекатывал языком, как комочек, из одного предложения в другое, а у тебя даже глаза горели, даже губы дергались. Ладно, собирай свои бумажные громы: если случайно и правду скажешь, все равно за вранье примут.

Неделин не торопился представлять Лескову трибуну, нужно было предварительно выяснить мнение остальных членов совета. А когда он сказал: «Слово имеет руководитель группы автоматики товарищ Лесков!» — по собранию волной покатилась тишина: люди прекращали перешептывания, усаживались поудобнее, лицом к председательскому столу. Крюк с недоумением посмотрел на Неделина: он уловил охватившее собрание возбуждение, но не понимал причину его.

Лесков начал свою речь заготовленной заранее фразой:

— Товарищи, я позволю себе... — но вдруг забыл, что именно он собирается себе позволить. Тщательно разработанный план выступления пропал, словно его утянули из-под руки. Лесков заглянул в блокнот, там мелькали какие-то знаки, слова и цифры, у него не было времени разбираться в них, — речь сама неудержимо рвалась, свободная ото всех расписаний, гневная и вдохновенная. Лесков сразу ударил по тому, что, по его мнению, составляло главное зло сегодняшнего совещания, по тому, о чем говорить не полагалось, хотя все понимали, что как раз в этом суть.

— Мне кажется, мы забавляемся игрой теней, — сказал он едко. — Вот слушаешь — и представляется, что идет горячий спор об одежде андерсеновского короля: одни с гордостью утверждают, что выполнили все установки по линии кройки и шитья, другие жалуются, что по их особенной части — строчке швов — задано излишне много работы, третьи, охваченные благородным негодованием, критикуют необоснованную трату золота и шелков. А король — гол, товарищи, гол, несмотря на всю сутолоку и шум вокруг его мнимой одежды!

Неделин нахмурился: Лесков выступал слишком развязно. Неделин покосился на Крюка, тот невозмутимо рисовал на листе для заметок маленьких чертиков с собачьими хвостиками крючком. Зато Пустыхин наслаждался: он откинулся на спинку стула, в упоении закрыл глаза. Самый опасный из его соперников совершал непоправимую глупость — возносил спор в такую высь, где уже нет высоты, а одна пустота. Он не критиковал недостатки, но все отвергал и всех оскорблял. «Бей, бей! — молчаливо поощрял его Пустыхин. — Когда зеркало в осколках, никто не интересуется, было ли оно кривым, кидаются хватать хулигана». Он все же отмечал некоторые достоинства. «Хлестко! — сказал он про себя с уважением. — Паренек умеет живописать яркие картины. Жаль, что в проектировщики пошел, ему бы в фельетонисты — мелких головотяпов пужать».

Пустыхину, однако, тут же пришлось отказаться от этого радостного заблуждения: уже не фельетонные насмешки, а цифры появились в речи Лескова.

Лесков с вызовом бросил собранию сведенные им в таблицу данные: на каждую тысячу человек, занятых на заводе, семьсот — больше половины — будут трудиться на подсобных немеханизированных работах.

— Как можно говорить о передовой технике, о скачке на высшую ступень, когда себестоимость продукции определяют у вас неквалифицированные люди, чернорабочие? — страстно обратился он к Пустыхину. — Вы понимаете этот абсурд: работает совершенный конвейер, а детали тащат к нему на спине? Да это же все равно, что настилать ковры прямо по грязи.

Цифра на инженера действует сильнее, чем эмоция, техник мыслит цифрами. Число, словно взрывчатый заряд, несет в себе энергию, оно подставляет собой своеобразный концентрат дел, отношений и свойств, за ним стоят люди и вещи. Пока Лесков нападал на проект словами, зал был холоден, из него словно струилась настороженность и недоверие. Но сейчас Лесков дрался цифрами, он с ликованием ощущал, что стоявшая перед ним стена колеблется и поддается нажиму. Он видел угрюмое лицо Пустыхина, восторженного Бачулина. «Крой, Санечка, крой!» — кричали его глаза. А Неделин растерялся: ему все больше нравилась мысль Лескова, но по-прежнему не нравился его тон. Лесков вносил недопустимую страстность в технический спор. Что бы стоило по-хорошему: «Новый вариант, товарищи, бесспорно, на уровне новейших достижений, но сам этот уровень можно еще немножко приподнять». И тут же конкретные предложения в порядке усовершенствования. Человеку со стороны может показаться, что они, неделинцы, занимаются очковтирательством, и только Лесков, великий одиночка, все это вывел на чистую воду. И Крюк, вредный сопун, что-то все заносит в свои бумаги, пойдет потом кляузничать в министерство — не отбрешешься! А все же это правда: ужасно много остается ручного труда! Разве не сказали ему в Москве: «С варварством этим, ручным трудом, пора кончать!»?

Когда Лесков закончил, Неделин строго заметил Пустыхину:

— Что же это получается, Петр Фаддеевич? Вроде концы с концами не сходятся. Вы утверждаете, что достигнут высокий уровень автоматизации, а на поверку сказывается, завод старого типа — ручной? Давайте, давайте, требуется разъяснение!

Пустыхин поднялся со своего стула. Он был бледен и решителен. Он знал: сейчас с Лесковым будет покончено, — или он, Пустыхин, потерпит провал, какого еще, не ведал в жизни. Он раньше всех, раньше самого Лескова почувствовал изменение настроения техсовета. Произошло самое страшное, что могло случиться: массовое отравление модными, неотразимыми фразами. Лесков напустил целое облако смертоносного тумана слов, ловко пронизав его послушными цифрами. И вот результат: даже Шур затих в углу, даже неукратимый Шульгин потерялся — они нападали на Пустыхина, как на фантазера, а фантазер оказался жалким пределыциком.

Высоко подняв голову, Пустыхин бросил собранию:

— Я буду отвечать на вопросы, товарищи, я сам буду их задавать!

Лесков, возвращаясь на свое место, прошел мимо Пустыхина. Они столкнулись взглядами, как лбами. И хотя Лесков уже торжествовал победу, он первый опустил глаза: столько энергии и веры в свою правоту было во взгляде Пустыхина. Этот пустяк на минуту испортил радостное настроение Лескова. Бачулин влюбленно шепнул ему: «Санька, да ты у меня башка! Смотри, выдвину тебя в Верховный Совет!» Усевшись, Лесков мысленно возвратился к своей речи. Он переживал ее, словно слушал со стороны. Нет, очень неплохо получилось! Они важно ходили на сцене и декламировали о выполнении установок по одеванию голого короля. А он, Лесков, одним ударом обрушил их размалеванные декорации. И вот реальность: на подмостках ошалело снуют камергеры и дамы, а за ними грязные стены, театральная ветошь и злой шип режиссера: «Митька, черт, сияния убавь!» Попробуйте, дорогие товарищи, в этих условиях разыгрывать свои парадные сценки!

Пустыхин между тем пункт за пунктом опровергал Лескова. В его голосе слышались те же, странные для технической дискуссии нотки страсти и негодования. Зачем заниматься демагогией, товарищи? От них что требуется? Минимум ручного труда? Минимум не значит полное отсутствие. Почему уважаемый Лесков забывает о решающем, о том, что у них тысяча человек остается там, где на других заводах занято две тысячи? Поймите наконец, нельзя вносить в чертежи еще не существующие машины! Он, Пустыхин, инженер, а не романист, он не повести для юношества пишет, а проектирует заводы, которые завтра же должны давать продукцию. В этой связи он обращается к руководителю автоматики с одним, только одним вопросом и просит ответить без экивоков, прямо и честно.

Пустыхин повернулся к Лескову, за ним в ту же сторону повернулся весь техсовет. Лесков встал, как ученик, вызванный к ответу. Он сразу понял, о чем его будут спрашивать. Он невольно усмехнулся... Нет, далеко ему до Пустыхина! Вот сейчас на него обрушат вопрос, острый, как меч, и сразят этим вопросом, как мечом. Пустыхин, сверля Лескова возмущенным взглядом, продолжал:

— Можете ли вы утверждать, что мы отказываемся внедрять какие-либо существующие машины, облегчающие труд человека?

— Нет, не могу этого сказать, — ответил Лесков, и по залу пронесся шум.

Пустыхин с силой опросил снова:

— Значит, все существенное из реально имеющегося мы учли?

И на это Лесков ответил:

— Да, учли.

Он тут же попытался перехватить инициативу: они, проектировщики, должны подталкивать промышленность, а не плестись у нее в хвосте. Но никто его не слушал. Напряжение, охватившее зал, разом спало. Собрание гомонило, распадаясь на десятки спорящих голосов. Лесков, вдруг всеми забытый, сел.

Один Неделин с сочувствием смотрел на Лескова. Он сожалел о его поражении, хотя и радовался спасению чести проекта. Неделин постучал карандашом о графин и сказал:

— Слово Владимиру Семеновичу Крюку.

Крюк начал с того, что рад деловому обсуждению. В целом ему представляется, что работа над проектированием завода идет неплохо, предприятие получится вполне современное и передовое. Кое-кто из товарищей желает большего — что ж, желание законное, нужно стремиться вперед, кто отстанет, того бьют. Он, Крюк, всячески приветствует подобные устремления, если при этом, конечно, не теряется чувство реального. Короче, он одобряет основные идеи проекта — такая серьезная организация, как их контора, безусловно, окажется на высоте. Одно его смущает: комбинат строится, скоро подойдет очередь и металлургического завода. А где чертежи? Где спецификации, на оборудование? Где заявки на материалы? Не о характере завода надо спорить, а о том, как ускорить выдачу готовой технической документации.

А в конце Неделин подвел итог бурным прениям. Он уже примирился с тем, что требования Лескова отвергнуты техсоветом. Он и сам видел теперь, что они чрезмерны — принять их, придется поднимать шум на весь Союз, перестраивать номенклатуру многих заводов. Как еще посмотрят на подобное самотворчество наверху? А вот у Пустыхина не сорвется, нет!

— Думаю, товарищ Лесков, придется вам внимательней просмотреть свои предложения, — посоветовал Неделин. — Что поддается легкой реализации, милости прошу, включайте, спорить не будем. Но, конечно, никто не станет перестраивать всю промышленность ради осуществления одного, пусть даже самого лучшего проекта.

6

Лесков вышел из кабинета Неделина, ни на кого не глядя. Бачулин, догоняя, что-то кричал ему. Лесков не остановился. Обычно Лесков задерживался на работе. В этот день он ушел, как только прозвонил звонок. На улице он увидел Анечку с двумя ее поклонниками, они весело смеялись. Склонив голову, Лесков хотел пройти мимо, но Анечка покинула провожатых и прибавила шагу. Лесков неприязненно посмотрел на нее.

— Можно с вами? — сказала она несмело. — Нам по дороге.

— Разве? — возразил он сухо. — Вы, кажется, живете в другом районе?

Она ответила быстро:

— Нет я тоже сюда, у меня дела в вашей стороне.

Он широко шагал, она с трудом поспевала за ним. Некоторое время они двигались молча, потом Анечка опять заговорила:

— У вас двери были открыты... я слышала обсуждение...

Лесков коротко и злобно засмеялся.

— А, вот оно что! Значит, вы решили меня утешить? Слушайте, Анечка, я очень тронут, но, честное слово, ни в чьем сочувствии не нуждаюсь.

Анечка, не отвечая, опустила покрасневшее лицо. Лесков почувствовал, что нужно что-нибудь сказать еще, чтоб смягчить обиду, нанесенную девушке. Он улыбнулся холодной, вежливой улыбкой.

— Нет, в самом деле, Анечка, вы преувеличиваете значение наших споров. Я доказывал свое, со мной не согласились — обычное явление в нашей работе... Расстраиваться из-за этого не собираюсь!

Но она понимала, что он не только расстроен, но и подавлен. Она видела, с каким трудом ему дается спокойный тон, безразличное выражение. Она ласково улыбнулась ему. Он не принял этой улыбки, по лицу его пробежала словно судорога, он хмуро отвернулся. Анечка остановилась: дальше идти было нельзя, он мог вспылить.

— До свидания, Александр Яковлевич, — сказала она, протягивая руку. — Не сердитесь, что я заговорила об этом.

— Ну, что вы! — ответил он. — С какой стати я буду сердиться?

Лесков почувствовал облегчение, когда Анечка отошла. Больше всего не терпел он, когда его жалели, а от нее, кроме обидной жалости, ждать было нечего. И вообще, что-то слишком она стала обращать на меня внимание! — пробормотал он. — Девушка она, конечно, красивая, но ухажоров ей хватит и без меня.

Дома никого не было. Лесков присел на диван, сидел, не зажигая света, устало привалившись к спинке головой. Он вяло подумал, что надо бы разогреть ужин, тут же равнодушно решил: «Ладно. Юлия сама...».

Юлия вошла, как всегда, торопливо и неслышно: он скачала ощутил прикосновение ее руки, погладившей его волосы, потом, обернувшись, увидел ее саму. Юлия сказала тихим от усталости голосом:

— Санечка, дорогой, здравствуй! Что у тебя нового?

Он, не отвечая, смотрел на нее. Высокая, худая, она казалась измученной. В последнее время Юлия чрезмерно утомлялась на службе. Ей поручили новую тему, тема оказалась сложной, к этому добавилась обычная в их институте неприятность: заведующая кафедрой цитологии, злая и шумная старуха, навязывала свои предвзятые мнения и требовала, чтобы они обязательно подтвердились. Бывали дни, когда Юлия, приходя домой, сразу валились на кровать. Сейчас она села на диван и закрыла глаза. Лесков продолжал смотреть на сестру. Ее лицо — темное, продолговатое, нежное — показалось ему очень красивым. Он вдруг удивился тому, что у его сестры, умной, доброй и изящной, так неудачно складывается личная жизнь. «Почему никто, не понимает, какая она хорошая? — возмущенно подумал он. — Неужели все мужчины слепы?»

Юлии шел тридцать восьмой год, а она не только не была замужем, но ещё ни разу не любила. В ранней молодости, в институте, ее как-то поцеловал смелый студент — она и теперь вспоминала иногда об этом с негодованием и нежностью. Всю свою способность привязываться Юлия обратила на брата. Мать у них умерла, когда Саше было всего два года, отец погиб на фронте. Юлии с ранних лет пришлось стать главой их небольшой семьи. Она вела хозяйство, следила за поведением и успехами брата, сама училась и, хоть с трудом и после долгих волнений, защитила пять лет назад кандидатскую диссертацию. Сейчас она готовила докторскую — по консервации крови, — но пока из этого ничего не выходило.

Не дождавшись ответа, Юлия с испугом поглядела на брата. Она даже побледнела — таким мрачным было его лицо. Юлия сразу догадалась, что его постигла на техсовете тяжкая неудача. Он хмуро улыбнулся.

— Можешь поздравить, Юлечка, живого места не оставили. Мне теперь, глядя со стороны, даже страшно, как это я живу, такой бестолковый?

— Я поставлю чаю, — быстро сказала Юлия. — Ты пока отдохни на диване.

За ужином Лесков подробно изложил сестре ход техсовета. Юлия была единственным человеком, с кем он привык всем делиться. Он не щадил себя, рассказывая, как его разносили, не пощадил и своих противников: он вообще мало стеснялся в оценках. Хоть Юлия сочувствовала ему, она морщилась и раза два прерывала его рассказ: она не терпела ругани. Кроме того, неудача, как и успех, имеет свои особенности. Успех обезоруживает даже недоброжелателей, он бросает розовое сияние на того, кто его добился. А неудача и друзей настраивает на критический лад. Еще никто не очаровывался человеком из-за того, что он потерпел неудачу. Юлия осторожно заметила:

— Санечка, а ведь проект в самом деле задержится, если ждать, пока изготовят новые машины и механизмы. Можно много времени потерять.

Он рассердился:

— Ну и что же? Ну и что, я спрашиваю? Ты рассуждаешь по шаблону: боже сохрани хоть минуту упустить! А завод строить — не блох ловить, тут поспешность необязательна. Я тебе скажу так: заводу стоять пятьдесят лет. Я год потеряю, но возведу технически передовое предприятие, не урода, который через пять лет придется пускать на слом и строить на его месте новый, что происходит нередко и прикрывается благородным термином «техническая реконструкция». Неужели ты не понимаешь: подход мой со всех сторон правилен — с технической, экономической, с политической, наконец? И особенно с политической! В стране каждый день новые достижения, а мы в конторе повторяем зады, словно нас и не касается то, что совершается вокруг. А мы должны быть впереди всех, впереди, ты понимаешь? Как подумаю об этом, просто кровь закипает!

Юлия кивала головой и возмущалась вместе с братом косностью его противников. Немного остыв, Лесков сказал:

— Прости, Юлечка, я все о себе. А ведь у тебя сегодня тоже решались серьезные вопросы.

Юлия сказала с грустью:

— И разрешились они, как у тебя, неудачно. Не хочется даже вспоминать.

Она все же рассказала о своих сегодняшних горестях. Они, впрочем, не отличались от тех, какие терзали ее вчера, позавчера и вообще весь последний месяц. Баба-яга — так именовалась у них профессор Волковская, главный Юлин противник, по институту, — отобрала у Юлии приобретенный недавно редкий прибор и передала соседям. Самое обидное, что соседи прибором пока не пользуются, он лежит несмонтированный в ящиках, где-то под столом. А она, Юлия, уже и сейчас без него, как без рук. Если подтвердятся теоретические предположения, то консервированную кровь при помощи нового прибора удастся хранить свежей не неделю — две, а многие годы. Подумать только, как это облегчит работу врачей, сколько спасет человеческих жизней!

Лесков спросил мрачно:

— Неужели бабе-яге это не ясно?

Юлия воскликнула:

— Конечно, ясно! Это и возмущает! Все ей ясно, как и мне. Знаешь, что она сегодня выдвинула? Уже признает, что нам прибор нужен, но утверждает, что там, у них, еще нужнее: я мол, изучаю только некоторые кровяные клетки, а у них — клетки вообще: живая материя. Она так и сказала директору: «Что важнее: сохранить живые свойства крови в банке или задержать процесс старения и смерти в организме?» Директор, конечно, размяк... Представляешь, такой масштаб!

Лесков, объективности ради, возразил:

— Но послушай, Юлия, ведь это в самом деле еще важнее — научиться сохранять жизнь в любой стареющей клетке.

— Ах, ты ничего не понимаешь, Санечка! — с досадой возразила она. — Конечно, важнее — разве я спорю? Да ведь прибор будет валяться без толку еще месяца два, а сколько я за это время проделала бы опытов!

Убирая со стола тарелки, Юлия спросила:

— Что ты собираешься предпринять, Саня? Неужели так все оставишь?

Брат покачал головой.

— Сразу после совета я хотел плюнуть на все — разве мне больше надо, чем другим? А теперь вижу, что нельзя так рассуждать, это по-обывательски. Я убежден в своей правоте, буду драться дальше. Я поеду в Москву. Я и предлог выдумал: заболела наша тетка, выпрошу отпуск дня на три.

— А в Москве к кому? — поинтересовалась сестра. — Будешь консультироваться у экспертов?

Лесков презрительно покривился:

— Только не у экспертов. Пустыхин — такой же эксперт, как и другие, еще талантливей и эрудированней многих московских. Они все, конечно, будут за него. Нет, я пойду туда, где решают политические вопросы техники.

Помолчав, он добавил твердо:

— К самому Баскаеву пробьюсь.

7

Не много можно было найти руководителей промышленности, имена которых произносились с таким уважением, как имя Сергея Николаевича Баскаева, первого заместителя министра. Он засверкал крупной звездой в первые годы первой пятилетки — о нем писали газеты, стройка, руководимая им, находилась в центре внимания всей страны. И как не забывается первая любовь, даже уступив более сильной страсти, так не были забыты ни возведенный им завод, ни он сам. Завод расширялся и рос, Сергей Николаевич все выше поднимался по служебной лестнице. В этом возвышении не играли существенной роли ни связи, ни анкетные данные, ни удачная конъюнктура, хоть и связи у него были немалые, и биографии его, потомка трех поколений рабочих, можно было позавидовать, и конъюнктура неизменно складывалась удачно. Баскаев был искренне убежден в том, что вполне отвечает своей эпохе, что сам он является ее органическим и немаловажным элементом. Ведь главные факты его жизни отражали великие события истории страны, она, жизнь его, была неотделима от его работы. В своей автобиографии Баскаев сухо перечислял службы и должности: «руководил строительством металлургического комбината», «был переброшен на освоение районов Крайнего Севера», «сдал в эксплуатацию юго-восточный канал», «командовал пуском группы номерных заводов». Но это были вехи движения самой страны, история того, как жалкая, полукустарная промышленность за половину жизни одного человеческого поколения превратилась в могучую индустрию мира. И каждый новый подъем Баскаева, каждое новое назначение были не его личной удачей, а общественным явлением — тысячи незнакомых ему лично людей, встречая его имя в газетах, говорили с удовлетворением: «Ага, туда Баскаева посылают — видать, дело крупное!» или: «Похоже, проваливается стройка! Ничего, Баскаев порядок наведет». И дело, точно, было крупное, и порядок он наводил по-своему, не стесняясь в выражениях, пренебрегая приятельством. У него был один критерий — успех порученного ему дела, а излюбленный метод — приказ. Тут спорить не полагалось, решение его представлялось ему истиной в последней инстанции, нужно было не обсуждать, а выполнять и не забывать вовремя доложить исполнение. При нем процветали исполнители — энергичные работяги, люди, душой преданные делу, — такие звезд с неба не хватали и пороха не выдумывали, хотя и отлично порохом пользовались. И так как у самого Баскаева ума, знаний и инициативы хватало на целый полк подчиненных и начальников, то дело у него шло до поры до времени.

Сам Баскаев даже подумать не мог, что может в чем-либо не соответствовать требованиям дня. Он всегда был на высоте задач, всегда таким останется — таково было его представление о себе. Но шли годы, великая индустрия, одним из созидателей которой он являлся, неудержимо вырывалась из тенет опутавшей ее мелочной опеки. Он властно держал в кулаке большую отрасль промышленности. Кулак его не стал слабее, нет, но груз делался слишком тяжким и для него. К чести Сергея Николаевича нужно сказать, он был среди первых, кто услышал позывные нового времени. Он искренне старался перестроиться, отменял некоторые привычки — крик, грубый нажим, нетерпимость к возражениям; уже не только требовалось исполнять его приказы, можно было и поспорить о них. Он ломал себя, это было трудно — он мрачнел, временами впадал в беспричинное раздражение. Но главное состояло не в этом: еще никто в стране не знал, во что выльется существо того нового, что нарождалось в промышленности. Ходили глухие слухи о роспуске министерств, о новых формах управления — это были бури на поверхности, знаки того, что из глубины готовы вырваться окрепшие титанические силы. Он, руководитель старого типа, сознавал, что промышленность только количественно росла до сих пор, сейчас она готовилась революционным прыжком превратиться в новое качество. Он сам десятилетия подводил ее к этому, сам заботливо пестовал. Час назрел, детище его расправляло крылья. В промышленности происходил величайший в истории переворот, Баскаев понимал его глубину.

К этому человеку Лесков старался попасть на прием. Он написал заявление Баскаеву с просьбой принять его для беседы. Он, не дипломатничая, выложил на бумаге все, с чем шел. Сосед по номеру, тоже инженер — этот приехал за новым назначением, — осудил неразумный поступок Лескова.

— Кто же вас примет, наперед зная, о чем вы хотите говорить? — указал он рассудительно. — Ведь это пережевывание получится. Думаю, Баскаев напишет резолюцию: «В техуправление для ответа», — и тем дело кончится, будете ждать отписки.

Сосед говорил равнодушно, за равнодушием стояла уверенность, что иначе и быть не может. Лесков упал духом. Мрачный, он блуждал по Москве. Он бесился, чувствуя, что сейчас, похоже бьется головой о глухую стену. Кто же он в таком случае? Безрассудный одиночка, Дон-Кихот, ринувшийся на ветряные мельницы? Он кинулся к уличному автомату, вызвал секретаря Баскаева. Женский голос ответил:

— Лесков? Заявление подавали? Кажется, Сергей Николаевич уже наложил резолюцию. Подождите минутку у телефона.

Он долго держал окованную железной цепью телефонную трубку, за кабинкой накопилась очередь.

Сердитая женщина, приоткрыв дверку, крикнула:

— Гражданин, совесть надо иметь — больше трех минут не полагается.

Он повернулся к ней спиной, ему было не до взволнованных ожидающих, он сам волновался — слишком уж все сбывалось по предсказанию соседа. Секретарша окликнула наконец:

— Вы у телефона, товарищ Лесков? Сегодня в одиннадцать вечера.

На радостях он переспросил, хоть сразу все понял:

— Что сегодня?

Секретарша ответила удивленно:

— Я же говорю, Сергей Николаевич примет вас сегодня.

Лесков с таким радостным лицом выскочил из кабины, что никто его больше не ругал. Ему сочувственно улыбались: задержал, конечно, но своего, видать, достиг, ног под собой не чует, молодец парень! Он сам чувствовал себя молодцом — одно то, что так легко удалось добиться приема у Баскаева, казалось ему крупным успехом, чуть ли не осуществлением половины дела. Уже не с мелкими исполнителями ему придется бороться! Известному в стране человеку, крупному деятелю промышленности, он выложит все, о чем тот и не ведает на своей высоте, — как велик разрыв между его директивами и их выполнением!

Лесков пришел за полчаса до назначенного времени и тут же был принят — Сергей Николаевич сидел у себя. Пустое здание министерства казалось огромным, гулким ящиком с темными ячейками, только приемная и кабинет Баскаева были залиты светом. Баскаев не походил на свои портреты. В обширном, как диван, кресле отдыхал усталый, пожилой человек с нездоровым цветом щек, с опухолями под глазами: совсем не было в этом заросшем щетиной лице властности, оно не озарялось грозными взглядами, брови не хмурились. Сергей Николаевич приветливо улыбнулся, показал на стул и негромко проговорил:

— Так в чем же путают наши проектировщики?

И оттого, что суровый Баскаев принял его так ласково, Лесков вначале растерялся. Он путался в словах, повторялся. Но это продолжалось только первые минуты. Душу Лескова жгли слишком пылкие страсти, чтоб долго он мог отвлекаться на пустяки. Он выкладывался весь — был более резок, чем на техсовете, более прям, чем в разговоре с Юлией. Сергей Николаевич не прерывал его, только взглядывал — спокойными внимательными глазами, — временами постукивал пальцами по столу. Ни одна черта его массивного лица не выражала ни удивления, ни особой заинтересованности — холодное, вежливое равнодушие, ни к чему не обязывающая внимательность, и только... Если бы Лескову сказали, что Баскаев волнуется сейчас не меньше, чем он, Лесков, это показалось бы ему невероятным, он удивился бы: что за дичь!

А Сергей Николаевич волновался. Множество мыслей и ощущений рождало в нем каждое слово горячего собеседника, тот даже догадаться не мог, в какую даль уводили его рассуждения, какие сложные представления они вызывали. Нет, не простой проситель явился к нему с жалобой — сама жизнь в лице этого молодого инженера вызывала его на дискуссию: в Лескове как бы воплотился образ новой обстановки. Как в нем забавно переплетено непонимание и наивность с вдохновенным порывом вверх! И как он, черт подери, уверен в своей непогрешимости, даже пропасти не видит, куда катится: замахиваясь на мелкие непорядки, готов, в сущности, по запальчивости отвергнуть все достоинства, достижения целой эпохи! Сергей Николаевич почувствовал жалость к Лескову: с этим юнцом справиться будет нетрудно — через час, опустив голову, он отступит; другие — кого нету здесь — куда покрепче! Он даст ответ сразу всем: ему и им, и своим собственным сомнениям.

Внезапным движением руки Сергей Николаевич оборвал речь Лескова.

— Пустыхина я знаю лично, — сказал он негромко. — Вполне допускаю, что он может и пренебречь всей строгостью наших директив, он любит посмеяться над модными кампаниями. И верю, вы искренне озабочены, как полностью провести их в жизнь. Выспрашиваете, на чьей я стороне? Я на стороне Пустыхина.

Лесков даже отшатнулся — так поразил его вызов, прозвучавший в словах Сергея Николаевича. А тот наслаждался: всего, конечно, мог ожидать его молодой спорщик, но не этого. Помолчав, Сергей Николаевич поинтересовался:

— Вы диамат изучали, товарищ Лесков?

— Да, конечно, — ответил сбитый с толку Лесков, — Однако не понимаю, какое это имеет отношение?..

— Очень большое. Диамат вы изучали, а рассуждаете, как метафизик. Вот вы говорите, установка... В последнее время слову этому придают презрительный оттенок: это, мол, очередная установка! Заранее осуждают любую директиву как бюрократическое предписание. А почему? Установки, говорят, не полностью совпадают с жизнью. Но разве они должны совпадать? Директиву ведь для того и дают, чтоб толкать жизнь вперед.

Но Лесков уже оправился от неожиданности.

— Простите, — сказал он настойчиво. — Я веду речь о конкретных фактах, а не вообще.

Сергей Николаевич улыбнулся, лицо его, до этого вежливо-равнодушное, стало мягким и добрым, в глазах засветилось дружеское сочувствие.

— Экий вы нетерпеливый! Двух минут не усидите спокойно, а я ведь вас слушал полчаса. Как, по-вашему, товарищ Лесков, директива эта — вводить комплексную автоматизацию — дана на месяц, на год или на большее время? — спросил Баскаев.

— Я считаю, что эта директива — главный закон нашего технического развития, — ответил Лесков. — Она, конечно, дана не на год, а на все будущее промышленности — техника от достигнутого уровня уже не повернется вспять, к ручному труду.

Сергей Николаевич довольно кивнул головой.

— Вот-вот, тут и начинается у вас... Вы требуете немедленно полной автоматизации, а что вы оставите последующему развитию? Если бы можно было осуществить сразу все желаемое, то не было бы и дальнейшего прогресса. Нет, жизнь идет по своим законам. Формула дана на годы, но значение ее будет меняться с каждым годом. Сегодня термин «комплексная автоматизация» означает; только желание увеличить автоматизацию, между ним и реальной жизнью имеется разрыв. Завтра, лет через двадцать, комплексная автоматизация будет уже не директивой к действию, а обычной практикой промышленности. Вы понимаете разницу? Я согласен, что всегда необходимо добиваться максимально возможного, но я подчеркиваю: возможного! Вот почему я присоединяюсь к Пустыхину: он лучше ощущает реальную почву под ногами, чем вы.

Лесков зашел слишком далеко, чтобы сдаться после первого возражения. Он начал спорить. Напрасно его обвиняют в метафизике, он понимает, уровень сегодняшней автоматизации не тот, что будет через десяток лет. Но ручной труд уже и сейчас возможно заменить работой автоматов, ничего сверхъестественного тут нет! А ему доказывают, что это невозможно быстро провести при современной организации нашей промышленности и что нельзя ждать, а нужно торопиться с проектом. Он лично считает, что если промышленность наша организована так, что неспособна быстро перестраиваться, то, значит, она плохо организована!

— Тяжелый ручной труд, конечно, — безобразие, — согласился Сергей Николаевич, внимательно вглядываясь в упрямое, взволнованное лицо Лескова. — После этого разговора напишите мне докладную записку с конкретными предложениями — многое мы проведем в жизнь. Но, помимо этого, вы ставите общий вопрос об организации нашей промышленности. Тут вы не правы, я постараюсь вам это доказать.

И он заговорил, оживляясь от собственных слов, о том, что занимало и мучило его самого в последнее время. Лесков слушал с невольным изумлением: Сергей Николаевич все более преображался, с него спадала усталость и холодность, он молодел, даже голос его звенел какой-то юношеской горячностью:

— Вы говорите, неспособность быстро перестраиваться? Вы считаете это недостатком? А знаете ли вы, что это — органическое свойство крупной промышленности, что в этом — да, также и в этом — ее глубокое отличие от кустарных мастерских старых времен? Раньше вы приходили к кустарю, мастерившему дверные замки, и просили сделать детскую кроватку, он перестраивался мгновенно, таково было его свойство. А если вы закажете партию кроваток на современном заводе, то завтра их не получите: заводу нужно выпустить чертежи, перестроить станочные линии, изготовить новые прессы и штампы — он перестраивается медленней, и это — его типичное свойство. Зато кустарь тратил неделю на изготовление кроватки, а современный завод будет выдавать по кроватке в минуту.

Лескову аргументы Сергея Николаевича показались убедительными: современное предприятие, конечно, не может быть таким гибким, как мастерская кустаря. Но ведь речь идет не об этом, а о том, что само управление промышленностью неповоротливо. Он продолжал спорить.

— Возьмите, например, уже сконструированные новые автоматы, — сказал Лесков. — Чтобы добиться их массового выпуска, мы должны писать в министерство, в Госплан, потом ждать, когда заводу спустят новый план, потом ждать нового года, когда этот план начнет осуществляться, — ведь это же возмутительная неповоротливость! Это же тормоз, который сдерживает наше развитие, черная рука, хватающая за ноги на бегу!

— Крепко, крепко! — Сергей Николаевич усмехнулся. — Тормоз, черная рука! Молодо и горячо. Но только очень односторонне. И очень близоруко. Дай таким, как вы волю, — вы любую первоклассную индустрию в два месяца развалите. Вы думаете, мы не знаем, что организация нашей промышленности исключает легкую поворотливость, что в ней нет мгновенной готовности к любым перестройкам, в которых неопытные люди видят величайшее достоинство? Не вы это открыли, поверьте. Я вот спрошу: знаете ли вы, что нужно сделать, чтоб ликвидировать эту так не нравящуюся вам неповоротливость?

— Нет, — честно признался Лесков. — Знаю, что возмутительный недостаток, а путей к ликвидации его не вижу. Именно поэтому я и явился к вам.

— Ну, а мы, товарищ Лесков, хорошо знаем. И знали, пожалуй, еще в те времена, когда вы под столом играли. С вашим примером совсем просто: заготовь запасы старой продукции недели на две и перестраивайся на новую модель. А в масштабе всей промышленности это сложнее, но тоже осуществимо. В нашей плановой экономике заводы работают не на склад, не на случайного покупателя, как у капиталистов, а на соседние предприятия, на хорошо известного потребителя: продукция еще не произведена, а она уже живет, уже входит в план других предприятий. Именно этим объясняется трудность перестройки, она вызывает нарушение согласованной работы многих производств. Но если каждый завод создаст у себя запасы продукции, то работа его станет более гибкой. Выведите треть продукции в резерв, омертвите ее на складах, и сложность перестройки сразу уменьшится. Вы получите требуемую вами оперативность, но ценою окостенения трети народного богатства. Разрешите вас спросить: заплатите вы эту цену?

И снова Лесков растерялся, как и в споре с Пустыхиным. В нем бушевали эмоции, а его били логикой. И сейчас было ему еще труднее, чем с Пустыхиным. Против чего сидел пожилой человек, с седоватой головой, умными, строгими глазами. Этот человек высказывал, в сущности, элементарные экономические истины, то самое, что Лесков со скукой зазубривал на лекциях. Но в его изложении все эти скучные истины вдруг становились захватывающе живыми — он не по книжке читал, он говорил о себе, о своей деятельности. И уже не школьная наука, а сама жизнь вставала против Лескова, разносила в прах его скороспелые суждения.

А Сергей Николаевич продолжал напластывать аргумент на аргумент. Когда-нибудь мы станем настолько богатыми, что позволим себе эту роскошь — вывести в резерв солидную толику народного достояния, уложить это богатство в складах. Но до этого еще далеко, пока нужно строить и строить, рваться вперед. А рваться вперед мы умеем! Еще не было в мире подобного стремительного роста. И разве немыслимый раньше темп подъема советской индустрии не вошел в число величайших достижений всего мирового развития? Разве он не открывает новую эру в развитии мировой техники? Эта стремительность взлета, эта неслыханная прежде эффективность использования каждого грамма продукции сама является чудом организации, величайшим достоинством советской плановой экономики. И те мелкие недостатки, против которых восстает Лесков, представляют собою, в сущности, лишь обратную сторону величайших достоинств. Да и недостатки ли это? Он повторяет: это свойства, это органические особенности. Вы говорите: неповоротливость, инерция? Он приведет еще другой пример. Крестьянскую телегу, громыхающую на ухабах, легко обратить в любую сторону: инерция ее мала, она поворотлива. Но попробуйте резко повернуть летящий по бетонному шоссе автомобиль — вас вышвырнет из машины, ее разнесет в осколки. Попробуйте на полном ходу сразу затормозить курьерский поезд — досок в вагонах не соберете, шишек на лбу не сосчитаете. Тут действует инерция большой массы и скорости, неповоротливость стремительного движения. Но ведь никто не назовет эти свойства больших масс и больших скоростей их недостатками, не правда ли?

Сергей Николаевич говорил еще долго, и с каждым его словом Лескову становилось все труднее возражать. Он с болью чувствовал свою неподготовленность к подобному спору. У него не хватало кругозора, не хватало знаний, опыта, не хватало просто ума. Да, верно, он замечал до сих пор частности, не понимая их связи со всем целым. Эта связь существовала, умные люди ее открыли. И ради огромных достоинств целого эти умные люди мирились с отдельными, не так уж существенными недостатками. Да, конечно, хорошо иметь одни достоинства, одни преимущества, без недочетов. Но совершенства нет, это мечта. Он мог бы прикидывать, как Агафья Тихоновна: «Вот бы к фигуре Балтазара Балтазаровича, да дородность Яичницы, да нос Подколесина!» Толку от таких бредней не получится... А теперь ему возвращаться ни с чем, тянуть мелкий пустыхинский обоз, отказаться — и навсегда — от своих наполеоновских планов немедленной перестройки промышленности.

Сергей Николаевич наблюдал за Лесковым. Баскаев угадывал его разочарование, стыд за неудачу. Да тяжело этому молодому, увлекающемуся человеку. Ему, Баскаеву, тоже нелегко. Ему всегда приходилось нелегко. Нелегко было в молодые годы — когда буквально голыми руками, старыми, варварскими методами создавали современные высококультурные предприятия. Нелегко было в зрелую пору: он стоял выше, на него взваливали ответственность за все, приходилось думать за других, вмешиваться в мелочи. И особенно нелегко теперь: выросли новые люди, они забывают, как трудно все создавалось, придираются к мелким промахам, лезут с непродуманными улучшениями, вот вроде этого Лескова. А из парня выйдет толк, вон как низко он опустил голову — страдает человек за свое дело.

И Сергей Николаевич сказал:

— Не хочется возвращаться, а?..

— Не хочется, — признался Лесков, краснея оттого, что его мысли так легко угаданы.

Сергей Николаевич предложил:

— А вы не возвращайтесь, товарищ Лесков.

— Как так не возвращаться? — удивился Лесков. — Что же я буду делать?

— Дело найдется. Смотрю я на вас — и вижу: не по своей линии пошли. Какой вы проектировщик? Вы натура боевая, а не академическая, вам не в кабинете сидеть, а с людьми работать, драться с людьми — вот ваша сфера. Идите на завод, там ваше настоящее место. Вы говорили о государственном подходе — правильные слова, каждую мелочь надо рассматривать с общей, то есть с государственной, точки зрения. Так вот с этой общей точки зрения главное у нас сегодня — это не проектирование новых автоматизированных заводов, а перевод старых действующих заводов на автоматику. Дело не только в экономической выгоде, — нужно весь наш рабочий класс, всю нашу техническую интеллигенцию перестраивать, заставлять мыслить по-новому — категориями автоматических процессов, протекающих без участия ручного труда. Это подлинная техническая революция, и для проведения ее требуются профессиональные технические революционеры, люди вроде вас, специалисты-автоматчики, смелые натуры. Завод я вам подберу по масштабу: одно из крупнейших предприятий страны, комбинат в Черном Бору. Народу там бездна, производственных ценностей — на восемь миллиардов. Человеку вашего толка есть где развернуться. Ну, как, по рукам?

Лесков не умел быстро переваривать новости. Ему в институте товарищи часто говорили: «Твое мозговое реле, Саня, срабатывает с большим опозданием: анекдот рассказывают сегодня, а смеешься ты завтра». Но предложение Сергея Николаевича ему понравилось. Он понимал, что в этом кабинете долго взвешивать все «за» и «против» не годится. Он ринулся в решение, как в воду, — вниз головой.

— По рукам, — сказал он.

Баскаев встал и протянул Лескову руку.

— Желаю успехов на новом месте работы, товарищ Лесков! Завтра возьмете направление в кадрах. Буду следить за пашей деятельностью. — И, глядя на растерянное лицо Лескова, он добавил шутливо: — Немного не то получилось, за чем вы ехали. Голова не кружится от неожиданного конца?

— Немного кружится, — сознался Лесков.

8

По дороге домой Лесков думал о том, что пришлось услышать от Баскаева. Он с новой остротой ощущал силу аргументов, которыми его разбили в споре. Нет, этот человек не Пустыхин. Как замечательно он сказал о директивах! Формула та же, а содержание год от году меняется. Вот он, ответ им обоим: Лескову, требовавшему немедленно полного осуществления комплексной автоматизации, и Пустыхину, вообще отвергавшему ее по той причине, что она сегодня неосуществима. И он, Лесков, и Пустыхин путаются в мелочах, а Баскаев мыслит широко, только так и нужно мыслить.

— А все-таки недостатки в промышленности есть! — вслух проговорил Лесков: он часто, задумавшись, разговаривал с собой. — Конечно, он здорово объяснил их, опровергнуть его я не могу, но черт возьми, это все же недостатки, а не достоинства! Нет, тут еще не все ясно...

Больше всего Лесков думал о заводе, куда получил назначение. Он вспоминал, что знает о нем из газетных статей — о Черном Боре часто писали. Это был дальний край, север Сибири, где-то у черта на куличках — дикие места, только недавно вызванные к жизни. Что, если он не найдет там ни интересной работы, ни толковых помощников, ни технической базы? Теперь Лесков страшился только этого. Он неожиданно понял, что был не тем, каким прежде себе казался. Ему представлялось: вся его жизнь заключена в чертежных досках, он еще в студенчестве стремился к проектированию, был счастлив, когда получил назначение в проектную контору. Да и сейчас он сожалел, что больше ничего этого не будет: ни трижды перечеркнутых ватманов, ни споров с товарищами над чертежами, ни внутреннего волнения, почти вдохновения, неизменно охватывавшего его, когда он натягивал чистый лист на доску, — что-то ляжет на нем?.. Баскаев сказал: «Вы не проектировщик, вам с людьми работать!» И Лесков с удивлением видел, что этот человек с одного взгляда открыл в нем многое, чего он в себе и не подозревал прежде. Да, пожалуй, так, — ему надо на завод, только там он развернется по-настоящему.

Лесков рано утром ввалился к себе в квартиру и оглушил Юлию неожиданным сообщением, что через два дня уезжает в Сибирь. Смятенная Юлия потребовала объяснений. Он рассказал ей о московских событиях. Конечно, результат от его поездки какой-то будет, запроектированный завод получится все же более совершенным, чем его сейчас разрабатывает Пустыхин: многое из его, Лескова, предложений принято. Но в самом важном, в принципах проектирования, он не сумел отстоять своей правоты. Тут еще нужно думать и думать, пока это темный лес, самому не ясно.

— Я не мог иначе, Юлька! — оправдывался Лесков. — Я только сейчас понял, что проектирование не по мне.

И он с воодушевлением описывал завод, куда получил назначение.

— Юлечка, дорогая, это — огромное предприятие, десятки тысяч рабочих, сотни инженеров, разнообразная продукция — полиметаллический комбинат, не простой завод. И везде путаница, рядом с совершенными механизмами — ручной труд. Специалисту по автоматике широкий простор. Конечно, придется ломать многие священные обычаи: металлурги — народ упрямый, но это ничего, я тоже упрям. Не надо огорчаться, Юлечка, я счастлив, что получил такую интересную работу.

Но Юлия не могла не огорчаться. Она сжимала губы, чтоб не расплакаться. Глаза ее потухли, она сидела на диване, некрасивая и жалкая. На нее вдруг сразу навалились, как бы собранные вместе, все неудачи ее жизни. На работе неприятность на неприятности, а Саня впервые в жизни — и уже навсегда, она это знала — уезжает от нее. Она опустила голову на диван и зарыдала.

Лесков склонился над ней в смятении. Он гладил ее волосы, целовал, говорил нежные слова. Она отталкивала его, прятала от него лицо.

— Ну, что ты плачешь, Юлька? — закричал он, готовый плакать вместе с нею. — Ты хочешь, чтоб я не ехал?

— Нет, нет, поезжай! — лепетала она сквозь слезы. И, рыдая еще сильнее, она твердила: — Только ты пойми, я ведь остаюсь совсем одна, я такая одинокая, Саня! А тебе это все равно, ты только о себе думаешь!

— Я буду писать тебе, Юлечка! — бормотал он. — Три раза в неделю, честное слово!

Наплакавшись, Юлия подошла к зеркалу и попудрила раскрасневшееся лицо.

— Сейчас я приготовлю завтрак, — сказал она устало.

В контору Лесков явился в обычное время. Не приступая к работе, он предъявил Неделину распоряжение о переводе. Лесков поеживался, пока Неделин читал министерское предписание: все же он, Лесков, обманул своего начальника, и дважды — ездил не к тетушке и службу переменил. Неделин не удержался от упрека.

— Поверьте, вышло случайно, — оправдывался Лесков. — Просто предложили мне поехать на завод, сам я об этом и не думал.

Неделин с минуту размышлял над предписанием, потом отодвинул бумагу.

— Не могу! — сказал он сердито. — Черт знает что, такими кадрами разбрасываться! Вот уж не думал, что вам дело ваше не дорого! Вы понимаете, что теперь будет с проектом?

Лесков возразил, уязвленный:

— А ничего не будет, отлично обойдетесь и без меня! Предложения мои отклонили, а техническую работу и другие инженеры сделают. Подписывайте, Михаил Георгиевич, приказ об увольнении. Сами знаете, распоряжение Баскаева — закон!

Но у Неделина рука не поднималась подписать перевод. Он попросил подождать до вечера — надо ему подумать о замене Лескова другим инженером, посоветоваться с руководителями групп. Лесков пожал плечами: ладно, совещайтесь, подписывать все равно придется.

Слух об уходе Лескова мигом разнесся по всем комнатам. Бачулин, забросив работу, бродил из сектора в сектор и уныло объявлял:

— Слыхали? Саня Лесков уезжает. Теперь нашей автоматике крышка. Кончилась автоматика!

И у него было такое печальное лицо, что никто не упрекнул его в преувеличении.

К удивлению самого Лескова, известие о его отъезде произвело в конторе большое волнение. Шульгин, примчавшись, возмущенно закричал в дверях:

— Слушайте, какого черта? Ну, поругались — помиримся, зачем же расплевываться? — И, наклоняясь к Лескову, он предложил громким шепотом: — Может, обиделись, что не дали ассигнований на совете? Так это поправимо! Зайдите — утрясем!..

Он казался таким огорченным, так искренне взваливал вину на свою фантастическую несговорчивость, что Лесков растрогался. Он объяснил, что дело совсем не в прижиме со стороны планово-экономического сектора, просто ему, Лескову, завод ближе, чем проектная контора. Шульгин недоверчиво покачал седой головой.

— Сами вы не знаете, что вам ближе: вам жизнь надо ставить дыбом, на традиции плевать — вот что вам близко. Такое смятение создали вокруг проекта — всех пошатнули!

Самый длинный разговор вышел с Пустыхиным. К металлургам Лесков зашел, когда Пустыхин, вырвав свободную минутку, «свистел», то есть рассказывал забавные истории из своего студенческого и инженерного прошлого:

— Я тогда проектировал взрывоопасный цех, и самое трудное было для меня получить подпись пожарного инспектора. Это был кремень и кровопийца. Он мог придраться даже к стальной цельностянутой конструкции: «Вы тут что-то новое выдумываете, пожар этого не любит». Он читал у нас лекции по пожарному делу, и мы заучивали его формулировки, как молитву, и с тихой отрадой вспоминали их в трудных случаях. Я и сейчас многое помню: «Пожаром именуется пожирание огнем имущества, к тому не предназначенного», «Перила на лестнице делаются для того, чтобы пожарник из тех или иных соображений не свалился». Мне он сказал, отпуская ни с чем: «Учтите мои замечания, и пожар в проекте вам обеспечен».

Лесков непочтительно прервал «свист» Пустыхина:

— Принимайте, Петр Фаддеевич, свое задание, мои чертежи, полностью рассчитываюсь с вами.

Пустыхин свалил бумаги на стол и предложил побеседовать. Он потащил Лескова в коридор, к угловому окну. Коридор был самым оживленным районом проектной конторы. Сюда выходили покурить и поболтать, здесь открывали нескончаемые дискуссии, ухаживали и обхаживали, уславливались о переделках, о сроках, о встречах, очаровывали и разбивали сердца. И самым священным местом, алтарем этого нескончаемого коридора было единственное освещавшее его окно — возле него уединялись для особо важных бесед. Когда у окна стояла группа спорящих, к ним близко не подходили, все понимали: людям надо утрясти колючие вопросы.

Пустыхин легко вспрыгнул на подоконник и, усевшись поудобнее, обратил на Лескова насмешливые, живые глаза.

— В Черный Бор, значит? — переспросил он. — Ну, не завидую: тяжкий кусок хлеба. Там у меня, между прочим, приятели: Кабаков, начальник комбината, человек в прошлом книжку писал — не знаю только, что теперь сохранилось у него в голове. А главный деятель — Крутилин, сколько с ним водки выпито — страх! Этот вас сразу оценит, у него кувалда — высший из всех механизмов автоматики. Чего нельзя обругать, то к металлургии отношения не имеет — таков его жизненный принцип.

Лесков сказал задумчиво:

— И мне говорили, трудное предприятие.

Пустыхин продолжал, посмеиваясь:

— Сейчас меня Неделин вызывал — посоветоваться. Я ему прямо ответил: Лескова отпускать не рекомендую. Надо телеграфировать Баскаеву, что просим задержать хотя бы месяца на три. А в Черном Бору порядка не было и не будет — с вами и без вас. Он, конечно, трусит идти против Баскаеву.

Лесков возразил, возмущенный:

— Не понимаю вашего отношения! Вы хорошо знаете, что без меня вам будет лучше — я человек неуживчивый. Теперь никто не обругает публично ваши проекты «голым королем».

Пустыхин покачал головой.

— Послушайте, Александр Яковлевич, разве мы с вами девицы, не поделившие паренька? Давайте без шпилек! Правильно, поругались. Но неужели даже сейчас вы не видите, что я был прав? Ведь выездили к Баскаеву не за новой должностью — по такому мелкому вопросу и двадцатый его помощник вас не принял бы. Жаловались, конечно, на меня, доказывали свою правоту. И, судя по всему, возвратились ни с чем. Разве не так? Ну-ну, спокойно, я ведь не в обиде! Думаете, вы единственный, кто выливал на меня помои? Я уже привык к подобным методам борьбы — не вы первый, не вы последний.

Лесков сказал глухо:

— Запираться не собираюсь — жаловался на вас. И со мной не согласились — это вы тоже угадали. — Пустыхин довольно кивнул головой: «Иначе и быть не могло». — А если вы спрашиваете, считаю ли я себя правым после того, как от меня все отреклись, я отвечу: да, считаю. Знаю, что вы сейчас думаете: одиночка, возомнивший себя гением, надменно противопоставивший себя коллективу. Фигура смешная, знаю! — Пустыхин сделал протестующий жест рукой. Лесков продолжал с болью и гневом: — Нет, смешная! И ведь что самое смешное: сам я тоже теперь понимаю, что вы были правы. Не все; чего я требовал, можно сразу осуществить.

Пустыхин немедленно отозвался, он с интересом слушал путаную речь Лескова:

— Позвольте, у вас противоречие. Вы видите, что я прав, понимаете, что бороться против правды — значит становиться смешным. Зачем же вы сознательно превращаете себя в смешную фигуру? Мы не можем быть оба правы. Белое бело, черное черно.

Лесков с отчаянием, мрачно смотрел на Пустыхина.

— Не знаю. Мне нужно подумать. Но чувствую: я тоже прав, хоть и вы правы. — У него мелькнули новые мысли, он заторопился — Вот вы... У вас репутация передового инженера. Помню, три года назад я пришел в контору, мне показали на вас: тот самый Пустыхин, создатель заводов и анекдотов, умнее его нет человека на земле. Нет, мне и сейчас не стыдно признаться, я был влюблен в вас юношеской влюбленностью, какой подмастерье обожает мастера. Я запоминал ваши остроты, передавал их потом сестре, копался в событиях вашей жизни, слушал, открывши рот, каждое слово о вас, каждое саше слово — вот как я любил вас! И вы стоили этой любви, стоили: вы были смелы, для вас не существовало трудных заданий, все, что вы проектировали, было великолепно...

Пустыхин прервал его:

— А почему? Не отрывался от почвы. Умел подниматься в небо, но не терял из вида земли. И сейчас стою на ней, как всегда.

— Да, как всегда, — согласился Лесков. — Именно так и выразился о вас Баскаев: «Пустыхин лучше ощущает реальную почву под ногами, чем вы». Видите, я не пристрастен, передаю высокую оценку начальства. Но неужели вы сами не понимаете, что не в этом суть?

— Как не в этом? — крикнул Пустыхин. Лесков повторил с силой:

— Не в этом! Кем вы были раньше, со своей реальной почвой? Первым среди всех. Неделин, боявшийся каждого нового задания, чуть не с ужасом смотрел на вас — таков был Пустыхин. А сегодня? Почва та же, реальная. А Пустыхин? Где Пустыхин, я вас спрашиваю? Отстает Пустыхин, на самой задней телеге. Тот же Неделин учит Пустыхина новаторству. Неделин готов ринуться вперед, а Пустыхин хватает его за руки. Боже мой, да понимаете ли вы это? Нет Пустыхина! — безжалостно крикнул Лесков в лицо Пустыхину. — Почва старая есть, умение есть, а Пустыхина, которому мы поклонялись, походке, смеху которого подражали, нет его, этого Пустыхина! Вот почему я прав, хоть вы меня побили! И хоть я признаюсь в каждой своей ошибке, а вы никаких ошибок не делали и все у вас честь по чести, позади вы, позади всех!.

Он с вызовом, с негодованием прокричал эти слова, он задыхался от ожесточения. Пустыхин соскочил с, подоконника, лицо его было нахмурено. Он сказал быстро и категорично:

— Спор наш выходит за рамки приличия, хватит! Вижу, нам не договориться, ну и ладно!

Лесков смотрел ему вслед. Пустыхин удалялся своей упругой, припрыгивающей походкой, он не оборачивался, его окликнули — он не услышал.

Еще одно следовало Лескову сделать — после этого он будет совсем свободен. Лесков пошел попрощаться с Анечкой. Она сидела за своим столом в приемной Неделина и не подняла на Лескова глаз. Он сказал дружески:

— Анечка, дайте руку, я уезжаю.

Анечка торопливо перелистывала бумаги, подготовленные для Неделина, и ничего не ответила. Лесков терпеливо ждал, пока она освободится.

— Что с вами? — сказал он, удивленный. — Вы чем-то расстроены, Анечка?

Она ответила с упреком:

— По-вашему, я должна радоваться?

Теперь он видел, что она взволнована: глаза ее были красны, веки припухли. Она мельком взглянула на него и опять опустила голову.

— Нет, серьезно, что с вами случилось? — спросил он с испугом. Он привык видеть Анечку самоуверенной и веселой и был поражен переменой в ней.

Она сказала сердито:

— А что могло случиться? Ничего не случилось. Вы уезжаете — только это совсем не важно. И если вы думаете, что я из-за вас, так напрасно.

После некоторого молчания он сказал:

— Анечка, неужели в самом деле из-за меня? Честное слово, не знал...

Тогда она заговорила быстро и горячо: — Ничего вы не знаете! Вы плохой, ужасно плохой! Нет, правда! Вы не цените своих друзей, даже знать не желаете, как люди к вам относятся... И не стоите вы хорошего отношения, вовсе не стоите!

Она замолчала, отвернувшись и сжимая губы. Лесков видел, что она заплачет, если скажет еще хоть слово. Ничто серьезного не связывало его с этой красивой девушкой — приветствия при встрече, несколько шутливых слов, два посещения кино в компании с другими проектантами, больше ничего, — маловато для настоящей привязанности. Он вспомнил, что старался даже не подходить к ней, когда она была с другими, чтоб никому не мешать, сам не ухаживал, — совесть его была чиста. Но он чувствовал себя кругом виноватым, словно обманув ее в чем-то. Он сказал:

— Не сердитесь. Я буду вам писать, честное слово!

Анечка понемногу успокаивалась. Потом она сказала:

— Пишите, я вам отвечу.

Она протянула руку, грустно взглянула ему в лицо заплаканными глазами: казалось, ее утешили его последние ласковые слова. Он весело добавил, прощаясь:

— И мы еще увидимся, Анечка, я ведь уезжаю не на век. Нет, правда, не стоит огорчаться!

Из приемной он вышел с чувством, что выпутался из трудного положения: прощание получилось совсем не такое гладкое, как он ожидал, — но ничего, все это в прошлом! — И через несколько минут Лесков забыл об Анечке и ее неожиданно открывшихся чувствах. Некоторое время он думал о Юлии: она, вероятно, сегодня придет пораньше с работы, чтобы помочь ему уложиться; нужно будет пройти и через это — ее тихие слезы, чувство вины перед ней. Но вскоре и мысль о Юлии стерлась, теперь он размышлял лишь о заводе, лежавшем где-то далеко впереди, и о Пустыхине, оставшемся позади. О Пустыхине он думал больше всего. Он возвращался к их последней беседе, вновь переживал ее. Нет, конечно, в сфере чисто технической его побили, тут у него не хватило аргументов — ладно, впредь будет умнее! Зато он отыгрался на другом, он прямо сказал Пустыхину, что тот отстал и закоснел, из новатора превратился в ретрограда. И Пустыхин смолчал, должен был проглотить эту горькую пилюлю.

Лесков быстро шел по улице, возбужденно размахивал руками, разговаривал с собою, на него с удивлением оглядывались.

А Пустыхин в это время сидел мрачный, ни к кому не обращался — еще ни разу не видели его таким сотрудники. В комнате металлургов, славившейся шумом — там «свистели» в часы самой напряженной работы, «шутка очищает мозги» — был девиз этой комнаты, — сейчас впервые после ее заселения проектантской братией повисло трудное, угрюмое молчание. К концу дня пришел Шур, его раздраженный голос разносился гулко, как в склепе. Шур тыкал пальцем в чертежи, потом ошеломленно уставился на Пустыхина и воскликнул:

— Да что с тобой, Петр? О чем ты думаешь?

Пустыхин с усилием сбросил с себя оцепенение, принужденно улыбнулся.

— Не поверишь, Вениамин, о Лескове.

— А что? — Шур недоверчиво посмотрел на стол, где лежали принесенные Лесковым бумага. — В чертежах напоследок напутал?

Пустыхин хмуро ответил:

— Нет, в чертежах напутать не успел. А в душу много путаницы внес.

9

По обе стороны дороги простирался убитый кислотой лес. Странно было видеть сосны и лиственницы без хвои, березу и ольху без листьев, почерневшую траву, землю без зелени. Крутом, насколько хватало глаз, торчали засохшие стволы, сучья, прутья. А на подъезде к городу и этот мертвый лес кончился, пустынная, мутных цветов земля окружила широким поясом обжитое человеком пространство. Лесков часто бывал на заводах цветной металлургии и знал, что на дома отдыха они не похожи. Плавка руды без газа немыслима. Черноборский комбинат в этом отношении был не хуже многих других предприятий. Лескова тревожило иное. Он все еще опасался, что Баскаев приукрасил действительность и его, Лескова, заткнули в дыру, где не будет ни интересной работы, ни размаха.

Выйдя с чемоданчиком в руке из автобуса, Лесков прежде всего осмотрелся. На склонах невысоких гор, на вершинах холмов, на низких площадках вздымались заводские здания, электростанции, исполинские трубы, мачты электропередач, мосты и пульпопроводы. Гигантский комбинат захватывал площадь в десятки квадратных километров, лез в высоту, нависал над обрывами и ущельями.

— Неплохо, очень неплохо! — пробормотал Лесков с уважением. — Пожалуй, Баскаев не обманул. Если содержание здесь хоть сколько-нибудь соответствует внешнему виду, жалеть о переводе не придется.

Он направился в гостиницу. Дежурный администратор, костлявая стремительная дама средних лет, встретила Лескова, как врага, и, даже не выслушав, объявила, что мест нет и не будет.

Лесков удобно уселся в кресло и закинул ногу на ногу.

— У меня направление из министерства, — сказал он весело. — Это очень хорошо, что мест нет. Думаю, можно будет добиться на этом основании возвращения в Ленинград.

Администраторша уставилась на Лескова подозрительными глазами, потом вскочила со стула.

— Идите за мной! — крикнула она на бегу. — Я поселю вас к Лубянскому.

Она ввела его в чистенькую и светлую комнатушку с двумя кроватями, шкафом и столиком. На стене висела картина, на другой — коврик. В просторное окно лился красноватый свет заката.

— Комната номер тринадцать, — сообщила администраторша, оправляя одеяло на свободной койке. — Четырнадцать рублей в сутки, за душ отдельно, гостей после двенадцати принимать запрещается. Можете жить три дня. Меня зовут Арсения Михайловна. Выписать талон на душ?

— Не один, а десять! — назначил Лесков насмешливо. — Я не собираюсь ограничивать свое пребывание тремя днями, дорогая Арсения Михайловна.

Лесков сунул чемодан под койку и отправился в душевую. Когда, возвратившись, он брился, в номер вошел невысокий человек, поздоровался, снял пальто и присел у окна. Лесков, не отрываясь от зеркала, скосил на него глаза. У человека была запоминающаяся внешность: умное, веселое лицо, проницательные глаза, широкие плечи, хорошо сшитый костюм. Лесков догадался, что это его сосед Лубянский.

— Прорвались? — спросил Лубянский, приветливо кивнув отражению Лескова в зеркале. — Вы четвертый, троих приехавших милейшей Мегере Михайловне удалось сплавить куда-то в молодежное общежитие, хотя самому молодому из них пятьдесят шесть. Давайте знакомиться: Лубянский Георгий Семенович, человек образца 1917 года, по обстоятельствам — ровесник революции, по образованию — обогатитель, по призванию — философ, по судьбе — неудачник. Нет, нет, не вставайте, мы отлично успеем пожать друг другу руки и после того, как вы побреетесь!

Лубянский все более нравился Лескову. У него был насмешливый голос, четкая дикция, во время разговора лицо его как-то мило кривилось, подчеркивая живым движением каждое слово. Узнав, что Лесков назначен начальником местной лаборатории автоматики, он решил помочь ему подробным описанием местных дел. Сидя в столовой, куда они направились поужинать, Лубянский почти один вел всю беседу. Лесков слушал его с вниманием и благодарностью: советы Лубянского были дельны, характеристики метки, а общая оценка положения и людей пленяла какой-то злой прямотой. Лубянский нападал на местные порядки, на начальников, на своих товарищей, даже на самого себя — за то, что недостаточно борется с безобразиями.

Лесков понимал, что злые характеристики Лубянского во многом продиктованы раздражением. «Крепко тебе, приятель, наступили тут на мозоли!» — думал он. Лесков ничего не имел против пристрастности. Пресная объективность была противна его собственной увлекающейся натуре. «Работать будет не так уж тяжко, если еще имеются такие, как этот Лубянский», — весело оценил обстановку Лесков. Лубянский, казалось, угадывал его мысли. Он сообщил, что в Черном Бору сидят не одни самодуры, встречаются и толковые инженеры, люди с дарованием.

Потом он перешел к делам самого Лескова.

— Денег Мегере Михайловне не давайте, — посоветовал он, — пустяки — эти четырнадцать рублей в сутки. Гостиницу нашу населяют в основном постоянные жильцы. Важно захватить койку, а это вы уже проделали. Завтра оформите в коммунальном отделе ордер и поставьте точку на жалобах Мегеры. Постоянные жильцы платят сто двадцать в месяц — разница существенная.

Они вышли из столовой и некоторое время прогуливались по улицам. Лубянский показывал Лескову самое примечательное: театр, почту, горсовет. Город был красив и хорошо распланирован. Было видно, что строят его с размахом и вкусом. Лескову нравились и многоэтажные жилые дома и многочисленные общественные и административные здания. Ночь здесь не казалась такой черной, как в южных местах. По небу ползли цветные полосы, на северо-западе долго не угасал закат. Потом на горах вспыхнули гирлянды электрических огней. Тысячи световых точек висели на стенах заводов, отмечали линии дорог, лезли на высоты. И звезды в просветах неба, образуемых ущельями между гор, были тусклей и, казалось, висели ниже над землей, чем эти искусственные, причудливые созвездия. Лесков залюбовался великолепным зрелищем ночного освещения.

— Не правда ли, удивительно? — проговорил он, протягивая руку к горам.

— Безобразие! — ответил Лубянский. — Тратят тысячи киловатт на иллюминацию, а с нас дерут по сорок копеек за киловатт-час!

10

Рабочий день Александра Ипполитовича Галана, руководителя ремонтного цеха электромонтажной конторы, начался плохо. На столе лежал доставленный из планового отдела график на вторую половину месяца. Галан сидел перед ним и поеживался: производственная программа проваливалась из-за нехватки материалов. Все это предвещало бурные сцены с заказчиками, проработку на совещаниях и неприятные разговоры с рабочими.

В это утро Галан недолго задерживался в кабинете, хотя и любил свое внушительное, с высокой резной спинкой кожаное кресло, привезенное в юный Черный Бор в числе многих других реликвий старины. В кресле этом спалось лучше, чем в постели, — Галан часто в нем подремывал, уставая от хождений по цеху. Он вообще в последнее время уставал, даже если и не было большой работы. Впрочем, ему было уже столько лет, что, говоря: «Мне ведь полста стукнуло!», — он тут же отводил в сторону глаза.

Галан прошел в цех. Здесь ему дышалось и думалось легче, чем в кабинете. В цеху нарастающий прорыв не казался таким неизбежным. Цех работал — сварочные трансформаторы рычали, монтеры возились у стендов, станки были загружены. Но Галан знал, что это лишь видимость работы, заказы на сторону были остановлены, производились только заделы и мелкие ремонты, кое-кто вообще простаивал.

«Может, к Шишкину пойти? — думал Галан, пробираясь вдоль станочной линии и здороваясь с рабочими. — У Шишкина добра до гибели, что-нибудь добуду, а? Да разве у Шишкина выпросишь? Облает и отпустит ни с чем! Велик запас, да не про наш глаз. У Шишкина мышь корочки не угрызет!»

Подумав еще, Галан решил пойти к плановику и насесть на него, — пусть корректирует месячную программу.

Но плановик был существом такой породы, что где на него садились, там и слезали. Этот невысокий, толстый и по виду несерьезный человек носил странную фамилию: Двоеглазов. При разговоре он старался приблизить свое лицо к лицу собеседника, так как был очень близорук, и делал это особенно часто в тех случаях, когда не соглашался, — чтобы лучше рассмотреть, как собеседник принимает его слова. Это считалось нехорошей приметой. В отделе говорили: «Делопут Семеныч на сближение пошел, дело, похоже, не выгорит». Настоящее имя Двоеглазова было Даниил, но меткое словечко «Делопут» так точно выражало его природу, что иначе за глаза его никто не именовал, а кое-кто из начальства так называл и в глаза. При первых же словах Галана плановик зловеще блеснул на него сильно преломляющими свет очками и встал из-за стола. Внешние признаки складывались плохо. Двоеглазов наступал на Галана, а тот тихонько отходил.

— Удивляюсь тебе, Александр Ипполитович! — сказал плановик с укоризной. — Умный человек, а несешь глупости! Ну кто тебе разрешит номенклатуру менять? Тебе сейчас продукцию выдавать, а не себя обслуживать! Понимаешь несоответствие?

Он приостановил свой натиск и, ожидая ответа, пронзительно всматривался в Галана выпуклыми бесцветными глазами. Галан на людях никогда не терял своего лица. Он пытался поправить неудачное начало. Он воззвал к логике планирования как к последнему аргументу. Ну, разумеется, графы менять не следует. Но, кроме ежемесячного плана, есть еще годовой. Если сейчас он, Галан, не может выдавать продукцию на сторону, то почему не разрешить ему заполнить пустоту ремонтом и прочим, все равно потом придется ремонтировать оборудование.

— Ничего не выйдет! — отрезал Двоеглазов. — План есть план! Первая заповедь, понятно? Неразбериху устраивать не позволю. Придет день ремонта, будешь ремонтировать. Все, дорогие товарищи! Желаю удачи в выполнении!

Спорить дольше не имело смысла. Галан отступал с такой приветливой улыбкой, словно Двоеглазов преподнес ему не пакость, а приятный дар. Он даже помахал на прощание рукой. На улице Галан с отчаянием пробормотал:

— Провала не избежать — точно!

Он поплелся обратно в цех, размышляя о своих неудачах.

В цеху ему попался наладчик Селиков из лаборатории автоматики. Селиков широко улыбался: он явился проверять монтаж щитов, а щитов еще не было, это открывало возможность позубоскалить над друзьями из «вражеской» организации, каковой в глазах работников лаборатории являлся электромонтажный цех.

— Засыпаетесь, — снисходительно оценил Селиков состояние дел у электромонтажников.

— Работаем помаленьку, — скромно возразил Галан; еще не было случая, чтобы он признался публично в каком-либо недостатке у себя. — А у вас как, Сережа? Говорят, новая метла появилась?

— А мне на всякую метлу наплевать! — отозвался Селиков с гордостью. — Хотя, — добавил он честно, — Лесков в автоматике кумекает.

Дела лаборатории занимали Галана больше, чем он хотел показать. Взяв Селикова под руки, он повел его с собой. В кабинете, забравшись в свое спальное кресло, Галан осторожно поинтересовался:

— А все-таки, Сережа, изменения у вас большие?

Селиков смотрел в душу Галана, как в чистую воду.

Он знал, куда тот клонит, что спросит и о чем не осмелится упомянуть. Наслаждаясь своей проницательностью, Селиков «тянул резину». Какие у них изменения? Да вроде небольшие. Новый начальник, похоже, — штучка: некоторым уже досталось, а кое-кто сразу в любимчики попал. Вот, пожалуй, и все. Да, точно, ничего больше нет.

— Ну, а кто в любимчики определился? — проговорил Галан, убедившись, что Селиков молчания больше не нарушит. — Наверно, Щукин? Этот умеет без мыла в душу любому начальнику... Чемпион подобострастия.

— Нет, зачем же Щукин, — возразил Селиков спокойно. — Теперь у нас Закатов — закоперщик. Думаю, большие дела предстоят, особенно на обогатительной, фабрике.

— Вот как, — равнодушно ответил Галан. — Давно пора вам браться за обогатительную фабрику — отстает она у вас. А насчет материалов — кабелька, труб, уголочков — хватает?

— Материалов полно, — уверенно ответил Селиков. — Склад забит до верхних полок. Будьте покойны, за этим остановки не произойдет.

— А я и не беспокоюсь, — еще равнодушней заметил Галан. И, помолчав, приветливо закончил разговор. — Очень рад, что дело у вас зашевелилось! Закатову скажи, если будет, какая нужда, так мы с чистой душой...

Но приветливость и радушное предложение Галана не могли обмануть такого поседевшего в производственных интригах человека, каким был двадцатичетырехлетний Селиков... Он понимал, что Галан поражен в самое сердце. Не было больших врагов, чем Галан и Закатов. Интересы их сталкивались во всех областях: на монтажных участках, в бризовских комнатушках, в кабинете начальства, даже в сердце Анюты, жены Галана, не делавшей секрета из своих привязанностей. В большинстве стычек верх брал Галан, однако он тяжелее переживал неудачи, чем его противник: тот давно привык, что неуспех — естественное состояние дел, и не столько радовался, сколько удивлялся, если у него что-нибудь выходило. Вставая, Селиков дал понять, что он прекрасно разбирается во всех этих сложных переплетениях.

— Помощи особенной не потребуется, — заметил он. — Хотя, конечно, на добром слове спасибо.

После ухода Селикова Галан долго сидел задумавшись. Положение оказывается хуже, чем он предполагал. Закатов, конечно, сейчас двинет в ход свои электрические плотномеры. И тогда галановскому изобретению крышка. Все поворачивается против Галана. Заказ на его приборы стоит из-за отсутствия труб и кабелей, а тем временем лаборатория установит свои аппараты. Нет, нужно разорваться, но добыть материалы! Он разорвется и добудет!

Галан вздохнул и позвонил жене.

— Доча, — сказал он мягким, сердечным голосом, мало похожим на его обычный, насмешливый и неторопливый, — сегодня важные дела, я за тобой зайти не сумею, не сердись. — На другом конце линии ему раздраженно ответили, он, извиняюще усмехаясь в трубку, положил ее на рычат с такой осторожностью, словно боялся, что стук может рассердить жену. И тотчас же он превратился в другого человека — энергичного, дельного, настойчивого и хитрого. Маленькие, заплывшие жиром глаза его хищно заблестели. Он с усилием вытащил из кресла свое тучное тело, потянулся и сказал вслух: — Пойдем к Шишкину. Километр кабеля и полтонны труб я из него выдавлю.

11

Начальник материально-хозяйственной части медеплавильного завода Шишкин был человеком, не лишенным известного величия. Он сиял обширной лысиной, принимал людей, стоя за столом, и смотрел в зависимости от ранга посетителя, то утверждающе, то снисходительно, то презрительно. Все это не моглс не способствовать его продвижению по служебной лестнице. Но известности он достиг другим. Шишкин был велик как скупой. Обстоятельства способствовали неумеренному расцвету Шишкина. В эпоху капитализма дальше старьевщика, собирающего на улице тряпки, ему, Шишкину, не было бы дороги: в те несовершенные времена скупиться можно было только за свой счет и размах не получался. Но Шишкин скупился за счет, государства. Он вознес скупость на принципиальную высоту. Он гремел с трибуны партийных собраний, грохотал на балансовых комиссиях, неистовствовал в кабинетах начальников цехов, наводил страх на складах. Темой этого бурного пылания неизменно была благородная пропись: берегите государственную копейку! И точно, копейку он сберегал — ценою гибели рублей.

Каждый великий скупой имел заветную область, где он раскошествовал, скаредствуя с размахом. Мстительный Шейлок коллекционировал закладные. Жадный Гарпагон ставил жизнь против шкатулки с золотом. Скупой рыцарь упивался блеском наполненных драгоценностями сундуков. Плюшкин специализировался на сборе бытового утиля.

Шишкин копил дефицитные товары.

В отличие от своих предшественников, мертвой хваткой вцеплявшихся в желанную добычу и превращавших ее в навечно хранимое сокровище, Шишкин был гибок и оперативен. Скупость его стояла на уровне требований эпохи. Достаточно ему было услышать, что где-то вырос дефицитный плод, как он хищно срывал его с ветки и погружал в свои бездонные закрома. И пока этот плод был дефицитен, вырвать его у Шишкина было возможно только с кровью. Многие подозревали, что в фундаменте скопидомства Шишкина лежит непомерное честолюбие. Начальство, исходившее из принципа «скупость не глупость», видело в нем прижимистого, но рачительного хозяина. Влияли на начальство и донесения ревизоров — Шишкин был честен сам и не терпел жуликов около себя.

Как вое фанатики, Шишкин скромностью не отличался. Он не держал в секрете свои богатства. Когда Галан вошел в кабинет Шишкина, тот описывал Двоеглазову добытые им в командировке редкости. Он декламировал список товаров, словно поэму. Тут были нержавеющая сталь редких марок, текстропные ремни особой прочности, жаропрочные кабели, необычайный магнитный сплав, носивший пышное, даже по звуку чем-то покоряющее название — супермаллой.

— Жаропрочные кабели и супермаллой стоили мне седых волос! — кричал Шишкин, указывая на лысину. — Семь дней наскакиваю на Госснаб, они отбиваются. На восьмой строчу бумагу: если не отпустите, персонально ответите, будем на вас кляузу в Совет Министров писать. Кишка у референта оказалась тонка — не устоял.

— Где им устоять — презрительно бросил Двоеглазов. — Я эту публику знаю до последней запятой. Хилый народ!

Галан вместо приветствия весело сказал:

— Вижу, дефицитные товары накапливаешь, Федор Федорович!

Шишкин ответил, отдуваясь и вытирая лысину:

— У нас дефицитом все полки забиты. Простых материалов меньше, чем дефициту.

Галан продолжал, удобно располагаясь на стуле:

— Значит, супермаллой и жаропрочные кабели? Стоящая штука. Цеховые электрики спасибо скажут.

— Так я им и дам это добро, — равнодушно сказал Шишкин. — Они, конечно, уже разлетелись насчет кабелька, только с меня взятки гладки. Супермаллой тоже сложен на полку. Ничего, аккуратная штука, вроде простая жесть, а дороже серебра. Пусть лежит! Запас каши не просит..

Он гулко засмеялся, приглашая собеседников порадоваться его удаче. Двоеглазов звенел высоким голосом, Галан трясся жирным телом в беззвучном хохоте, потом стал протирать платком прослезившиеся глаза. Его сочувствие обмануло упоенного успехом Шишкина. Как и все на заводе, Шишкин побаивался мстительного и умного Галана, но на этот раз не сумел удержаться.

— Что это ты, Александр Ипполитович, худеешь? — пробасил он сочувственно и снова захохотал. — Смотри, изведет тебя молодая жена!

Галан смеялся еще веселее, но слишком долго, чтоб можно было поверить в искренность его смеха. Анюта была моложе его на двадцать четыре года, и Галан, еще недавно слывший мастером в обхождении с женщинами, теперь ощущал всю тяжесть этой разницы лет. Двоеглазов среди других своих достоинств приобрел умение не задевать личную жизнь опасных для него людей. Душа человеческая не цеховой план, тут приходится двигаться ощупью. Нетактичность Шишкина ему не понравилась. Двоеглазов поднялся и стал прощаться.

— Завтра же пришли официальную бумагу, что все плановые позиции удовлетворены, — напомнил он, удаляясь.

— Напишу, напишу, — согласился Шишкин благодушно. — Вам, чернильным душам, только формочки заполнять. Вот полюбовался бы на полки, сам увидишь, что удовлетворено, чего нет. — Он обернулся к Галану. — С чем пожаловал, Александр Ипполитович?

Галан сказал, темнея:

— Буду ругать тебя по общественной линии. На плохую дорожку становишься — таишь свои художества,

— Что так? — спросил Шишкин. Он был в затруднении: то ли сразу рассердиться, то ли погодить?

Галан стал объяснять. Вчера он слышал разговор в отделе кадров — Шишкин троих работников выгнал. Нехорошо это, надо прямо сказать, нехорошо!

Шишкин начал сердиться. Правильно, выгнал. И в дальнейшем будет выгонять: пьяницы ему не нужны. А какое, собственно, отношение имеет к этому Галан? Он ведь не профсоюзный работник!

— Очень близкое отношение, — возразил Галан, хитро поблескивая глазами. — Ты почему об этом увольнении не пишешь?

— Как не пишу? — возразил озадаченный Шишкин. — Куда еще писать?

— А куда все пишут — в бриз!

— Бриз наймом не занимается.

— Ты пиши не о найме, об увольнении — эта графа бризу близка. Так и формулируй: рассмотрев штаты, предлагаю сократить три единицы при сохранении общего объема работ.

— Да я взамен сокращенных других наберу! — запротестовал ничего не понявший Шишкин.

— Зачем? — серьезно спросил Галан.

— Ну вот, зачем! Работать!

— А сейчас, после сокращения твоих пьяниц, работа идет?

— Идет, конечно. От сокращенных толку-то было знаешь сколько!

— Вот видишь, работают они или не работают, разница небольшая. Стало быть, можно обойтись сокращенным штатом. Записку твою законным порядком пришлют мне на консультацию, а я дам заключение: предложение ценное, по характеру рационализаторское, экономия годовая... — Галан с минуту подсчитывал в уме и сказал твердо: — Девяносто тысяч. Премия автору — десять тысяч восемьсот. Конечно, ужмут, окончательный расчет предложат через год, но половину премии в аванс выплатить должны. За несколько хороших слов чистых пять тысяч четыреста. Представляешь?

Шишкин молчал, боясь поверить в картину, нарисованную опытной рукой Галана. Он знал, что Галан в Черном Бору ходит в первых рационализаторах. В отличие от других изобретателей, творивших по наитию. Галан рассматривал рационализаторское дело как вторую доходную профессию. Проходя по цеху, он присматривался ко всему пытливым взором — что бы тут оформить через бриз! И так как был он человеком творческого ума, то на всех предприятиях комбината внедрялись его усовершенствования — одних авторских свидетельств на изобретения он имел около десяти.

Было еще одно важное обстоятельство: никогда еще Шишкин так не нуждался в свободных деньгах, как сейчас. Даже не пять тысяч, всего одна вывела бы его из тяжелого затруднения. Но влезать в такую темную область, как изобретательство и рационализация, было страшновато.

Чтобы убедить колеблющегося Шишкина, Галан подошел с другой стороны:

— Не ты один, Федор Федорович. Для хорошего рационализатора штатное расписание — золотое дно. Ведь его оставляют как? Одну работу расписывают в нескольких названиях, и каждое название — должность.

Шишкин полюбопытствовал:

— А почему ты свои штаты не режешь?

— Что могу, делаю, — уклончиво ответил Галан. — всех не сократишь. — И, чтоб уйти от этой скользкой темы, Галан бодро сказал: — Значит, заметано, Федор Федорович?

Шишкин замялся. Предложение, конечно, написать можно, да ведь не мастак он на формулировки, его дело — фонды, разный материальный дефицит. Радушная улыбка на лице Галана стала еще шире и радушней. Какие пустяки! А он, Галан, зачем? Завтра у него намечается выходной часок, он черкнет небольшое заявленьице от имени Шишкина. Ты его перебели, подмахни и представь по инстанции.

— Так, пожалуй, пойдет, — проговорил Шишкин, отдуваясь, словно после физического напряжения. — Это приемлемо.

— Вот и чудесно! — сказал Галан, неуклюже поднимаясь со стула.

Прощаясь, он вспомнил, что есть еще небольшое дельце, чуть было не забыл. После обеда он пришлет требование на два километра контрольного кабеля и тонну газовых труб.

— Так ты не тяни с этим пустячком, Федор Федорович, а сразу оформляй, нужно срочно пускать все это хозяйство в работу.

— Две тысячи метров кабеля! — ужаснулся Шишкин. — Тысячу килограммов труб!

— Зачем две тысячи метров? Два километра, — снисходительно разъяснил Галан. — На километры считать проще. И тонны легче, чем килограммы.

Но Шишкин не мог успокоиться. Он чувствовал, что его обвели вокруг пальца — помазали по губам сладенькой водичкой, а из рук вырывают реальные сокровища. Когда он упомянул, что кабели и трубы — материалы дефицитные, Галан стал серьезным. Не смеши, Федор Федорович! Это ведь что? Массовая продукция, такого добра у него самого десятки километров. И если к своим запасам он просит жалкой добавки, так просто потому, что не хватает для плана.

— Половину дам, — уступил Шишкин. Он мялся и страдал, но не решился отказать. — Тысячу метров контрольного кабеля и пятьсот килограммов труб. Вот тебе слово, нет больше на складе.

— Тонну и два километра! — твердо сказал Галан.

Лицо его стало жестким, в маленьких глазках сверкнул злорадный огонек. Количество, предложенное Шишкиным, было как раз таким, о котором мечтал Галан, когда шел на поклон. Но грубая шутка о жене сидела в сердце Галана, как шило. За эту насмешку Шишкин должен был поплатиться. Кому-кому, а Шишкину так шутить не пристало: в Черном Бору все знали о его собственных семейных неурядицах. Еще громко смеясь, Галан решил про себя попросить в два раза больше, чем вначале собирался.

Мучение крупным планом вырастало на лице Шишкина.

— Ну, присылай, — промямлил он и, чувствуя, что силы его слабеют, хмуро добавил: — Только сейчас же шли, после обеда не дам. Мало ли что, может, в цех понадобится.

Галан вышел из кабинета с торжествующей улыбкой. «Анюта не твоя Людмила Павловна, шутить над ней негоже! — мстительно думал он о Шишкине. — А премия — ну, вряд ли ты ее получишь, вряд ли!» Потом он вспомнил о Закатове. «Ну, выходи со своей электротехникой. Пока ты нам планы составишь, у меня уже все в ход пойдет!»

12

Лесков в какой-то степени разделял обычное заблуждение столичных жителей, уверенных что только на улицах столицы встречаются серьезные люди и только в их кабинетах мыслят. Вступив в заведование лабораторией автоматики, он намеревался круто повернуть провинциальных косных работников лицом к новым техническим проблемам. Он представлял себе заранее их изумление, когда он расскажет, над чем работают в московских и ленинградских институтах и проектных организациях. Ему вскоре пришлось убедиться, что новые его сотрудники читают те же журналы, какие читал он, интересуются теми же вопросами. Лесков видел, что помощники у него будут, настоящие помощники, такие же энтузиасты новой техники, каким был он сам. Но практика их ему не нравилась. В увлечении они пытались объять необъятное. Лабораторию заваливали заказами на разработку и внедрение автоматики в цехах, лаборатория с охотой их принимала, но осуществить не могла, распыляя силы по многочисленным объектам. Лесков вдруг с удивлением установил, что для успеха ему нужно не пропагандировать автоматику, а, наоборот, отказывать многим из тех, кто слишком ретиво ее добивался. Он понимал, что одного его желания для такой крутой перестройки недостаточно, и попросил начальника комбината Кабакова принять его для доклада.

Ему пришлось ждать больше недели. Нормального дня Кабакову не хватало, все часы суток были у него рабочими. Он предложил Лескову на выбор — ждать еще или явиться к часу ночи. Лесков выбрал ночь.

Он пришел раньше назначенного часа. У Кабакова сидели руководители предприятий, беседа шла вольная: одни удалялись, другие являлись, входя без доклада. Лесков в одиночестве скучал в приемной, на него глядели с удивлением — вечерами у Кабакова не соблюдался ритуал очередей, ждали в самом кабинете, пока удастся обратить на себя внимание. Кабаков, увидев в раскрытую дверь Лескова, крикнул:

— Что же ты, товарищ Лесков? Входи.

Лесков умостился в углу дивана, рядом с другими, и молчал, ожидая своего времени. Был уже второй час, когда Кабаков, зевая, повернулся к Лескову. В кабинете, кроме них, остался еще невысокий, полный человек. Кабаков — худой, с быстрыми бегающими глазами, сухим лицом и длинным рядом орденских колодок на груди — сказал этому человеку:

— Ну, что, Павел Кириллович, новую технику послушаем? Давай, товарищ Лесков, как разворачиваешься? Слышал, ты что-то не очень заказчиков жалуешь, обижаются на тебя. Зря, между прочим, без автоматики нельзя нам дальше.

Это было хорошее начало для разговора. Лесков смело ответил:

— Правильно, больше заказов не принимаю, а скоро и половину старых аннулирую.

Кабаков в изумлении посмотрел на него, а лысый засмеялся.

— Не под силу нам брать столько заказов, — объяснял Лесков. — Автоматику сейчас все кинулись внедрять, а внедряют так: сами ничего не делают, а на нас наваливают и проектирование, и изготовление аппаратуры, и монтаж, и наладку. Это цехам, конечно, спокойнее, в отчеты вставляют графу «Идет освоение новой техники», а мы ничего толком не можем сделать. И за десять лет не сделаем ни одного по-настоящему автоматизированного агрегата.

Полный с одобрением заметил:

— То же самое я тебе говорил, Григорий Викторович: у меня на обогатительной копаются двое калек, называются «группа наладки». Счета каждый месяц подписываю, а что с двух спросишь?

Лесков догадался, что полный — директор обогатительной фабрики Савчук. Лесков много слышал о Савчуке от Лубянского, тот недолюбливал своего начальника. Но Лескову Савчук сразу понравился. Уравновешенный, с розовым добродушным лицом, он, даже когда молчал, чему-то все посмеивался — видимо, улыбка на этом лице была обычней, чем хмурое выражение. А когда Савчук заговаривал, в глазах его вспыхивало доброе лукавство, они щурились, в них играли какие-то потаенные веселые блики. С первого взгляда было видно, что этот человек не крикун, не задира, с таким хорошо вести дела, при неудаче он шутит, а не впадает в истерику.

Кабаков нахмурился, Лесков понимал, чем он недоволен: среди бумаг лаборатории хранился доклад, подписанный Кабаковым, — в Москву сообщалось, что во всех цехах Черноборского комбината широко развернуты работы по автоматизации. Оценка Лескова не совпадала с этим хвастливым докладом. Кабаков с недовольством ответил:

— Преувеличиваешь свои трудности, товарищ Лесков. Автоматика — дело серьезное, никто не спорит, только мы решали задачи и потруднее — в войну, например. Ты лучше расскажи, что предпринимаешь по линии мобилизации твоих лаборантских кадров. В этом задача — огонек энтузиазма разжечь.

Лесков не сразу сумел ответить. Перед ним сидел известный в стране хозяйственник, этот человек многое знал, многое умел. Но даже и он не понимал, за какую гигантскую задачу брался и как малы его силы сравнительно с этой задачей. Лесков тут же одернул себя — нет, просто человек устал, далеко за полночь, а он весь день работал. Да и почему он должен все знать, сказал себе Лесков. Разъясни ему — он поймет.

И Лесков стал терпеливо разъяснять. Он вдавался в подробности, доказывал свою правоту. Савчук кивал головой потом прервал Лескова.

— Правы они, лаборанты, — сказал он с убеждением. — и что понимают это — хорошо. Честное слово, Григорий Викторович, дело говорит Лесков, ты его послушай.

Кабаков колебался. Сообщение Лескова было неприятно — выходило, что дальше разговоров об автоматизации дело в Черном Бору не шло. И тон Лескова был слишком самоуверен — человек начисто зачеркивал все сделанное до него, всем видом показывал: вот я прибыл, с этого дня считайте начало настоящей работы. Но аргументы его Кабаков не мог отвергнуть, с мнением Савчука тоже приходилось считаться. Кабаков сказал:

— Так что же ты конкретно предлагаешь?

На это у Лескова был готовый ответ:

— Выбрать одно-два предприятия и заняться только ими. Остальные пусть погодят или справляются своими силами.

— Вроде унтер-офицерской вдовы, сами себя высечем, — криво усмехнулся Кабаков. — То кричали: все сделаем; то плачемся: ничего не получается. Ты человек новый, товарищ Лесков, ты рассуждаешь так: я за прошлое не ответчик. Ну, а мы так не можем — за все отвечаем, что есть и что было. История металлургии в Черном Бору не с тебя начинается.

На это Лесков отозвался с вызовом.

— О металлургии говорить не могу, а автоматизации пока нет.

Савчук пытался смягчить разговор, становившийся острым.

— Пусть они берут медеплавильный и мою фабрику, — посоветовал он — Навалятся всем коллективом — вытянут. Честное слово, лучше, чем распыляться.

Кабаков встал и с хрустом потянулся.

— Ладно, спать все-таки надо. Действуй по-своему, товарищ Лесков, посмотрим, что у тебя получится.

Лесков ушел, оставив их в кабинете. Он удалялся с тяжелым чувством — предложение его приняли, но самый влиятельный человек в Черном Бору, его непосредственный начальник, похоже, другом ему не станет. Автоматику внедрять — не в гости ходить, тут придется драться. Плохо, если в таком сложном положении начальство настроено против тебя. Единственным утешением было, что он, видимо, приобрел и доброжелателя — Савчука.

13

После разговора с Кабаковым Лесков решил ознакомиться с объектами, где предстояло работать его лаборатории. Он начал с медеплавильного завода. Лесков прошел пешком все восемь километров, отделявших завод от лаборатории. Это был район, где каждый метр дышал напряжением человеческого труда — вдоль шоссе тянулись многоэтажные дома, цеховые строения, трубопроводы и подстанции.

На заводе он прежде всего отыскал начальника службы автоматики Жариковского. Лесков уже много слыхал о нем, и только плохое. Это был рыхлый юноша, серый и подобострастный, с мелкими чертами на широком лице. Он окончил техникум без особого блеска, но понравился директору завода Крутилину — тот нашел в его хорошем поведении задатки технических дарований. Лескову показали в местной газете заметку Крутилина «Смелей выдвигать молодые кадры»: на третьей странице Жариковский тусклыми глазами угодливо всматривался в читателя. Закатов, один из инженеров лаборатории, сказал, щелкнув пальцами по газете: «Смело, но неразумно». Он же открыл Лескову, что настоящая фамилия Жариковского — Лапшин: тонкий юноша незадолго до приезда в Черный Бор принял фамилию второй жены, чтобы скрыться от алиментов. Но скрыться не удалось: исполнительный лист сразил его на новом месте, несмотря на новую фамилию.

Жариковский даже побледнел, когда Лесков представился. Он вскочил со стула, предложил отдохнуть —; в буфете есть чай и бутерброды, он мигом распорядится. Но Лесков попросил провести его по цехам.

Они начали с сердца завода — плавильного отделения. Лесков ходил по цеху со сложным чувством восхищения и негодования. Медеплавильный завод не являлся самым крупным предприятием комбината. Однако это было мощное хозяйство, оборудованное совершенными механизмами: даже при поверхностном осмотре все здесь казалось внушительным. Как утверждали технические отчеты, на огромной, как дом, отражательной печи были автоматизированы все главные технологические операции. Лесков поразился, как мало действительность походила на утверждения отчетов. В цехе было грязно, жарко и тесно, из окон печи выбивался газ, одетые в брезентовки рабочие с противогазами сновали вокруг нее. Лесков осмотрел регуляторы — это была новенькая, умная аппаратура, вполне пригодная для того, чтоб заменить усталых, измученных тяжкой работой людей. Но вся эта великолепная автоматика пылилась и ржавела. Тут было вопиющее несоответствие — на современной печи, рядом с современными аппаратами совершался черный дедовский труд.

Лесков сказал Жариковскому с гневом:

— За что вы получаете зарплату, товарищ Жариковский? В щитовой выбиты стекла, на приборах грязь, регуляторы не работают. А на собраниях, наверное, бьете себя в грудь: «Мы, автоматчики, передовой цех!».

Жариковский торопливо оправдывался, разбрызгивая мясистыми губами слюну:

— А что я могу сделать? Вы поймите, ужас, а не условия. Все, кому не лень, в приборы лезут, чуть ли не ломом ковыряются. Тут никакая электроника не выдержит.

— Идемте, к Крутилину, — решил Лесков и доставил себе удовольствие не заметить, как жалко исказилось лицо Жариковского.

По дороге Жариковский взмолился:

— Александр Яковлевич, может, лучше в технический отдел, там все утрясем?

— Заводом командует директор завода, — холодно возразил Лесков. — И, конечно, директор только похвалит, если вы предложите улучшение. Не понимаю, откуда такой страх перед вашим начальником?

Жариковский с растерянной улыбкой пробормотал:

— Тимофей Петрович, он вспыльчивый... Еще как обернется...

Лесков знал, что страшило Жариковского. Насмешливый отзыв Пустыхина о Крутилине хорошо запомнился Лескову. Крутилин прошел все ступени на производстве от ученика до директора завода, но среди культурных и знающих людей — начальников и подчиненных — бравировал поведением старого мастера. Он был энергичен и по-своему умен, любил свой завод — он строил его на клочке скалы среди безбрежной вечной мерзлоты. При оказии Крутилин мог подойти к клетке с ломиком и хорошо орудовал им, лучше любого рабочего. Но Лесков предчувствовал, что с этим человеком придется воевать: автоматизация, высшее, что имелось в технике, не терпела навыков, доставшихся от старых предприятий.

В кабинете Крутилина была тишина и важный полумрак, директор сидел над месячной сводкой. Он строго поглядел на потускневшего Жариковского — тот сразу стал меньше ростом — и кивнул головой Лескову.

— Чего тебе? — недовольно сказал он Жариковскому. — Вроде не вызывал. Авария, что ли?

Пока Жариковский путано объяснял, зачем они пришли, Лесков с интересом рассматривал самого знаменитого в Черном Бору директора. Крутилин был огромен, широкоплеч, на мощном отечном лице светились маленькие сверлящие глазки. Китель его был распахнут, и на груди виднелись седые волосы — директору было под шестьдесят. Остановив Жариковского, Лесков начал говорить сам, но Крутилин прервал его на третьем слове.

— Ну, знаю, — сказал он хмуро. — Пыль и газ. Цех как цех, не театр. Ты скажи, лучше, когда вся твоя хреномудрия заработает?

— Вы разрешите мне тоже говорить вам «ты»? — спокойно спросил Лесков.

У него от возмущения руки сами сжались в кулаки. Ему казалось, что он нашел главную причину всех бед с заводской автоматикой — она была в этом чугунном идоле, направо и налево всех тыкавшем и не желавшем даже выслушать посетителя: рыба гнила с головы. И Лесков сразу забыл, что еще недавно также на «ты» к нему обращался Кабаков и он не увидел в этом ничего оскорбительного, словно иначе и не могло быть.

— То есть как это? — озадаченно переспросил Крутилин и вспыхнул. Толстый Жариковский еще больше сжался. — Учить вздумал? — крикнул Крутилин. — Молод еще, понятно? Это тебе учиться надо порядкам на металлургическом заводе! Ты для нас, а не мы для тебя. Чистота, свежий воздух... Может, пальмы тебе в цеху поставить?

— Пальм не надо, — серьезно ответил Лесков, — а вставить стекла в щитовой придется. И вентиляцию наладить. И строго запретить посторонним лазить в приборы. Будьте добры издать об этом официальный приказ.

Ровный тон Лескова, слова его, звучавшие как распоряжения, до того поразили Крутилина, что он растерялся. Несколько секунд он изумленно рассматривал незнакомого молодого инженера, явившегося к нему с такими немыслимыми претензиями.

— Какие мне приказы издавать, я и без вас знаю, — сказал он угрюмо. Он невольно перешел на «вы», это было непривычно и стесняло. — А вам повторю еще раз — приспосабливайтесь к цеховым условиям, никто ради вас не станет переделывать заводы.

Лесков повторил, что автоматика не может работать в подобном цеху. Полусожженный, покрытый пылью регулятор неработоспособен — это надо понять.

Крутилин снова взорвался.

— Цацы у вас, а не приборы! — закричал он. — Электронных стекляшек насовали! Телевизионное ателье, а не щитовая! Ну и оборудуйте вашими нежными механизмами институты, а в цех не суйтесь! — грубо крикнул он Лескову и опять перешел на «ты». — Знаешь, какие приборы нужны на заводе? Дуракоустойчивые: чтобы их и ломком задевали, и пылью осыпали, и пламенем лизало, а они чтоб работали! — И он повторил, наслаждаясь найденным определением, точно выразившим его мысль: — Дуракоустойчивый регулятор, простой, как кувалда, только такой у нас пойдет.

Лесков был взбешен не меньше Крутилина, но сумел сдержаться. Голос его стал глухим и жестким. Что же, дуракоустойчивые приборы — вещь полезная. Но они уже известны — лом, лопата, топор. Новые машины не только умнее, но и сложнее старых.

Крутилин оборвал его, вставая:

— Ладно, дорогие товарищи, что у вас еще? Прения по данному вопросу считаю исчерпанными, лекции слушать нет времени.

Лесков тоже поднялся. Жариковский встал еще при первом крике Крутилина и больше не садился.

— Я думаю, можно подвести итоги, — проговорил Лесков, бледнея от негодования. Он решил идти напролом. Теперь речь шла не о мелких сравнительно мероприятиях, а о принципах — быть или не быть автоматике в Черном Бору. Пример Крутилина покажет всем, что старым порядкам пришел конец. Он вынул и показал Крутилину свое инспекторское удостоверение. — Я накладываю на вас и на Жариковского штраф за недопустимые условия эксплуатации контрольно-измерительного хозяйства. На вас — триста рублей, на Жариковского — двести. Даю две недели, чтобы привести все в ажур. Если ничего не будет сделано, наложу второй штраф — пятьсот и триста. Предупреждаю: штраф удерживается из вашей зарплаты, и отменить его может только суд.

Теперь он чувствовал себя сильнее: у Крутилина было возмущенное и растерянное лицо. Но Крутилин, когда это требовалось, умел владеть собой.

— Вот ты какой! — сказал он грозно. — Ну, ничего, посмотрим! — И он проговорил со злой вежливостью: — До свидания, товарищ Лесков, очень приятно было познакомиться.

В коридоре Жариковский со страхом осведомился: неужели Лесков вправду собирается оштрафовать директора завода? Ведь это Крутилин, он не привык к такому обращению.

Лесков кивнул головой. Да, конечно, штраф будет взыскан. Мало ли кто к чему не привык! Советские законы и на Крутилина распространяются, как это ни обидно для такого важного начальника.

— А при чем же здесь я? — заныл Жариковский. — Разве я один могу устранить все непорядки? Между прочим, вы знаете, сколько я получаю? Да еще такие вычеты!

— Слушайте, — сказал Лесков, теряя терпение, — вы мне больше не нужны, я выберусь с завода сам.

Жариковский отстал.

14

Лесков шел по коридору заводоуправления, всматриваясь в надписи на дверях. Закатов много рассказывал Лескову о секретаре парткома медеплавильного завода Бадигине, напирал на то, что Бадигин — инженер, окончил Московский институт цветных металлов, два года руководил конвертерным переделом и только после этого перешел на партийную работу.

— С Бадигиным можно беседовать обо всем, — уверял Закатов. — Голова, говорю вам. Такому зубру, как Крутилин, он даст ладью вперед во всех технических вопросах.

Лесков решил поговорить с Бадигиным. Партком находился недалеко от кабинета Крутилина. Бадигин сидел за своим столом, напротив разместилось несколько человек — шло заседание. Не обращая внимания на вошедшего Лескова, один из сидевших что-то горячо доказывал другим, вынимая из портфеля бумаги и бросая их на стол. Бадигин покосился на Лескова и кивнул ему головой, словно знакомому, потом молча показал на стул. Лесков присел.

Вскоре он понял, что заседание заряжено надолго — обсуждалось, как разместить в поселке завода молодежь, прибывающую по набору из центральных районов страны. Но через некоторое время Лесков с интересом стал прислушиваться к спору. Поселок медеплавильного завода был лучшим в Черном Бору. Крутилин в свое время заставил строителей возвести на площадке многоэтажные каменные дома с удобствами, разбил между ними скверы, покрыл дороги асфальтом. Ничего похожего на унылые бараки, окружавшие другие предприятия, здесь не было. В те годы на Крутилина ворчали, что он размахивается не по возможностям, требуя немедленно полного осуществления проекта. Но он знать ничего не хотел — написано, утверждено, значит, осуществляйте! Зато на медеплавильный завод шли охотнее, чем на соседние заводы, здесь быстрее сложился устойчивый коллектив рабочих, ровнее выполнялся план. Сейчас от завода требовали, чтобы он освободил один из своих пятиэтажных домов для размещения первой партии прибывающих юношей и девушек.

— Я понимаю, Борис Леонтьевич, все понимаю! — кричал выступавший, обращаясь к Бадигину. — Люди эти пойдут не к вам, а на шахты и в строительные конторы, вы непосредственно в них не заинтересованы. Но есть же, в конце концов, и общие интересы! Им придется не сладко, этим ребятам, они ведь только от папы с мамой, надо же их хоть от этой трудности — жилищной — избавить!

— Да ведь в решении горкома записано: трехэтажный дом! — возражал Бадигин, улыбаясь. — Трехэтажный дом мы освобождаем. Не понимаю, чего вам еще не хватает?

— Мне всего хватает! — спорил выступавший. — Я живу в одной комнате и не жалуюсь. Но их надо жалеть. Смотрите, это сплошь выпускники средних школ, Что они видели и знают?

Он снова протягивал свои бумаги. Бадигин с досадой отвел их.

— Ладно, пересматривать решение горкома не будем! — сказал он решительно. — Трехэтажный дом освободим через неделю, первые пароходы придут через месяц — успеете его переоборудовать. А если не хватит мест, ставьте кровати в коридорах, для ребят это не катастрофа, поспят в коридоре летние месяцы. И кончим на этом, меня ждут другие товарищи.

После ухода посетителей Бадигин повернулся к Лескову.

— Удивительные люди! — сказал он сердито. — Им приказано хорошо принять молодежь, так они от усердия теряют чувство меры. А я бы этот молодой народ поселил именно в бараках, плохого тут ничего нет — пусть испытают на себе, как жили их отцы, когда возводили эти заводы. А первые дома, которые они построят, им же и отдал бы. Вот вам плоды вашего труда, пользуйтесь!

— Да, конечно, так было бы правильнее, — вежливо согласился Лесков, внимательно разглядывая Бадигина и обдумывая, как лучше повести с ним беседу.

Бадигин был рыжеватый молодой человек с крупным спокойным лицом и пристальными, серьезными глазами. Лескову встречались такие люди, — тихони с твердым характером и ясным умом, с ними было легко вести дела, они лишнего не обещали, но, дав обещание, не подводили. «На Крутилина он, кажется, ни в чем не похож. Как они срабатываются?» — думал Лесков.

— Я вас слушаю, — сказал Бадигин.

Лесков назвал себя. Бадигин уже слышал о его приезде в Черный Бор, это облегчало разговор. Но когда Лесков начал описывать свое впечатление от работы автоматики в цехах и передал беседу с Крутилиным, Бадигин нахмурился. Он с неудовольствием прервал Лескова, не дав договорить до конца.

— Мне кажется, товарищ Лесков, вам нужно обратиться к главному инженеру или в технический отдел. Партийную организацию нашего завода и так уже обвиняют, что она подменяет то механиков, то технологов, то снабженцев — лезет в сугубо специальную область.

— По-вашему, работа регуляторов — это только специальная область? — возразил Лесков. Бадигин усмехнулся:

— А по-вашему, вероятно, нет? Мне пришлось немного поработать в плавильном цеху на конвертерах. Регуляторы и тогда и теперь действовали неважно. Плохо работающие краны мучили нас больше, чем плохо работающие регуляторы: если они стояли, останавливался весь цех. А если регуляторы выходили из строя, это никого особенно не огорчало, плавка шла и без них. Вот почему я считаю, что это вопрос чисто технический.

Лескову уже казалось, что он обманулся в своем первом впечатлении от Бадигина. Этот человек был молод, три года назад он еще сидел на студенческой скамье, ему читали лекции по новой технике, рисовали ему картину нарастающей революции в производстве. Что от всего этого осталось в его голове? Достаточно было ему попасть на завод, как он забыл все, чему его учили, и заразился от производственников худшим, что у них есть, — их консерватизмом, их неприязнью к общим проблемам: день прошел, сменные планы выполнены — ну и ладно! Нет, такому человеку нетрудно с Крутилиным, они найдут общий язык!

— Простите, может, я чего-нибудь не понимаю, — вежливо сказал Лесков, — но чем же тогда занимается партийная организация завода?

Бадигин пожал плечами.

— Вы думаете, у нас мало своей работы? Поверьте, хватает чисто политических вопросов. Я мог бы вам показать свой план на этот месяц — тут и культурные мероприятия, и жилищные дела, и подготовка к выборам в местные Советы, и вопросы снабжения трудящихся... Одними столовыми приходится заниматься каждую неделю, на заводе у нас это пока все еще отстающий участок.

Лесков язвительно усмехнулся. Он не умел убеждать, здесь же убеждения были бесполезны, — с ним разговаривал инженер. Лесков встал, встал и Бадигин — дальнейший разговор они вели стоя.

— Я все-таки считаю, что внедрение автоматики — вопрос далеко не только технический, — сухо сказал Лесков. — По-моему, он имеет политического значения больше, чем, например, ваша мучительная проблема, аккуратно ли вытирают официанты стол в цеховых столовых и хватает ли в буфете пива. Для меня наладка регуляторов — внедрение коммунистических методов труда в сегодняшний наш быт. Не могу считать это голой технической проблемой.

Он говорил нарочито зло и вызывающе, чтобы обидеть Бадигина, показать ему, что видит в нем узкого и отсталого делягу. Бадигин не обиделся, он казался скорее заинтересованным. Он снова предложил Лескову сесть.

— У нас выработалась привычка каждый пустяк поднимать на принципиальную высоту, — заметил он дружелюбно. — Я не хочу сказать, что это плохо. Но и перехлестывать в этом не стоит, правда? Неужели вы в самом деле думаете, что наступление коммунизма зависит от того, справится или не справится Жариковский с двумя-тремя вконец разлаженными механизмами на нашем заводе?

На это Лесков отвечал речью. Да, он так думает. Дело конечно не в Жариковском — в тысячах таких, как он. Им вручили новую удивительную технику, человек раскрепощается от ручного физического труда, может оторваться от машины, оглядеться по сторонам, не только орудовать ломиком. Разве это не зримые, пусть первые, пусть робкие черты коммунизма в сегодняшнем нашем труде? О коммунизме говорят всюду, читают лекции, твердят на партсобраниях... О каком коммунизме? О новом социальном строе, о новых отношениях между людьми, о новой морали. Но есть и техническая сторона дела. Коммунизм, как идеальная форма общества, как мечта человечества, известен давно. Но техническая база коммунизма начала зарождаться только сейчас. Эта база. — автоматика, без автоматики коммунизм немыслим — вот как он, Лесков, ставит эту проблему, иначе и нельзя ее ставить. И выходит, тупица и лентяй Жариковский призван у них на заводе закладывать базу нового общества! Годится ли он для этого? Не будет ли кощунством — самое передовое доверить рукам человека отсталого и косного? А Крутилин! Что понимает Крутилин в автоматике? Как он может ее развивать? Он живет прошлым днем, давно отжившей техникой времен первых пятилеток. Сегодня пятьдесят шестой год, а если судить по порядкам на медеплавильном заводе, так еще и сорок шестой не наступил, десятилетие же в наши дни — столетие. Да и что можно требовать от пожилого Крутилина, когда партийный руководитель у него, молодой инженер, мыслит так же! Новая техника? Регуляторы? Это — дело ремонтников, позовите слесарей, отдайте распоряжение дежурному монтеру — все мигом оборудуют!

Еще ни разу Лесков не раскрывался так полно, с такой страстью, убеждением и злостью. Даже в спорах с Пустыхиным он был сдержанней, тогда оба они не выходили за пределы своей привычной области — решались технические вопросы, нужно было решать их технически. Но этот Бадигин стоял на иной почве, он был политический работник, ему простительно во всем ошибаться — не в политике! И его приходится учить тому, в чем он раньше всех должен быть авторитетом, надо вторгаться в его собственные дела. В голосе Лескова звучало негодование, он не пытался его смягчать.

— Я думаю, вы сильно преувеличиваете, — сказал Бадигин. — Я мог бы многое возразить. Конечно, автоматика нас интересует не сама по себе, а как важный шаг на пути к освобождению человека от тяжелого ручного труда. Тут вы правы. Но на Жариковского нападаете напрасно: бедняга, что в его силах, делает честно.

— На Крутилина я тоже нападаю напрасно? — с возмущением спросил Лесков. Он весь сжался, вспомнив, как принял его директор завода. — Знаете, мне кажется, вы примирились с безобразиями в цехах и стараетесь не ссориться с начальством.

— Крутилин мне не начальство, — возразил Бадигин. — Кстати, мы с ним ссоримся довольно часто. Правда, из-за автоматики ругаться пока не приходилось, хватало и других поводов. Вообще вы в одном правы: мало, мало еще занимались мы этой областью.

— Можно ли так понять вас, что теперь вы займетесь ею по-настоящему? — иронически спросил Лесков: ему показалось, что Бадигин начинает отступать.

Бадигин рассмеялся — похоже, ему понравилась настойчивость Лескова. Но ответил он уклончиво:

— Что-нибудь, конечно, сделаем. Придется посоветоваться с товарищами.

Он проводил Лескова к двери и сказал на прощание:

— А все-таки свое отношение к людям вам надо пересмотреть. Очень уж это узко: хороший работник, плохой работник, передовой, консерватор — и все!

— Возможно, это узко, — холодно отозвался Лесков, — но плохих работников я не терплю.

Лесков опять пешком прошел длинный путь от медеплавильного завода до своей лаборатории. Он был мрачен, его мучили опасения — с Крутилиным в конце концов можно справиться, но как расшевелить его окружение, таких, как Бадигин? Крутилин потому и силен, что не один, он груб и косен, но, кажется, все прощают это ему, потому что он улучшает столовые и строит хорошие дома для своих рабочих. Да и так ли уж он неправ, если по-честному? «Дуракоустойчивый» прибор — глупость. Но работоспособный прибор не глупость. В самом деле, можно ли в горячем и пыльном цехе создать такие условия, чтоб все эти тонкие механизмы работали, как часы?

В лаборатории собиравшаяся уходить секретарша сообщила Лескову, что его уже три раза вызывал Кабаков. Лесков набрал номер и сразу попал на Кабакова. Голос у начальника комбината был сердитый. В чем дело, что там произошло на медеплавильном? Крутилин жалуется: Лесков ему нагрубил. И что это за штрафы? Почему такие серьезные действия не согласовываются раньше с ним, с Кабаковым? Директор крупнейшего завода не мальчишка, с ним надо по-особому.

— Ни с кем по-особому не буду! — отрезал Лесков. Он с возмущением рассказал, что видел на заводе и как встретил Крутилин его законные требования, упомянул и о том, что заходил к Бадигину.

Голос Кабакова повеселел. Да, Крутилин это может — изругает любого.

— Значит, триста рублей из зарплаты, а через две недели, если не наведет порядка, пятьсот? Вижу, товарищ Лесков, варварскими методами истребляешь варварство, как говорили о Петре. На этот раз прощаю, в дальнейшем будешь предварительно согласовывать со мной. И что в партком заходил — хорошо, Бадигин — человек серьезный, его одного Крутилин побаивается. Ладно, наводи порядок!

Лесков с облегчением положил трубку — похоже, не одному ему Крутилин не нравится.

15

Многоопытный лабораторный плановик Щукин был единственным, кто возражал новому начальнику. Он доказывал, что при концентрации всех сил на двух объектах финансовый план провалится. Этого им не спустят.

Лесков возразил с удивлением:

— Я не понимаю вас. Наш план — это работа без результатов. А я добиваюсь результатов, то есть того, чтобы в цехах начали действовать автоматы. Против чего вы возражаете?

Старичок плановик продолжал с сомнением покачивать головой.

Для осуществления своей идеи — собирания сил в кулак — Лесков не посчитался со штатным расписанием. Все группы он подчинил участку Закатова. Высокий, костлявый, с подвижным лицом и живой речью, Закатов походил скорее на актера, чем на инженера. Это впечатление усиливалось безукоризненно отглаженным костюмом, небрежно повязанным галстуком, привычкой говорить стихами — он часто вставлял их в технический разговор. Закатов нравился Лескову тем, что в нем бушевал «восторг внедрения». Как и Лесков, он искренне считал, что в наше время заниматься чем-либо, помимо автоматики, — значит попусту тратить силы. О новых аппаратах Закатов мог говорить часами и самыми выспренными фразами; Лесков слушал его с сочувствием.

Закатов шел дальше Лескова; возня с медеплавильным казалась ему излишней, он хотел все силы бросить на обогатительную фабрику.

— Плавильные цеха — средневековье! — говорил он презрительно, — А вы туда ставите изодромные регуляторы. Смех, корова в перчатках лаечных!

Лесков знал, что Закатов заинтересован в работе обогатительной фабрики не только по должности, но и лично: там монтировались сконструированные им электронные регуляторы плотности. Знал Лесков и о том, что Закатов вступил в борьбу с Галаном, предложившим свою особую конструкцию регуляторов, работающих не на электронной схеме, а от сжатого воздуха. Борьба эта, в которую была втянута вся лаборатория, горой стоявшая за изобретение своего инженера, заполняла все мысли и все время Закатова.

Лескову споры Закатова и Галана были не по душе: слишком уж личным соперничеством отдавало от этих споров. «Один самолюбив, другой корыстолюбив», — мысленно оценивал Лесков Закатова и Галана. Он твердо решил соблюдать объективность, как бы на него ни нажимали.

Положение осложнялось еще тем, что у Закатова работала, Анюта, жена Галана. Одинокий Закатов был настолько же к ней привязан, насколько не терпел ее мужа. Он и Анюту втянул в свои нелады с Галаном. Как преданная жена, она желала мужу успеха, как патриотка лаборатории и помощник Закатова, жаждала провала Галана. Душу Анюты раздирало на части, она металась из одной крайности в другую. В лаборатории такое положение считали естественным. Лескову же оно казалось диким, как и все это нелепое соперничество.

Приходя к Закатову, Лесков любовался Анютой. Она была некрасива лицом, зато брала фигурой. Зная о своих достоинствах, она поворачивалась спиной к тем, кто ей нравился, чтобы могли оценить и ее черные блестящие волосы, до того кудрявые, что мука была их расчесывать, и крутые бедра, и тонкую талию. Анюта не умела ходить — только бегала — и была доверчива и вспыльчива. Лесков ей нравился, как, впрочем, и многие другие, она краснела и отворачивалась, когда он входил. Больше же всех ей нравился Закатов: он читал вслух стихи, а работая у стенда, задевал ее локтем или плечом; она то возмущалась, то радовалась, ей хотелось то отругать его, то поцеловать. Игра эта обычно кончалась тем, что Закатов начинал сердиться на ее невнимательность: нельзя же в конце концов по сто раз повторять одно и то же! Тогда Анюта мрачнела, отвечала раздраженно и быстро уясняла себе, чего от нее требовали. Лаборант она была хороший и беззаветно любила свою работу.

Однажды Закатов озабоченно сказал Лескову:

— Знаете, эта старая лиса Галан, кажется, обставляет нас. Он достал откуда-то невероятное количество кабеля и труб и полным ходом монтирует свою ерунду.

Лесков показал глазами на Анюту, прислушивающуюся к их разговору.

— Слушайте, что за тон? Вы ведь о ее муже... А если она передаст?

Но Закатов был слишком взволнован, чтобы соблюдать осторожность. К тому же он лучше знал Анюту, чем Лесков. Он нетерпеливо возразил:

— Все это чепуха! Анюта не передатчик, а преобразователь. Поверьте, ему же еще достанется!

И, повернувшись к Анюте, Закатов бесцеремонно сказал:

— Слушайте, тонколодыжная дева, нельзя же так! Подгонка простенького регулятора занимает у вас целую неделю. С такими темпами мы все царствие небесное проспим.

Анюта вспыхнула. Ее маленькие черные глазки подозрительно впились в Закатова. Она проговорила с негодованием:

— Почему тонколодыжная?.. Не понимаю, Михаил Ефимович, разве я не стараюсь? Все время над стендом...

— Тонколодыжная дева — это Гомер, — объяснил Закатов, бросая взгляд на ноги Анюты. — Высший критерий, качества. А работаете вы безобразно: день за днем затягиваете выпуск приборов.

На этот раз Анюта почувствовала, что виновата. Кто такой Гомер и в какой области он работает, она не помнила, но он, видимо, не хулил девушек, называя их тонколодыжными. Во взгляде Закатова не было ничего осуждающего, — скорее наоборот. А с регуляторами она вправду опаздывает; вчера пришлось задержаться допоздна, пришел муж, она заставила и его помогать и еще отругала, что помогает он неохотно.

— Сегодня сделаю, — сказала она горячо. — Честное слово, выпущу!

Лесков напомнил Закатову, что они собирались вместе пройти на обогатительную фабрику посмотреть регуляторы в действии.

На улице разливалась весна. Снег оседал в горах, ручьи неслись в долины и плескались в берега, как большие реки. Лесков вначале шел по нижнему шоссе, потом свернул на прямую дорогу от лаборатории к фабрике по склону горы. Дорога была нелегка, но Лесков не жалел: ему хотелось пройтись по почерневшему, талому снегу, послушать гул освободившейся воды. Закатов, увлеченный разговором, даже не заметил, что идти стало тяжелее. Он с жаром втолковывал Лескову, что обстановка на фабрике трагически запуталась. Техника наткнулась на интригу. Только дураки не понимают, что будущее за электрическими, а не за пневматическими регуляторами. А в измельчительном цехе, в трех метрах от лабораторных электронных плотномеров, Галан устанавливает свою пневматическую кустарщину. Галан, конечно, не дурак, но проходимец. Автоматика сама по себе его не интересует — только денежная премия, которую можно из автоматики выжать. И вот с таким человеком приходится ежечасно сталкиваться. Два хозяина на одном участке — чушь какая-то!

— Что же вы предлагаете? — прервал Лесков. Закатов, не моргнув глазом, расшифровал: гнать с фабрики Галана! Нечего ему изобретать давно отвергнутые вещи и сушить мозги начальству!

Лесков присел на очистившийся от снега камень. Внизу, в долине, виднелись редкие участки зеленых насаждений и чернел на земле мертвый, убитый газом лес. А здесь с вершины горы сплывали ледники, вода с пеной и брызгами выдавливалась по их краям, прокладывала в их толще сверкающие синеватые, как весеннее небо, желоба. Внимание Лескова странно распалось и струилось сразу по многим линиям. Он обдумывал жалобы Закатова, его глаза рассеянно вбирали цвета воды, льда и неба, уши наполняли грохот несущихся потоков, треск ломающихся льдинок, громкий, пьянящий, как вино, голос северного мая. А в стороне, в особой комнатке сознания, звучало полученное вчера письмо сестры.

Юлия тосковала в одиночестве. «Санечка, мне страшно являться в нашу квартиру, — писала она. — Вторую неделю от тебя ни строчки, я даже работаю плохо: все думаю о тебе. Как ты там? Кто о тебе заботится? Мне кажется, что в этом далеком Черном Бору тебе очень плохо. Санечка, отзовись!».

«Я свинья, что так долго не писал! — с раскаянием подумал Лесков о письме сестры. — Ах, как хорошо, как удивительно хорошо!» — мысленно ответил он голосам воды и земли, а Закатову добродушно заметил:

— Ладно, Михаил Ефимович, о Галане мы еще поговорим. Вы лучше посмотрите, какой сегодня хороший день.

— Денек невредный, — согласился Закатов. — Но знаете, давайте-ка пойдем, а то начальство разбредется по цехам и заседаниям.

Они встали и молча двинулись дальше. Закатов продолжал размышлять о своем заклятом враге. Но мысли шли туго. Сияющий день врывался и в его душу, волновал его. И Закатов заговорил громкими, как весна, ликующими стихами, совсем не отвечавшими его теперешнему настроению:

— И нужды нет, все люди правы в такой благословенный день!

Лесков рассмеялся. Ему понравились стихи и негодующий тон, каким их прочитал Закатов. «Нет, очень, очень хорошо! — снова подумал он. — Просто даже удивительно, до чего хорошо!» Теперь ему казалось, что не только все вокруг сияет и ликует, но и в нем самом полно торжествующего света. Он уже не мог идти степенно, беспричинный восторг гнал его вперед, ему хотелось прыгать, размахивать руками, может быть, даже пройтись на руках. Закатов далеко отстал, преодолевая трудную дорогу. И Лесков, поджидая его, удивился своему сумасбродному настроению. Глупо, друг, ты не на веселье идешь, а на передовой участок своего маленького фронта, предстоят споры и ссоры, как это уже было на медеплавильном заводе. Улыбки здесь неуместны.

Но он ничего не мог с собой поделать. Беспричинное счастье звенело и переливалось в нем. И с этим ощущением счастья, с нетерпеливым ожиданием чего-то необычайно хорошего, что должно в следующую минуту произойти, он вошел в ворота цеха крупного дробления обогатительной фабрики.

16

Три гигантских корпуса террасами поднимались один над другим по склону горы — цехи крупного, среднего и мелкого дробления с флотационным отделением. Лесков с Закатовым сделали всего два шага и вдруг попали из мира света и ликования в мир мрака, пыли и грохота. Цех работал «с колес», железнодорожные составы подходили к его бункерам и обрушивали в них свой груз — глыбы породы с золотистыми зернами и прожилками руды. Исполинские дробилки раздавливали эти глыбы, превращали их в куски величиною с футбольный мяч и выбрасывали на транспортеры. Лесков, озираясь, медленно пробирался меж дробилок. Уже не беспричинное, бездумное ликование, а осознанный восторг наполнял его. Цех был великолепен. Он был прекрасен той особой, поражающей глаз и разум красотой, какая взволновала Лескова при первом взгляде на Черный Бор. Все в цехе было огромно: бункера, в которых мог бы поместиться средних размеров дом, дробилки вышиною в два этажа, даже шум работы — тяжкий, непрерывный, плотный, все заполняющий, как вода. В этом цеху можно было разговаривать только криком.

В корпусе почти не видно было людей. Изредка кто-нибудь включал и выключал пусковую аппаратуру, звонил по телефону. Это был не труд в старом его понимании — непрерывно растрачиваемое мускульное напряжение. Здесь работали машины, человек только наблюдал за ними.

Выйдя из здания, Лесков воскликнул:

— Потрясающе! Еще немного усилий — и цех можно на замок, чтобы люди не посещали его без особой нужды.

Закатов был, настроен более скептически.

— Ну, это еще не скоро, — пробормотал он.

Чтобы Лесков не терял времени на рассматривание всех помещений, Закатов провел его через цех среднего дробления по коридорам и транспортерным галереям. В просторное здание измельчительного цеха Лесков вошел первым. Здесь он задержался. Он стоял высоко над мельницами, прислонившись к перилам помоста. Закатов потянул его за рукав, Лесков даже не обернулся. Цех мелкого дробления был грандиозней и технически изящней всего, что Лескову пришлось до сих пор видеть. Закатов, покорившись, встал рядом с Лесковым.

Измельчительный цех представлял собой просторное здание со стеклянной кровлей, пронизанное светом солнца и наполненное ровным и мощным гулом. Оно протянулось в длину на четыреста пятьдесят метров и делилось четкими линиями на три ряда. В первом, у самой стены, простирались железобетонные бункера, куда подавалась из дробильных цехов руда. Середину здания занимала линия из двадцати четырех мельниц. Это были огромные, вращающиеся с тяжким грохотом стальные бочки. Измельченная, смешанная с водой руда — пульпа — сливалась из мельниц в классификаторы — широкие наклонные корыта, в которых медленно ворочались могучие стальные спирали. Два ряда этих классификаторов вздымались один над другим, заполняя остальное помещение цеха. В воздухе плавали острые запахи химических реактивов, чувствовалось обилие влаги.

— Обратите внимание, сколько людей, — сказал Закатов. — Измельчители, классификаторщики, пробоотборщики — ужас просто! Наши регуляторы вон там, — он показал на противоположную сторону цеха, где поднимались корыта классификаторов. — Идемте же, Александр Яковлевич! Просто не понимаю, что вас тут так захватило!

Лесков, проходя мимо мельниц, зачерпнул рукой пульпу: она напоминала по виду обыкновенную грязь, образующуюся после дождя на улице, даже пахло грязью. Но в этой грязи, как уже знал Лесков, было скрыто множество ценнейших металлов — грязь эта была драгоценна.

На площадке классификаторов возвышались похожие на шкафы щиты со встроенными в них электронными регуляторами... Около одного из щитов возился Селиков, статный и веселый, перепачканный пульпой. Он радостно приветствовал начальство и, блестя темными быстрыми глазами, с гордостью подвел к прибору. На диаграмме змеилась тонкая кривая — записанная прибором плотность жидкой пульпы.

— Пускал на часок автоматическое регулирование, — похвастался он. — Воды подавали ровно столько, сколько требуется.

Лесков прошел к месту, где электрический исполнительный механизм прикрывал и открывал в трубе отверстие для прохода воды. Механизм был новенький, но весь покрыт мокрой пульпой. Грязь струилась по нему, заливая все поры, покрывая электрическую проводку.

— Вы думаете, надолго его хватит в таких условиях? — хмуро спросил Лесков Закатова.

— А что мы можем сделать? — возразил Закатов. — Грязь неизбежна в мокром цеху.

К ним подошел классификаторщик, невысокий пожилой человек с добрым лицом. Он так хорошо улыбнулся Лескову, что тот первый протянул ему руку и сердечно пожал ее, словно старому знакомому. Глаза у него были выцветшие, но умные и ласковые.

— Налаживаете, товарищи? — осведомился он доброжелательно. — Ну, а когда все это в натуре заработает? — Он добавил одобрительно: — Штука хорошая, всем нравится!

— Наладим, не беспокойся, дядя Федя! — уверенно сказал Селиков, по-приятельски похлопав пожилого рабочего по плечу. — Года не пройдет, как все заработает!

Дядя Федя и на него посмотрел с той же дружеской улыбкой.

— Штука полезная, — повторил он. — Ну, а у товарища вашего, Александра-то Ипполитовича, регуляторы вроде ровнее пишут.

Закатов нахмурился, а Селиков пренебрежительно бросил:

— Пустяки, дядя Федя! У Галана регулятор пишет не что есть, а что Галану требуется: машина исполнительная. У нас же на честность: раз плохо — значит, и пишем, что плохо, не скрываем.

Дядя Федя недоверчиво покачал головой, Лескову не понравился разговор: слишком уж базарным душком отдавала эта похвальба своей продукцией и охаивание чужой работы.

Он недовольно отвернулся от Селикова и взял рабочего под руку.

— Ведите нас к регуляторам Галана, — попросил он. — Кстати, как вас зовут? Я Лесков, начальник лаборатории автоматики.

— Бахметьев, Федор Кондратьевич, — сказал рабочий. — Да меня по фамилии только бухгалтер знает, а так все дядей Федей зовут. Вы, значит, начальник новой техники? Вопросик у меня к вам, только не знаю, удобно ли? Дело щекотливое.

Лесков поспешил успокоить рабочего. Ну, конечно же, можно спрашивать обо всем, лишь бы это относилось к его области.

— К вашей, товарищ Лесков, — заверил Бахметьев. — Вот теперь всюду говорят, что автоматы людей заменят. Да ведь, правду сказать, чего хитрого в нашей работе? В журнал загляни, колесо круть-верть — и все. Вполне способно для автомата. Ну, а с нами как будет? Вместо нашего брата поставят регуляторы, а нас — на улицу? Так вроде получается.

— Да что вы! — воскликнул Лесков. — Никогда этого не будет! — И он подробно объяснил рабочему положение дел. В стране не хватает рабочих. Каждая пара рук, что освободится в результате внедрения автоматики, сейчас же найдет себе применение для расширения производства.

— Это бы хорошо, — проговорил успокоенный Бахметьев. — Правильно, много у нас строят.

Похоже было, что он уже много думал об этом и услышал то, что хотел услышать: он успокоился и повеселел.

Регуляторы Галана были установлены на этой же секции, несколько в стороне от лабораторных. Богатство, добытое у Шишкина, было полностью использовано. Закатов не пошел с Лесковым, чтоб не подумали, будто его волнует состояние дел у Галана. Лесков раскрыл щит и с интересом рассматривал собранные там механизмы. Он увидел известные ему давно заводские приборы, рассчитанные на большие давления. Вся хитрость затеи Галана состояла в том, что он приспособил их для требующихся тут малых давлений. К задней крышке заводского механизма Галан приделал свое изобретение — маленький приборчик, дифманометр оригинальной конструкции.

— Техническое надувательство! — с убеждением проговорил Селиков, показывая на дифманометр. — Штука эта работает, когда Галан стоит рядом, а в его отсутствие ни на что не реагирует. Такая удивительная модель! Вот подождите, я сейчас его расшифрую.

Он подошел к питающей линии и вручную повернул вентиль — тонкая струйка воды превратилась в мощный поток. Уровень пульпы в корыте классификатора стал быстро подниматься.

— А ну-ка, черноглазенькая, пробу! И живо! — распорядился Селиков, обращаясь к молоденькой девушке, с жадностью следившей за каждым его движением. И, глядя на диаграмму, он уверенно предсказал: — Плотность упадет на три-четыре сотых, а регулятор и не почешется. Никакой чувствительности!

Девушка через минуту подтвердила, что плотность пульпы уменьшилась на пять сотых. Линия на диаграмме слабо выгибалась вниз. Казалось, прибор с неохотой с большим запозданием фиксировал изменения. Зато воздушный исполнительный механизм энергично приводил все в норму: поток воды снова превратился в струйку, струйка иссякла, стала ниткой.

— Видали? — торжествующе воскликнул Селиков. — И подобные игрушки называются у Галана контрольно измерительными приборами!

Лесков потрогал рукой исполнительный механизм. Это был совсем простой аппарат, ничем не напоминавший тот сложный, что стоял у Закатова: две стальные тарелки, стальной шток. Такую штуку можно было заливать водой, облеплять грязью — она в любых условиях оставалась работоспособной. И в движение ее приводило не электричество, а воздух: не нужно было ни сложных систем питания, ни надежной изоляции. «Нет, пневматика в этом цеху уместней, тут Галан, пожалуй, прав, — подумал Лесков. — Конечно, дифманометр у него неудачный, но это поправимо!» Лесков подозвал стоявшего в стороне Закатова.

— Регуляторы Галана мне нравятся, — сказал он. — Мне кажется, они имеют преимущества перед электрическими в этом мокром цехе. Но конструкция дифманометра неудачна. Как вы отнесетесь к тому, чтоб доработать ее в нашем конструкторском бюро?

Закатов с возмущением взглянул на Лескова.

— Это невозможно, — сказал он быстро. — Тут личное предложение Галана, его бризовское дело. Зачем нам соваться?

— Предложение личное, а дело общее, — возразил Лесков.

Селиков пришел Закатову на помощь. Селиков тоже считал, что в наши дни нет ничего благородней и важней автоматики, и вкладывал страсть в каждую свою монтажную операцию. Галана с его замашками мелкого хозяйчика и умением всюду найти личную выгоду Селиков недолюбливал. Уже из-за одного этого он не мог хорошо относиться к усовершенствованиям Галана.

— А наши регуляторы куда? — спросил он грубо. — На помойку? Непатриотично это по отношению к своим, Александр Яковлевич!

Но Лесков решил раз и навсегда покончить с дрязгами.

— Будем испытывать обе конструкции, — сухо сказал он. — А что до патриотизма, так я патриот лучшего варианта, а не «нашего» или «ихнего»! С меня корона не свалится, если я позаимствую у соседа удачную мысль.

17

Спор их был прерван появлением нового человека. Это была девушка в светлом костюме, невысокая и яркая, как детская игрушка. Через стеклянную крышу бурным потоком лился весенний свет, в сумрачных коридорах между классификаторами вспыхивали сияющие снопы, и она возникла в одном из этих снопов, отразив на группу спорящих его сияние. Смелые большие глаза девушки весело взглянули на замолчавших мужчин, звонкий голос проговорил общее ко всем: «Здравствуйте, товарищи!» Лесков с Закатовым отступили, открывая ей дорогу, а Селиков, радостно улыбаясь, выдвинулся вперед. Он тряс руку девушки, заслонял ее спиной от других и словно показывал всем, что у него особое к ней отношение и это особое отношение дает ему право держаться так, будто, кроме них двоих, никого больше не существует. И девушке, похоже, нравилось это: она не отнимала руки и дружелюбно улыбалась.

— Я вас ждал, Надя! — говорил Селиков с приятельской укоризной. — Вы обещали прийти утром посмотреть, как работают регуляторы. Нехорошо обманывать беззащитного человека!

— Не могла, Сережа: очень много было работы, — оправдывалась девушка. — А вы не такой беззащитный, вон у вас какие зубы, куснете — и сразу в клочья!

Селиков, довольный, захохотал. У него и вправду были великолепные зубы, он, улыбаясь, раскрывал рот — это придавало хищное выражение его красивому, уверенному лицу. Девушка, высвободив наконец руку, повернулась к другим. И сразу она преобразилась и повзрослела, по лицу ее пробежала тень, взгляд стал холодным.

— Товарищи, так же нельзя! — проговорила она с упреком. — Вы путаете всю флотацию. Вдруг хлынули массы пульпы, уровень в машинах поднялся. Я не знаю, что у вас тут делается, но мы так вести процесс больше не можем.

Ее глаза поочередно взглядывали то на одного, то на другого, а Лескову казалось, что смотрит она только на него и только к нему обращает свои упреки. И он хотел уже оправдываться, но его опередил Селиков.

— Пустяки, Надя! — небрежно сказал он. — Я демонстрировал своему начальству чувствительность регулятора, пришлось пустить немного воды.

Теперь девушка смотрела на одного Лескова, безошибочно выделяя его среди группы людей, хотя Закатов стоял впереди, был гораздо солидней и отлично мог сойти за начальника лаборатории.

— Значит, это вы? — проговорила девушка примирительно. — Против экспериментов не возражаю, но прошу и о наших интересах помнить. Вы не очень вольно действуйте водой, а то зальете нас снова. — Она повернулась к классификаторщику: — Дядя Федя, наладь на самый малый поток!

Дядя Федя вышел на помост, нависавший над самой лестницей. Приставив руки ко рту, он заорал:

— Колька, леший, черт, слышишь?

Откуда-то сквозь грохот мельниц донеслось слабое:

— Слышу! Чего орешь?

Дядя Федя крикнул еще громче:

— Сбрось, дьявол, нагрузку на мельницах тонн на двадцать! Баки забиты! Ну?

И снова снизу послышалось:

— Ладно! — и еще что-то, похожее на крепкую ругань.

Классификаторщик пощупал рукой жидкую пульпу и уверенно пообещал:

— Через десять минут будет в аккурате!

— Вот вам местная автоматика! — насмешливо проговорил Селиков. — Не электрическая, не пневматическая, а ругательная. Регулятор срабатывает без опоздания: кулак кверху, хорошее словечко вдогонку — и готово!

— Дело не в ругани! — сурово ответил Лесков. Ему было неприятно зубоскальство Селикова; тот из желания порисоваться превращал серьезные вещи в пустяки. И, вспомнив о споре с Закатовым и Селиковым, он обратился к девушке:

— Простите, вы, кажется, работник флотационного отделения? Скажите, какие регуляторы лучше работают: вот эти, пневматические, или те, что налаживает Селиков, электрические?

Девушка рассмеялась, словно Лесков сказал что-то очень смешное.

— Вы хотите поссорить меня с Сережей? — ответила она лукаво. — Товарищ Селиков слышать не может о пневматических приборах. — Она весело оглянулась на Селикова, тот ответил ей широкой ухмылкой, говорившей яснее слов: ладно, ладно, болтайте, у меня свое мнение.

— Мне безразлично, что вам нравится или не нравится, — хмуро возразил Лесков. — Я автоматчик, меня интересуют не человеческие симпатии, а техника — что как работает.

Он слышал со стороны свои слова, беспричинно грубые, но не мог сдержаться. Он не смотрел на девушку, чтобы выражение обиды — оно, несомненно, должно было появиться на ее лице — не заставило его замолчать, прежде чем он выскажется. Девушка в самом деле обиделась. Она ответила, что кроме беспокойства, они, флотация, пока еще ничего не видят от регуляторов.

Лесков поймал взгляд девушки: теперь она смотрела внимательно и хмуро, как смотрят на человека, от которого ждут только плохого. Он покраснел, отвернулся от нее и сказал Закатову, что нужно двигаться дальше: тут его больше ничто не интересует.

— Сережа! — строго проговорил Закатов. — Иди и вкалывай! И чтобы без трепотни! Сегодня пустить всю шестую секцию!

— Есть без трепотни! — ответил Селиков и, взяв девушку под руку, пошел вместе с ней. Они не торопились и громко смеялись. Селиков распоряжение «без трепотни» понимал своеобразно. Лескову казалось, что девушка смеется слишком громко, похоже, она мстила этим за его, Лескова, грубость с ней.

Бахметьев остался на месте. К нему по лестнице поднялся измельчитель — рабочий с хмурым лицом.

— Чего тут у вас, дядя Федя? — поинтересовался он. — Что-то начальства навалило.

— Автоматчики это, — отвечал Бахметьев. — Регуляторы осматривали. Всю фабрику на приборы планируют. С нас начнут, а там пойдут дальше.

— Значит, автоматы, — сказал измельчитель мрачна — Нас, выходит, побоку. А у меня, к примеру, четверо ртов. Это как, по-твоему?

— Ну ладно, понес! — добродушно сказал Бахметьев. — Чего раньше горя плачешь? Я тут с начальником толковал: нужда, говорит, в рабочих руках. Почему мы, говорит, бессловесную машину вместо человека монтируем? Человек у нас в дефиците. Всех, кто освободится, отправят на расширение производства.

Измельчитель, однако, не был убежден. Нарисованная дядей Федей картина казалась хорошей, но житейский опыт подсказывал, что все это не так просто, как излагал дядя Федя. Рабочий проговорил хмуро:

— Ладно, поживем, пожуем. А пока, Федя, ты регулятор этот отключи: я пойду нагрузку добавлять, а то с твоими автоматами и вовсе в трубу вылетишь! Через час Алексею принимать смену — надо сдать все в аккурате.

18

Селиков, проводив Надю, вернулся к своим регуляторам. Он торопился: начальство, а потом Надя отняли у него много времени. Около Селикова, с восхищением следя за его уверенными, точными движениями, по-прежнему вертелась черноглазая девушка в мужской перепачканной брезентовке. Ему было не до нее, но уважение и страх, с каким она всматривалась в кривые, вычерчиваемые прибором на диаграмме, позабавили его. Он поинтересовался, скосив на нее глаза:

— Ну, а имя тебе как, хорошенькая?

Она ответила с живостью:

— Маша, а что?

Селиков тонко изучил науку обращения с женщинами. Он заметил грубовато и внушительно:

— Как Маша, так... хорош человек!

Она возразила, вспыхнув:

— Ну, прямо! Тоже еще скажете!

Он с головой влез в шкаф с приборами. Регулятор попался трудный, что-то в нем не ладилось: он то подавал в классификатор много воды, то совсем ее прикрывал. Селиков озадаченно осматривал его, соображая, где неполадка. Он совсем забыл о Маше. А она, не дождавшись ответа, продолжала:

— Это как же надо понимать такие слова?

Он обернулся, готовый выругаться. Тут он в первый раз заметил, что перепачканная пульпой девушка довольно миловидна. К нему мигом вернулось хорошее настроение. Он улыбнулся широко и ослепительно.

— А так и понимай, что хорошая, не плохая. Она еще не верила:

— Почему хорошая? Вы шутите?

Он окинул ее красноречивым взглядом.

— Да разве буду, я шутить в таком серьезном вопросе? Говорю, хорошая, значит, хорошая. Голова, руки и прочее — все на месте, что требуется. Тебя еще замуж не уводили?

Она расхохоталась.

— Ну вот еще, замуж! — выговорила она сквозь смех. — Я не собираюсь. Мне и одной неплохо. Я никогда замуж не выйду.

Он подмигнул ей.

— Так я и поверю! Была у меня одна знакомая, зарекалась, зарекалась, а как увидела, сразу кинулась. В общем, Маша, так: в эти дела женщины много путаницы внесли, без пол-литра не разобраться. Как-нибудь поговорим с тобой вечерком на эту тему поподробнее. А пока, извини, мне не до разговоров.

Она с сожалением отошла и занялась своим делом: взвешивала отобранные порции пульпы, заносила цифры в журнал. Дядя Федя стоял около нее, просматривая записи. На площадке появился молодой рабочий в чистой спецовке, с улыбающимся лицом. Дядя Федя радостно кивнул ему головой.

— Уже на смену? — сказал он одобрительно. — Рановато, Алексей.

— Лучше раньше, чем никогда, — ответил рабочий, улыбаясь еще веселей. — Дела есть.

— Дела! — с презрением сказала Маша. — Какие у тебя могут быть дела до смены? Знаешь, дядя Федя, зачем он приплелся? На меня поглазеть захотелось, вот и все его дела. Видишь, ничего не может против сказать. Одно: пялится, как на чудо!

Алексей виновато молчал, не сгоняя с лица неуместной сейчас радостной улыбки. Дядя Федя поспешил ему на помощь.

— Ну, на тебя поглазеть невредно, — сказал он примирительно. — Пусть пялится, тебя от этого не убудет. Жаль, Алеша, опоздал немного, народ тут ходил — автоматчики. Со мной много разговаривали про научные достижения, что да почему.

Алексей с благодарностью посмотрел на дядю Федю. Тот незаметно мигнул ему и отошел. Он сочувствовал парню и хотел подбодрить его в трудном разговоре с подругой: Дядя Федя хорошо знал, что с ней Алексею не повезло. Они встречались уже с год, но толку из этого не выходило. Алексей для пустого веселья не годился, от природы был малоразговорчив — беседовал больше улыбками, разнообразными и выразительными, как слова, а Маша ухаживания без болтовни не признавала. С другими ей было проще, но прогнать Алексея она почему-то не хотела. Она вымещала на нем свои неудачи и сомнения, он все терпел.

Алексей уцепился за подсказанную дядей Федей тему.

— Чудная штука — автоматика! — объявил он с заискивающей улыбкой. — Скоро всех забот у нас будет — на диаграммы поглядывать. Работать станут регуляторы, а мы в профессора перейдем.

Маша отозвалась с негодованием.

— Прямо — профессор из тебя!

Он настаивал:

— А что? Буду. Чем они не люди — профессора?

Она отрезала:

— Люди да не такие!

Он почувствовал, что дальше спорить не стоит.

— Ладно, не бойся, в профессора не пойду. А как, если на прогулку? В кино, например, на лыжах?

Она презрительно фыркнула:

— Вот еще интерес — с тобой ходить! Ты слова путного не скажешь, только хохочешь. Не терплю несерьезных людей! Ну, скажи, чему ты сейчас радуешься?

Он был скорее огорчен, чем обрадован, но ничего не сумел с собой поделать — и на этот раз проклятая улыбка освещала его лицо, он с ненавистью видел ее со стороны. Он пробормотал:

— Пошли, Маша?

Она передразнила:

— «Пошли, пошли» — только от тебя и услышишь. Ты послушал бы, как другие с девушками разговаривают. Так прямо за сердце и хватает, ну просто еще одно словечко — и само выпрыгнет... Здесь начальник лаборатории сегодня прохаживался, говорит, как рубит, даже дядя Федя уши развесил. С таким не только на прогулку или в кино — на край света не скучно!

Маша пренебрежительно передернула плечами и пошла с журналом в контору ОТК — сдавать смену. Алексей, опустив голову, поплелся в другую сторону, на мельницы. Он продолжал улыбаться, улыбка его была унылой.

19

— Куда вы меня ведете? — изумился Закатов. Лесков только посмотрел на наружную дверь и решительно свернул в сторону. — Тут у нас дел больше нет.

Лесков возразил, увлекая его за собой:

— Есть, есть дела. Пойдемте к Лубянскому. Думаете, это все наши заботы — приборы устанавливать? Нет, друг мой, еще надо и вас с Селиковым кормить. Есть такая штука — финансовый план.

Он еще вчера условился с Лубянским пойти вместе к Савчуку: без санкции директора фабрики нельзя было передавать на исполнение намеченную программу работ. Но Лубянского отыскать оказалось нелегко: он бегал к мельницам, уходил в мастерские, появлялся на минуту на площадке бункеров, уносился на водонапорные баки и в насосные. Везде говорили: «Только что был, минуты не прошло, как вышел». Лесков с Закатовым обошли все углы цеха, поднимались на верхние этажи и спускались в подвалы, но Лубянского нигде не обнаружили.

— Оперативный начальничек ваш Лубянский, — с досадой сказал Закатов и пояснил свою мысль стихами: — Природа-мать ему дала два мощных, два живых крыла. Слушайте, Александр Яковлевич, у меня ноги трясутся — такой кросс по пересеченной местности!

Лесков сдался: он тоже устал от блужданий по лестницам и мосткам.

— Ладно, посидим в диспетчерской. Должен же он туда явиться!

Диспетчерская была самым многолюдным уголком в измельчительном цеху. Сюда приходили рабочие, здесь отдыхали мастера, встречались начальники смен, толкались контролеры ОТК, забегали профсоюзные работники. В диспетчерской стояли диван и три стула, столик с коммутатором и щит. Щит тянулся вдоль всей стены. Специальная схема на нем изображала движение материалов, работу мельниц, остановку классификаторов — на щите погасали и вспыхивали лампочки, змеились светящиеся линии, изредка глухо рычали сирены. Стол диспетчерской покрывал темный бархат, пол устилали протертые до дыр ковры — проектировщики всегда обряжают диспетчерскую, как храм, исполненный благолепия и тишины; им кажется, что никто посторонний не посмеет приблизиться даже к дверям этого мозгового центра фабрики. Посторонних, точно, тут не было — все в цехе считали, что имеют к диспетчерской прямое отношение.

Диспетчер — высокая, краснощекая и круглолицая девушка в сиреневой крепдешиновой кофточке, заколотой золотой брошкой с рубином, — властно руководила цехом: одной рукой зажимала телефонную трубку, чтобы оттуда не исторгались голоса, кричала во вторую трубку, приставленную ко рту, а глазами и другой рукой приказывала окружающим ее стол посетителям: отойдите, тише, прекратите разговоры!

Лесков и Закатов встали у стены.

— Три слесаря, — кричала девушка. — Десять минут, опоздаете на минуту — рапорт! Все, положите трубку! — Она отняла руку от второй трубки, из нее вывалился густой бас: «Катя, сколько будешь тянуть? Вся секция остановилась!» — Григорий Алексеевич! — крикнула девушка. — Слесаря будут через полчаса, я приказала — десять минут. Ну, не управятся! Положите трубочку, пожалуйста! — Она обратилась к лысому измельчителю, сильнее других напиравшему на ее стол: — Чего тебе, Николай?

Тот пришел с жалобой. У него остановилась одна из мельниц — снова пустые бункера. Когда, дьяволы, научатся работать? Девушка нажала кнопку коммутатора и закричала в трубку:

— Евстафьев? Ни шестой секции мельница стоит, известно ли вам об этом? Даю две минуты на исправление, а повторится еще раз — рапорт Савчуку! Да, да, Симочка, рапорт! Нет, в кино не пойду, поведение ваше мне не нравится. Все, положи трубку, Сима! — Она подняла голову вверх: высоко над ними через полы и потолки пронесся грохот — руду ссыпали в пустой бункер. Девушка сказала измельчителю: — Айда, Николай, хватит закончить смену.

Николай выскочил из диспетчерской. Девушка занялась другими посетителями, снова кричала в трубку, всматриваясь в сигналы на щите, делала отметки в оперативном журнале. Закатов с восхищением прошептал Лескову:

— Потрясающая девчонка, не правда ли? Красивая, одета — хоть в театр, а распорядительность — умопомрачение! Не завидую ее мужу — за ней не угонишься, а лентяя рядом с собой она не потерпит. О чем вы думаете, Александр Яковлевич?

Лесков нехотя ответил, он все сводил к тому, что непрестанно заполняло ему голову:

— Подумаешь, удивительная оперативность — накричать на какого-то Евстафьева, подтолкнуть бригадира слесарей! А куда проще автомат вместо этой девушки и всех ее телефонов: без крика, без изящных кофточек... И в кино не нужно приглашать. Всей ее распорядительности за смену — на три минуты работы автомата.

Закатов пробормотал с осуждением:

— Вы, оказывается, женоненавистник. Не ожидал!

В диспетчерскую торопливо вошел Лубянский, в брезентовке, перепачканной углем и пульпой, в рукавицах. Он улыбнулся Лескову, пожал руку Закатову.

— Волка ноги кормят, а чем начальник цеха хуже волка? — пошутил он. — Простите, что заставил ждать, через минуту освобожусь. — Он подошел к диспетчеру. — Что нового, Катя?

— Пустяки, как всегда! — отозвалась она весело. — Савчук ругается, что на флотацию подаем мало материала, нам руды не хватает — пять мельниц стоят. Вас приглашают на открытое партсобрание, вот получайте бумажку — доклад Савчука о выполнении плана. Будут, конечно, прорабатывать измельчителей.

Лубянский с досадой сунул бумажку в карман и наклонился над столом.

— А после смены, Катя, как вечерок будет? — спросил он, понизив голос.

Она ответила так же громко и весело, словно не замечая, что он не хотел эту часть разговора делать общим достоянием:

— Сегодня вечер точно такой, какой и завтра будет, Георгий Семенович.

Он мельком взглянул в сторону Лескова и Закатова: слышно ли им?

— А завтра что, Катя?

— То же самое, что было вчера: ничего. И всю неделю это же. Поведение у вас неубедительное, товарищ начальник.

Лубянский хмуро пожал плечами и позвал Лескова. Девушка лукаво посмотрела им вслед. Лесков поинтересовался, что это за красавица, впервые вижу такую разодетую на производстве. Дурное настроение долго не держалось у Лубянского. Он уже улыбался.

— Местная наша знаменитость — Катюша Яковец Страх, как за ней увиваются! Но не рекомендую засматриваться: ухаживание за Катей похоже на реку в пустыне — питать ее нечем, она иссякает в песках. Лучше скажите, как ваши дела?

Они шли по коридору второго этажа, где помещалось управление фабрики. Коридор походил на улицу — по нему мог свободно проехать грузовик. И шумно в нем было, как на улице: спереди и сзади хлопали двери, у стенных газет толпились кучки громко разговаривающих читателей. В воздухе смешивались острые запахи флотореагентов и щей: коридор в конце раздваивался — направо вел в столовую, налево — в химическое отделение фабрики. Лесков рассказывал о последних лабораторных новостях. Склонный к философствованию, Лубянский находил в его планах подтверждение общих законов. Он и сейчас — за это короткое время, что они шли от диспетчерской до кабинета Савчука, — успел развить целую теорию, как добиваться успеха.

— Безгранична только пустота, все великие люди умеют себя ограничивать, — утверждал он с увлечением. — Так учил Гегель, так думал Гете, так писал Маяковский: «Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне». Самоограничение и концентрация сил на решающем участке — таково главное условие победы. Еще в древности высмеивали тех, кто растекался мыслью по древу. Тем более важен этот закон в технике. У нас, к сожалению, этого не понимают. В вузах твердят о диалектике, а в жизни предпочитают более привычную метафизику. И знаете, почему? Диалектика всегда оригинальна, она немыслима без нового — таково ее существо. А метафизика шаблонна. Шаблон, конечно, спокойней. Великий шаблон — вот символ веры наших заводских деляг и плановиков, этих особенно. Подождите, вы еще с ним столкнетесь!

Закатов с изумлением смотрел на возбужденного от остроты своих мыслей Лубянского. Закатов был широко образованным инженером, но он и не подозревал, что можно так обобщать простые производственные вопросы.

К Савчуку, как вечерами к Кабакову, входили, минуя секретаршу, — она даже не смотрела на посетителей. Самого Савчука часто не бывало, но кабинет всегда был заполнен народом — кто поджидал директора, кто писал за его столом, кто просто отдыхал, привалившись к спинке дивана. Бывали дни, когда Савчука выживали из его кабинета: там заседали смотровые комиссии, писали плакаты. Добродушный директор переезжал на время к главному инженеру или устраивался в центральной диспетчерской. Звонить по его аппарату считалось безнадежным делом: телефонистки отлично знали, что сам директор редко снимает трубку, вероятней всего, это посторонний — «дело не к спеху». Савчук только качал головой и посмеивался: «Ат, черти, знают, что ты звонишь, Василий Петрович! Ну и глаз у этих девок, по проводу видят!»

На этот раз Савчук был на месте. За вторым столом, торцом упиравшимся в его стол — это была обычная во всех кабинетах комбинация в форме буквы «Т», специально для совещаний, спорила группа людей, склонившихся над чертежом. Савчук указал на свободные стулья рядом с собой.

— Давайте сюда, автоматика! Очень хорошо, что явились. — Один из рассматривавших чертеж поднял голову и возмущенно уставился на директора. Савчук продолжал шепотом, опасливо косясь на стол — Тут у меня техническое совещание. Ну, мы тихонько.

Лубянский доложил:

— Опытная партия регуляторов смонтирована, результаты неплохие. Думаю, если остальные окажутся не хуже, дело у нас пойдет.

Савчук вздохнул.

— Плетется у нас дело, а не идет — за полгода четыре смонтированных регулятора.

Лесков подал директору график работ.

— Новый план монтажа и наладки, Павел Кириллович. С этого месяца наваливаемся на фабрику всем коллективом. Одно нас беспокоит: сумеете ли вы ежемесячно выплачивать тысяч двести — двести пятьдесят?

Савчук, надев очки, внимательно просматривал график. Один из споривших в сердцах ударил кулаком по столу. Савчук, оторвавшись от чтения, посоветовал:

— Зачем шум, товарищи, возьмите чертеж и уточните на месте.

Спорящие стали скатывать ватман и, громко препираясь, удалились из кабинета. Савчук, усмехаясь, покачал головой.

— О пустяке без ругани договориться не могут. Народ!

Он широким движением подписал график и протянул его Лескову.

— План ничего, невредный! — сказал он одобрительно. — Ну, а деньги — против работы. Сделаешь на двести тысяч — получишь двести тысяч. Так у нас, дорогой Александр Яковлевич.

Это было не совсем то, чего ожидал Лесков, но он не стал спорить. Савчук повернулся к Лубянскому.

— А с тобой, Георгий Семенович, разговор особый! Боюсь, всыплют тебе на партсобрании — Ясинская кое-что подготовила, — будешь вертеться, как карась на сковороде. План месяца пошатнулся, и, по всем данным, твоя вина.

Лубянский стал оправдываться. Он обвинял дробильное отделение, флотаторщиков, упомянул и работы по автоматизации.

— Оправдания твои — философия, — сказал Савчук с досадой. — Из самой лучшей философии металла не выплавишь. Ладно, скажешь об этом на собрании — дадут тебе ответ.

В коридоре Лубянский сказал с горечью: — Вот они, мастодонты наши, им на все наплевать, только бы план на полпроцента не пошатнулся. Что им до технических революций, до уничтожения ручного труда? И с такими людьми приходится работать! — Лицо Лубянского стало злым, он мстительно проговорил: — На этот раз, думаю, ошибутся — не так пройдет партсобрание, как наши вельможи планируют в своих директорских кабинетах.

Лесков подумал о том, что на фабрике проблемы автоматизации обсуждаются на открытых партийных собраниях, а на заводе даже секретарь партийной организации, техник по профессии, не пожелал ими заинтересоваться. Видимо, дело было в Савчуке: этот человек не похож на Крутилина. Пусть Лубянский и ругает его мастодонтом, все же Савчук чуток к новому. Лесков возразил Лубянскому:

— Знаете, я сравниваю медеплавильный завод и вашу фабрику. Различие огромное. Мне кажется, при всех трудностях вам здесь легче работать, чем пришлось бы там.

Лубянский покачал головой:

— Вам только кажется так, Александр Яковлевич. Косных работников и здесь хватает. И, что самое удивительное, молодежь, которой полагалось бы пылать задором, еще инертней наших стариков. Возьмите эту Ясинскую, с которой вы сегодня имели несчастье познакомиться. Она всегда такая, ей безразлично, что творится вокруг, лишь бы на ее маленьком участке не создавалось трудностей.

Лесков задумчиво сказал:

— Правильно, наши результаты ее не восхищают.

Лубянский заверил его:

— И не только результаты. Я вообще не знаю, что или кто ее восхищает. Как вы, вероятно, уже заметили, она довольно хорошенькая, хотя и уступает в этом Кате, но удивительно вредный человек! Вы еще познакомитесь с ней поближе, радости будет немного, поверьте!

Уже шло к вечеру, когда Лесков и Закатов выбрались с фабрики. Они возвращались старым путем — по склону горы. Оба были утомлены и мало разговаривали. Впечатлительный Закатов не мог преодолеть дурного настроения. Все пошло прахом, не этого он ожидал. Лесков вместо того, чтобы выступить против кустарщины Галана, вдруг нашел в ней техническое откровение. Закатов возмущался, вспоминая, на каких низменно-эгоистических соображениях основывались разработки Галана.

А Лесков думал о девушке, которую он увидел в цехе. Она стояла перед его глазами, в лице ее таился смех, она вся светилась. Нет, она хороша, что бы ни говорил о ней Лубянский, не удивительно, что Селиков за ней приударяет. Если бы Лесков знал, какие у них отношения с Лубянским, он держал бы себя иначе — вежливо, во всяком случае. Она, конечно, подумала: чего еще можно ожидать от друга Лубянского?

Закатов не вынес долгого молчания и снова заговорил о сопернике. Неужели Лесков не понимает, что нельзя помогать Галану? Лесков ответил сухо:

— Михаил Ефимович, условимся: мы с вами внедряем новую технику в производство. Нас интересуют результаты, а не имена авторов. Ваши электрические механизмы мы полностью не отставляем, а будем продолжать совершенствовать их.

Последнее Лесков добавил из дипломатии, чтоб не обидеть Закатова. Закатов обиделся. Больше они не разговаривали до самой лаборатории.

У ручейка, где сидели утром, они опять сделали остановку. Солнце склонялось, и ручеек превратился в речку, грудью прокладывающую себе путь сквозь лед и камни. Закатов, уставясь взглядом в пену и тающий снег, вдруг горько проговорил стихами:

— И некому здесь надоумить ее, что в руки взяла она сердце мое!

Лесков закрыл глаза, и на веках у него, как на пропускающем фильтре, засветилась радужная точка. Звонкие, хватающие за душу голоса и цвета бурной северной весны снова завладели им. Хорошее настроение, утраченное на фабрике, вернулось и стало более прочным. Он вспомнил, как шел по этой дороге несколько часов назад и как все в нем трепетало от нетерпеливого ожидания счастья, которое вот-вот придет. А сейчас он чувствовал себя так, словно оно уже наступило и бесконечно продолжается в нем и вокруг него. Нет, он путается в трех соснах. Ничего не случилось. На дворе весна — обыкновенная весна, таких уже были миллионы. А в цехе регуляторы его лаборатории, они работают плохо. Он разговаривал с директором фабрики, тот не дал крайне нужных денег — отговорился. И с Закатовым, его помощником, начались нелады. Вот, кажется, все. Поводов для ликования маловато. Да, была еще девушка, эта Надя. Ну, и что же? Девушка как девушка. Что он ей и что она ему?

20

Бадигин, облокотясь о перила конвертерной площадки, рассматривал плавильный цех. Он любил это место, часто бывал здесь, когда начальствовал над конвертерами, не забывал его и сейчас. Отсюда открывалось все обширное помещение цеха — огромная отражательная печь, вытянувшиеся в ряд конвертеры; багровое дымное пламя клокотало в их горловинах, пронзительно свистел воздух в фурмах. Один из конвертеров закончил операцию, его выворачивали. Сперва ослепительно брызнули искры металла, заливая чугунный пол, потом выключили воздух — сразу стало тише, и мрачное красное сияние озарило все углы — в подставленный ковш с тяжелым грохотом ринулась струя металла. Около Бадигина остановился формовщик с ломиком в руках, он улыбался и тяжело дышал, на темной его брезентовке виднелись белые полосы — соль от пота.

— Любуешься, Борис Леонтьевич? — прокричал он, наклоняясь к уху Бадигина. — Тянет на старое дело?

Бадигин только кивнул, громовой рев воздуха в фурмах заглушал его несильный голос. Подавая руку рабочему, Бадигин показал на конвертер и прочертил в воздухе крючок, понятный ему и фурмовщику. Тот сконфуженно повел плечами.

— Немного есть! — крикнул он. — Три фурмы залило, воздух не поступает. Тяжело операция проходит — упустили!

Он отошел вручную пробивать своим ломиком фурмы — трубы, по которым подавался воздух в конвертер, а Бадигин снова повернулся в сторону отражательной печи. Он рассматривал ее, словно в первый раз увидел, размышлял над нею. В печи клокотал расплав, свистело пламя, извергаемое форсунками, у окон возились печевые, горновые разделывали летку — все это была обычная, давно известная картина, тысячи раз ее изучал Бадигин во всех деталях. Сейчас она казалась новой и неожиданной.

Хоть Бадигин ничем этого не показал, его больно уязвило грубое поучение Лескова: тот не постеснялся, он знал, что возражать ему нечего. Бадигин с неприязнью вспоминал резкий тон Лескова, его злое и красивое, какое-то высокомерное лицо — так обычно держат себя болтуны, жонглирующие высокими фразами, уверенные, что их не одернут. Но чем больше отдалялась эта неприятная встреча, тем полнее забывался тон, оставались мысли и претензии — Бадигин с невольным удивлением признавался себе, что и мысли Лескова серьезны и претензии основательны. Точно, они в своей работе теряются в мелочах, а он, Лесков, ничего не поделаешь, он видит шире, хватает дальше.

«Как же это получилось?» — допрашивал себя Бадигин с пристрастием. На это он тоже находил ответ. Лесков объявил автоматику технической базой коммунизма, нового в этом не было ничего, обычная, каждому известная формула. Новое было в том, что Лесков увидел реальные черты коммунизма вот в этом дымном, загазованном, гремящем цеху, в труде этих рабочих, одетых в жесткие от пота брезентовки. Бадигин усмехался, качал головой: странное понимание коммунизма, обычно его представляют себе по-иному. И он, Бадигин, видел его иным — огромные, светлые помещения, прозрачный воздух, везде блеск и чистота, рабочие в халатах, словно лаборанты... Что ж, это правильно, такими и будут заводы грядущего. Но где тот мост, который перекинется к этим сияющим заводам от нынешних дымных цехов? Когда совершится этот переход от настоящего в грядущее? Об этом он, Бадигин, никогда не думал. Как-нибудь совершится, построят что-нибудь новое и невиданное, это и будет переход, а там скачком, сразу во всем великолепии появится это желанное грядущее. А Лесков грубо кинул ему в лицо: «Слепцы! Переход совершается уже сейчас, он в ваших цехах, вы творите его, не ведая, что творите. Освободите ваших рабочих от тяжкого труда, сделайте работу их легкой, умной и радостной, это в ваших силах, это совсем просто! Вот вам первый настоящий шаг к коммунизму!» Бадигин пристально вглядывался в печь — на ее площадке стояла закрытая щитовая, там были сконцентрированы приборы управления, десятиметровые щиты с электронными регуляторами тянулись вдоль всей стены. Все это было запылено, запущено, не работало: обычные капризы тонких механизмов, болезни освоения. Так думал он раньше. Нет, не только болезни освоения, не только аварии с механизмами — первый блин выходил комом, хромали на первом шагу. Прав Лесков, прав.

Бадигин спустился с конвертерной площадки, пересек цех. Линия гремящих, огнедышащих конвертеров была теперь перед ним. Конвертерщики стояли у пультов управления, фурмовщики орудовали своими ломиками. Так немного еще осталось — вручить ломик автомату, перенести конвертерщика в закрытую кабину с телевизором, с кнопками управления. Каким умным и легким станет труд человека! И пусть даже этот цех останется таким же, те же стальные чудовища будут реветь в нем, изрытая пламя и дым, самое важное — человеческий труд станет иным, это и будет скачок в будущее, само оно, будущее, проросшее в настоящем.

Бадигин, задумавшись, шел по территории завода, рассеянно отвечая на поклоны. Он не заглянул в свой кабинет — двери его были раскрыты, там сидели какие-то люди — и прямо направился к Крутилину. Крутилин сердито черкал карандашом представленный ему на утверждение график ремонта оборудования — механики беспокоились только о своем беззаботном существовании, они плохо учитывали интересы технологов. Крутилин не терпел, когда ущемляли технологов.

— С чем ты? — коротко бросил он Бадигину. Бадигин сел на диван, вытянул ноги — он устал после долгого стояния у агрегатов.

— Был у меня Лесков, — сказал он. Крутилин повернул к нему удивленное лицо.

— Этот прохвост? Когда же он опять появился на заводе? Вроде Жариковский не докладывал.

— Да нет, он больше не приходил, — успокоил Крутилина Бадигин. — Я имею в виду тот случай — от тебя он зашел ко мне. — Бадигин помолчал и сказал рассудительно: — А вообще он, конечно, не прохвост, Тимофей Петрович, зачем ты так?..

Крутилин ворчливо отозвался:

— Ладно, пусть не прохвост! Ты ведь такой — защитник человеков! Но тебе скажу от души: много видал на своем веку неприятных людей, но более неприятного, чем твой Лесков, встречать еще не приходилось.

— Человек он колючий и резкий, — согласился Бадигин, — в выражениях не церемонится.

Крутилин подписал график и отодвинул его от себя.

— Так о чем тебе пел Лесков? Наверное, автоматы на отражательной печи?

— В первую голову, конечно, они. А вообще — перспективы автоматизации на нашем заводе.

Крутилин с угрюмой насмешкой покосился на него.

— Стало быть, он убедил тебя, что эти его неработающие автоматы — пуп земли? Не будет от них толку, запомни мое слово.

— Труд печевого они облегчают, — возразил Бадигин. Крутилин нахмурился.

— Облегчают? Кто это тебе сказал? Усложняют — вот истинная правда! Раньше мастер только за печью следил, теперь придется и за автоматами наблюдать. Разума у этой машины немного: что приказали, то и делает, — а условия каждый час меняются — представляешь, если полностью им довериться?.. Авария за аварией!

— Нужно все-таки, чтоб они заработали, — твердо сказал Бадигин. — Наладить их нужно и посмотреть, как к ним приспособиться.

— Против этого не возражаю, Борис Леонтьевич. Я, между прочим, так и сказал Лескову: налаживай поскорее свою хреномудрию. — Крутилин снова с насмешкой поглядел на Бадигина. — А поскольку ты берешь новую технику под свою высокую руку, придется и мне ею заняться. Сам буду принимать, что его молодчики намонтируют. Как думаешь, понравится ему это?

Бадигин промолчал. Крутилин продолжал:

— А насчет перспектив что надумал?

Бадигин объяснил: дело не в одной отражательной печи, имеются на заводе и другие важные агрегаты — конвертеры, электролизные ванны, очистные чаны. Везде с механизацией сочетается ручной труд. Нужно подумать, как и на этих участках передать механизму функции рабочего.

Крутилин не согласился с ним:

— Ручной труд, говоришь? Не видел ты ручного труда! У меня спроси, я тебе растолкую, я помню старые заводы. Да у нас кругом машины, человек только командует ими. По-твоему, включать и выключать ток на ваннах или кран вести — тяжелый физический труд?

— Пусть не тяжелый, а все-таки ручной, — возразил Бадигин.

— Ладно, созывай на заводе техническую конференцию, — решил Крутилин. — Для общей пропаганды, может, и не помешает. Все у тебя? Обедать домой не поедешь? Могу подбросить на машине.

Сидя в машине около шофера — Крутилин признавал только переднее сиденье, — он обернулся к Бадигину и сказал угрюмо:

— Думаю я о Лескове и о тебе и вижу: отсталые и неопытные вы люди, хоть фразы у вас и хорошие. Не понимаете, чем по-настоящему болеет производство и что ему требуется.

Бадигин рассмеялся, он видел, что Крутилин задет по-серьезному. Тот продолжал, все более сердясь:

— Регуляторы эти, в конце концов, мелочь, кусочничество! Максимум их возможностей при идеальной работе, в которую я не верю, — грошовая экономия. А у нас из-за несовершенства технологического процесса тысячи тонн ценнейшего металла выливаются в отвал. Вот на что надо обратить внимание, вот где надо трудить мозги.

— Одно другому не мешает, я не против усовершенствования технологии, — заметил Бадигин. И дело не в голой экономике. Автоматика важна не сама по себе, важны ее результаты — труд рабочего она все-таки облегчает, вот что в ней дорого.

Крутилин не слушал его, он думал о своем.

— Знаешь, когда она будет на месте? Лет через сто. Создадут новые, невиданные и неслыханные заводы, чтоб человек в цеха даже не заходил, — там, точно, ей простор.

— И против этого нет возражений, давай создавать такие заводы.

Крутилин уверенно предсказал:

— На наш с тобой век и теперешних заводов хватит. Помнишь, как в министерском приказе о нас упомянули: «Мощные современные предприятия на Крайнем Севере»? Современные — это понимать надо!

21

Шишкин радовался и горевал одновременно. Перед ним лежали два листика: заключение Галана и письмо жены, Людмилы Павловны, из Сочи. Галан выполнил свое обещание: сам написал предложение от имени Шишкина, сам его разобрал и одобрил, сделал расчет и порекомендовал выдать премию. Премии Шишкин изредка получал, но такой крупной еще не выпадало, а главное, она уж очень хорошо называлась: «Законный процент от годовой экономии за рационализацию».

— Го-го! — загрохотал Шишкин, разобравшись в заключении. — Умственные денежки, не простые. Мозгами заработаны — рационализация!

Он не переставал удивляться, вспоминая, как выгонял своих пьяниц. Сколько пришлось вытерпеть! По-человечески уговаривал трех взрослых бездельников взяться за ум — нет, ничего не получалось. А потом терпение его лопнуло. Чего греха таить, до того дошло, что мать нехорошим словом поминал. Но вот оказывается, все это была не ругань, а рационализация, нечто тонкое и умственное. «Здорово, черт побери! — ликовал Шишкин. — В стенгазету бы об этом: пусть знают наших лучших рационализаторов!»

Но радость его поблекла, когда он взялся за письмо жены. Он морщился и поеживался, сразу потеряв свой спесивый вид. Так всегда бывало: когда появлялась Людмила Павловна, грузный Шишкин стушевывался перед ее тщедушной фигуркой. Местные краснобаи острили: «Шишкин до того скуп, что даже с женой не спит: бережет на черный день». Но Шишкин берег только дефицитные товары, а у маленькой его жены был такой характер, которого хватило бы и на трех мужей. Она любила наряды, ухаживания мужчин и так была поглощена бурным ничегонеделанием, что у нее не оставалось времени на хозяйство. Шишкин дома сам мыл полы, стирал белье, варил обед и ухаживал за маленьким сыном Сашей, пока Людмила. Павловна ходила в кино или простаивала в очереди в ателье. Месяц назад она прокляла Черный Бор и умчалась с Сашей на Кавказ, с дороги уведомив мужа, что больше к нему не вернется: хватит, довольно он над нею поиздевался. В суд на развод пока не подает, но требует, чтоб он обеспечил ей с сыном элементарные блага жизни, о большем она не мечтает, зная его безграничную скупость. Шишкин погоревал над письмом, по слабости показал его кое-кому из друзей и решил переводить жене две трети зарплаты. Он понимал, что этого ей не хватит: Сочи не Черный Бор, там все влетает в копеечку, — но, как ни старался, не мог больше ужаться в собственных потребностях. Недавно он отменил столовую и полностью перешел на сухоядение. Он многого ожидал от этой решительной меры, но расходы почему-то даже возросли, а не уменьшились.

В очередном своем письме Людмила Павловна сообщала супругу, что видела во сне Мегеру Михайловну из гостиницы. Мегера пришла к ним в гости и флиртовала с Шишкиным. Она, Людмила Павловна, конечно, плюет на все это, но если Мегера повстречается, она, не колеблясь, выцарапает ей глаза. Вообще ей даже думать не хочется о всяких мегерах, тем более, что за ней сейчас ухаживают гвардии полковник Епифанов и главный инженер строительства Жуков. Они на коленях молят ее выйти за них замуж (она упоминает об этих мелких происшествиях исключительно для того, чтобы показать, насколько иные люди благороднее, чем Шишкин).

В связи со всеми этими обстоятельствами Людмила Павловна требовала внеочередные восемьсот рублей.

— Да-а! — озадаченно прогудел Шишкин. — Далась ей эта проклятая Мегера!

Самое неприятное в письме было, конечно, требование денег. На сберкнижке у Шишкина оставалось сорок рублей, до зарплаты было далеко. Можно, правда, призанять у приятелей, только это еще хуже: придется возвращать в получку, когда он и без того пересылал Людмиле Павловне очередной взнос. Тут Шишкин вспомнил о заключении Галана и повеселел. Вот они, желанные денежки, их не сеют, не жнут, — сами даются. Конечно, заключение эксперта еще не бухгалтерская ведомость: нужно бумаге обрасти резолюциями, подписями и ссылками на параграфы. Но это уже формалистика. Галан у них там ходит в китах. Кто полезет с ним спорить? Во всяком случае, под такую солидную основу вполне возможно попросить вперед часть зарплаты.

Шишкин отправился к Крутилину.

У директора завода шло совещание. Шишкин попал к месту: обсуждались текущие заводские дела. Когда до него дошла очередь, он обрушился на электриков и механиков: прекратится ли наконец это безобразие: тонны ценнейших материалов расходуются без всяких норм, скоро все стены опояшут кабелем и трубами! Ему сердито возражали, он яростно огрызался. За всеми этими волнениями Шишкин забыл о цели прихода. Собравшиеся повалили после совещания к двери, и Шишкин вышел со всеми. Только в коридоре он вспомнил о письме Людмилы Павловны и, чертыхнувшись, поспешил назад.

Ну, что еще? — спросил Крутилин. — Вроде все разобрали.

Шишкин оробел. Когда речь заходила о личных делах, он терял свою напористость.

— Да так, — промямлил он, — происшествие у меня удивительное.

Крутилин понимающе усмехнулся.

— Людмила Павловна письмо прислала? Очередное поражение на семейном фронте?

После такого начала Шишкин не мог признаться, что дело, точно, в письме.

— Да нет, Тимофей Петрович, я о другом... В рационализаторы записываюсь.

Крутилин посмотрел на него с удивлением.

— В рационализаторы? Это как надо понимать? Придумал способ, как вести производство без траты материалов, чтобы не расходовать дефицитных товаров?

— Ты все шутишь, Тимофей Петрович. А я, между прочим, серьезно.

Он протянул Крутилину заключение Галана. Крутилин рассмеялся.

— Лукавец он, твой Галан. А ты глуп, если веришь таким экспертам.

— Что же, я предложения не могу внести? — обиженно спросил Шишкин. — Работа у меня, конечно, материальная, а мозгами и я, как все, могу пораскинуть.

— Хорошо, раскидывай. Только премии тебе за это не дадут, в этом уверен. Еще что есть? Выкладывай!

Шишкин вздохнул, не решаясь сразу все выложить.

— Дай распоряжение бухгалтерии, Тимофей Петрович, чтобы зарплату мне вперед выдали.

Крутилин кивнул.

— Значит, все-таки Людмила Павловна? Сколько же она просит на этот раз?

— Восемьсот рублей, — признался Шишкин, опуская голову.

— Аппетит у нее! Смотри, Федор, не укоротишь ее, в растраты придется удариться. От души советую: дай ей по рукам!

Шишкин молчал. Крутилин подошел к сейфу и вынул из него несколько сотенных бумажек.

— Никаких распоряжений в бухгалтерию не дам. Вот тебе мои собственные восемьсот. Отдашь, когда возьмешься за ум. Ладно, ладно, не благодари!

Шишкин, оживившись, схватил деньги. Выйдя от Крутилина, он тут же, в коридоре, перечитал заключение Галана и пробормотал в недоумении:

— Чего он здесь неладного нашел? Прямо же написано: «Законный процент...».

22

У Лескова появился новый приятель — худощавый, сумрачный Павлов, местный проектировщик, кандидат технических наук. Этот человек пришел как-то вечером в гостиницу и спросил Лубянского. Лесков сидел один: Лубянский проводил совещание на фабрике.

— Может, что передать Лубянскому? — спросил Лесков. — Простите, как ваша фамилия?

— Павлов, — ответил посетитель. — Николай Николаевич. Да нет, передавать ничего не надо, просто хотелось проведать.

Он стоял посреди комнаты, всматриваясь в Лескова близорукими сосредоточенными глазами. Лескову показалось, что Павлов, глядит сквозь него на что-то, что не имеет никакого отношения ни к Лескову, ни к Лубянскому, ни к самому Павлову. Выйдя в коридор, он, вероятно, так же задумчиво и настойчиво уставится в пустую стену и молча будет стоять перед ней, пока его что-нибудь не отвлечет. Лесков часто встречал похожих на Павлова людей, они были не хуже других, все же ему показалось смешной отрешенность Павлова. Лесков предложил, улыбаясь.

— Вы посидите немного.

Павлов встрепенулся.

— Да, конечно... Посидеть можно.

Он повесил на вешалку пальто и присел на койку Лубянского. Только тут он осведомился:

— Я вам не помешаю? Вы не работаете?

— Нет, что вы! — уверил его Лесков. — Я отдыхаю.

Ему показалось, что он с Павловым знаком давно. Это был человек, характер которого определяется с первого взгляда. Павлов был именно таков, каким казался. Он шел по жизни, натыкаясь на людей, как на предметы. В нем уже много лет пылала неугасимым огнем одна идея, он жил только ею, только ради нее, не отвлекаясь ни на что иное. Даже разговаривая с другими, вежливо кивая головой и поддакивая, он не переставал думать о своем. Иногда он отвечал невпопад. Его многие считали бестолковым, хотя он был всего лишь сосредоточенным. Женщины дружно его не терпели; он опасался и сторонился их.

Лескову он сказал после взаимных расспросов о том, кто чем занимается:

— Вы, значит, разрабатываете автоматку? Это хорошо. Но этого недостаточно. Если вы автоматизируете малоэффективный процесс, то проку от этого грош. Представьте себе, что создана совершенная автоматика для толчения воды в ступе — машинами вместо человека. Толченая вода все-таки не лучше обычной. Не автоматизировать нужно наши современные агрегаты и процессы, а выбрасывать их, как старье.

Лесков возразил, уязвленный:

— Нас совершенно не касается, какие у вас процессы — отсталые или передовые. Мы приходим и видим, что все держится на тяжком человеческом труде. Это непорядок. Мы убираем человека и ставим взамен него автомат — регулятор, командное устройство или реле. И все в порядке.

Павлов утвердительно кивал головой; со стороны могло показаться, что он согласен с Лесковым. Но сказал он совсем другое:

— И выходит, автоматика ваша никуда не годится, если не дополнить ее революцией в технологии.

Лубянский, возвратясь, застал странный спор. Каждый говорил о своем, не слушая аргументов противника и не опровергая их. Пока один высказывался, другой обдумывал, как развить дальше свою мысль. Лубянский дружески предложил перейти от технических проблем к чаю. Павлов ушел далеко за полночь. Лубянский спросил:

— Как вам понравился Павлов? Правда, занятная фигура? В укрупненных дозах он невыносим, умрешь от скуки.

— Нет, что вы! — искренне удивился Лесков. — С Павловым не скучно. У него мысли. И сам он очень приятен.

Павлову, видимо тоже понравился Лесков. Павлов теперь стал частым посетителем гостиницы. Он приходил, спрашивал: «Можно?» и садился на стул или койку, в течение всего вечера уже не меняя места. Чаще всего он молчал, а если говорил, то лишь о своей идее революционного переворота в современной металлургии. Временами они часами сидели с Лесковым, изредка перекидываясь словами, не скучая и не тяготясь. После такого молчаливого вечера Павлов брел к себе домой в другой конец города с ощущением, что время проведено очень неплохо.

При Лубянском этот распорядок менялся. Лубянский не терпел молчания. Оно казалось ему пустым. Если Лубянский сам не говорил, он заставлял говорить других. Он умел не только красноречиво высказываться, но и великолепно слушать. В его присутствии все обретали дар речи.

Лескову он как-то сказал:

— Слушайте, Александр Яковлевич, это нехорошо. Вы знаете о нас все, мы о вас — ничего. Выкладывайте, за какие прегрешения вас выдворили в Черный Бор.

Лесков рассказал о спорах в проектной конторе.

Лубянский удивленно пожал плечами.

— Значит, ваш Пустыхин ругал автоматику, потому что она мода? А почему такая нелюбовь к моде? Ей-богу, ваш противник лишен способности мыслить широко. Нужно только философски поставить вопрос: что такое мода? Ответ явится немедленно: мода — это нечто новое, свежее, всеобщее и обязательное. Что же в этом плохого?

— Все дело в том, какая мода, — пробормотал Павлов.

— Да, конечно, — подхватил Лубянский. — Важно содержание. Но что может быть лучше по содержанию, чем это — освобождать людей от тяжелого физического труда?

Он закончил поучительно:

— Модобоязнь в наше время не оригинальность, а косность. Если появилась мода на хорошее и ценное, так побольше бы таких мод!

С этим все согласились. Лубянский продолжал:

— А почему у вас плохое настроение, когда вы получаете письма? Я заметил по адресу на конверте: пишет женщина. Вы мрачнеете дня на два после каждого письма. Надеюсь, к вашим неудачным спорам по автоматике письма отношения не имеют?

— Это сестра, — пояснил Лесков. — Она скучает без меня.

— И вы сочувствуете ей? — одобрительно проговорил Лубянский. — Ничего не скажу, хороший брат.

Лесков покачал головой. Нет, дело, скорее, в том, что он плохой брат, зато Юлька — хорошая сестра. Она сумасшедшая. У нее сейчас появился нелепый план: летний месячный отпуск провести не в Крыму, а на севере, с ним, в Черном Бору. Вместо того, чтобы отдохнуть и подлечиться, она собирается потратить время на него, на уход за ним, на жизнь с ним в этом отвратительном климате. И где он поселит ее, если придется согласиться с ее глупым решением?

— Это не затруднение! — великодушно сказал Лубянский. — Здесь и поселите, в этой комнате: я на месяц переберусь куда-нибудь к знакомым. Вовсе не нелепый и не глупый план, а самый правильный. Заочно одобряю вашу сестру.

Павлов с грустью обвел глазами тесный номер. Он уже успел свыкнуться с тем, что раза три в неделю приходит сюда в гости, ему было бы трудно обойтись без двух приятелей. Павлов нерешительно заметил, что в Крыму все же лучше, чем в Заполярье, особенно летом: тут ледяные дожди и сырые ветры. Но его никто не слушал. Лесков с благодарностью сказал Лубянскому:

— Если вы на время переедете, я напишу, чтоб она приезжала. По-честному, только эта комнатная проблема меня беспокоила. Я ведь тоже очень хочу видеть ее, мою Юльку.

23

Лесков написал сестре короткое письмо, у него не было времени подробно расписывать. Работа, огромная, черная, радостная работа навалилась на плечи Лескова, пылала в его душе. Еще никогда он с таким увлечением не трудился. Две противоречивые линии современного технического развития удивительно сплетались и дополняли одна другую в его работе. На медеплавильном заводе он освобождал людей от тяжкого физического труда, делал труд их легким и радостным: век механизации наступил и на этом дедовском участке металлургии. А на обогатительной фабрике он отделял машину от человека — механизация превращалась в автоматизацию.

— Плевать нам на все великие шаблоны, которыми грозил Лубянский! — ликуя, говорил Лесков Закатову. — Ничто теперь не сведет нас с пути.

Но вскоре на Лескова с разных сторон стали обрушиваться тяжкие удары. Первый из них нанес Крутилин. Триста рублей взысканного штрафа карман директора не опустошили, но душу его опалили. Заступничество Бадигина, казалось, еще больше разозлило Крутилина. Не было совещания, где бы он не поминал недобрым словом лабораторию. В частных беседах он иначе и не называл Лескова, как «сопляк», «бездельник». Лесков не принимал этих слов за большую обиду и не только потому, что брань на вороту не висела: слишком уж мелка была породившая их причина. Однако за бранными словами Крутилина стояли дела: он не подписал счета за наладку регуляторов.

Наладка приборов — это область техники, где она соприкасается с искусством. Здесь все зависит от мастерства самого наладчика, и очень нелегко, пока приборы не заработали, судить, сколько осталось до завершения. Щукин проставил процент выполненных работ весьма условно и сам отправился на завод, чтоб обосновать расчеты. Но Крутилин не хуже Щукина разбирался в сметах, он в каждой процентовке легко находил слабые места. И он полностью выполнил то, чем грозил Бадигину, — взял под свой личный контроль работу лаборатории.

— Сорок пять процентов сметы выполнено? — сказал он насмешливо. — А по-моему, только пять. Ни копейки не заплачу, товарищ Щукин, пока все автоматы не заработают. Вот так, старина. Будь здоров пока!

Щукин горестно сказал Лескову:

— Не следовало вам ссориться с этим типом, Александр Яковлевич! Формально мы ничего доказать не сможем.

Лесков гневно возразил:

— Не бойтесь, и на Крутилина управа найдется. Этого мало, что он формально прав!

Лесков кинулся к Кабакову. Он поймал директора на лестнице — Кабаков ехал обедать. Лесков знал, как не просто пробиться к Кабакову на прием. Он атаковал его тут же, на ступеньках. Кабаков слушал его с неудовольствием. Он хмуро ответил: с такими претензиями нужно идти к плановикам, у директора комбината десятки тысяч человек в цехах, ему трудно судить, как сработал тот или иной наладчик.

Лесков запальчиво крикнул:

— Не в планировании дело, а в Крутилине! Этот бонза плюет на все незавершенки, ему только подавай готовое.

— Прежде всего, товарищ Лесков, никаких бонз! — холодно возразил Кабаков. — Крутилин строил заводы для страны, когда ты еще в детский сад ходил, — уважать надо! А если в чем он ошибся, другой метод есть, тоже без бонз, — производственное совещание, парторганизация. Это тебе на будущее, товарищ Лесков. А что до незавершенок, так столько хаоса с этими процентовками, что и святого допечет. В общем, об этом деле надо разговаривать с нормировщиками и плановиками, а не со мной.

Кабаков уехал. Лесков возвратился к себе раздосадованный. Щукин подсчитал выполнение за месяц, цифра получилась убийственная — 78 процентов. Но Лесков не впал в отчаяние. Ущерб, нанесенный ему Крутилиным, он, если бы и захотел, не сумел бы перекрыть срочным выполнением мелких заказов. Тем более не следовало отказываться от «концентрации сил». Лесков обнаружил, по мнению Щукина, «редкое непонимание специфики». Он повторил, что его интересуют не цифры, а материальные результаты. С результатами пока хорошо. Придет время, будут желаемые цифры. Ждать всего месяц, до следующего отчета у него терпения хватит.

— Ждите, ждите, — сказал Щукин, пожимая плечами. — Ждать придется меньше месяца.

Они в самом деле пришли скоро, эти результаты: с красной городской доски почета — «Лучшие цеха нашего комбината» — было стерто название лаборатории и аккуратно вписано на соседнюю черную доску — «Отстающие предприятия». На хозяйственном активе Лескова помянули среди тех, кто не справляется с работой; в местной газете появилась хлесткая статейка «Плоды зазнайства и неумения руководить». Даже клубная самодеятельность «прорабатывала» несчастную лабораторию в тягучих, как тесто, частушках. А завком профсоюза сообщил, что уменьшает лаборантам число путевок в санатории и дома отдыха как отстающему отряду тружеников комбината.

Потом Лескова вызвали для объяснений в плановый отдел. Он шел с тяжелым сердцем: о плановике Двоеглазове все отзывались как о черством и упрямом формалисте. «Ничего, утешал себя Лесков. — И плановики — люди, нужно только с ними обходиться, как с людьми». Он и начал так свой разговор — по-человечески:

— Прошу вас, Даниил Семенович, спокойно выслушать, как все получилось.

Двоеглазов не проявил особого интереса, махнул рукой и категорически постановил:

— Обыкновенная история, товарищ Лесков, тысячу раз слышал. Для начала простим — по неопытности вашей. А в следующий месяц спуску не ждите.

Лесков не удержался от горького замечания:

— Боюсь, вам показуха нужна, а не работа. Я же вам все основания объясняю, почему...

— Не показуха, а показатели! — невозмутимо прервал Двоеглазов, обратив на него сильные, как лупа, очки. — Придется подтянуться, товарищ Лесков, с показателями у вас неважно. А насчет оснований — тоже не ново. Хозяйственники, если их послушать, проваливают программу только на самых убедительных основаниях.

Как ни злился Лесков, он должен был признаться, что не одна формалистика была в этом рассуждении — имелась тут и правда. Забыв, что еще недавно в нем бушевало весеннее настроение, Лесков перенес самую трудную первую неделю. Вал хлынул через него — он устоял на ногах. Но дальше стало не лучше, а хуже. Снова пришел Щукин и доказал, что и в наступающем месяце они не окончат регуляторов на медеплавильном заводе. Крутилин, конечно, опять не оплатит незаконченные работы.

— Что вы советуете, Юлиан Борисович? — помолчав, спросил Лесков.

Щукин, отечный старик с седой бородкой и умными глазами, понимал мучения своего начальника и даже сочувствовал его борьбе. Но многолетний опыт подсказывал ему, что борьба эта безнадежна. Он проговорил после некоторого колебания:

— Я уже рекомендовал: отказаться от сосредоточения сил на двух участках. Нужно вести много работ с таким расчетом, чтоб в одном месяце кончалась одна, в другом — другая. Только так добьемся требуемой гибкости в планировании.

Это было то самое, что все делали, — хваленое искусство настоящего хозяйственника. Но Лесков не мог пойти на это. К чертовой матери гибкость в планировании! Хорошо, он согласен несколько сократить объем работ на медеплавильном, раз в этом месяце они не могут там все завершить. Но освободившиеся рабочие руки он бросит на ускорение монтажа на обогатительной фабрике. Как смотрит Юлиан Борисович на такое решение?

— Думаю, через месяц вас снимут с должности за систематическое невыполнение производственных планов, — честно ответил Щукин.

На это Лесков возразил с горячей уверенностью:

— Помяните мое слово, Юлиан Борисович, через месяц не меня снимут с работы, а сократят классификаторщиков и пробоотборщиц, ибо они станут не нужны рядом с нашими автоматами.

24

Лесков, возвратившись с фабрики, позвонил Галану и предложил помощь — переконструировать дифманометр. Галан сразу ответа не дал. Если бы Лескову рассказали, в чем причина колебания Галана, он не поверил бы или возмутился, до того эта причина была чужда всему, чем жил Лесков и его помощники. Когда Закатов обвинял Галана в чем-либо подобном, Лесков морщился — обвинения казались пристрастными. Сам Галан опасался раскрывать свои мысли даже таким близким людям, как жена: у нее он тоже не нашел бы сочувствия. Он хитрил с самим собою, с ней вовсе нельзя было откровенничать. Галан хорошо знал, что окружающие именно потому относятся к нему с недоброжелательством, что подозревают в жадности и равнодушии к делу, если оно не несет в себе личных выгод — нужно было поневоле сдерживаться.

Чем больше Галан вдумывался в предложение Лескова, тем меньше оно ему нравилось. Дело было не только в признании неудачного решения важного узла, хотя и к этому Галан был чувствителен. Он поеживался, представляя, как зашепчутся по углам: «Галан-то, изобретатель, глупость наконструировал!» А жена, Анюта, наверное, крикнет с гневом: «Что это, Александр Ипполитович, про тебя рассказывают — просто слушать не могу!» Помощь Лескова наносила Галану существенный материальный ущерб. Приделанный к заводскому механизму новый прибор был единственным оригинальным элементом всей схемы регулирования. А что останется его, галановского, после того, как конструкторское бюро сотрет остатки его мысли и заменит их общеизвестными деталями? Любое старье, лишь бы не твое, — таков их принцип, он этот народ хорошо изучил. И изобретения не выйдет. За ним останется техническое усовершенствование, приборы, выпускаемые для измерения больших давлений, предложил использовать на давлениях малых. А за усовершенствование платят вдвое меньше, чем за изобретение. Дело крупное, тут речь идет о миллионах рублей экономии, премия в случае удачи будет не меньше шестидесяти тысяч: аккуратный Галан все заранее высчитал. Потеря тридцати тысяч рублей — вот что означало предложение Лескова. Помощь обходилась дороже, чем драка.

Действовать, однако, требовалось с умом. Сохранить Лескова в друзьях, раз уж он набивается с дружбой, и увернуться от его опасной помощи — так складывалась эта нелегкая задача. И мало-помалу в голове Галана начал возникать хитрый план.

«Ежели Лесков пустит в ход мои приборы — размышлял Галан, — значит, закатовской электрике крышка. Чую, чую, Михаил Ефимович, не нравится это тебе, ой, как не нравится!»

Томимый сомнениями, Галан бродил по фабрике, наблюдая работу электрических регуляторов. И сомнения его рассеивались, на душе становилось легче. Он был опытным автоматчиком, он видел то, чего другие не замечали, пока оно не било их по лбу. Электрические регуляторы были ненадежны. Пока на площадке ходили люди, беды быть не могло — классификаторщик при непорядке грозил с помоста измельчителю, и тот бежал регулировать мельницу. Но без этого спасительного человека регуляторы задурят, в этом Галан не сомневался... Теперь он видел неожиданные пути к победе. Вовсе не нужно устанавливать свои приборы раньше Закатовских, что он торопился сделать еще недавно. Пусть Закатов лезет вперед — позорится. «А когда ты сядешь с головой в это самое... — со злорадством думал Галан, — мы продемонстрируем, что такое хорошо и что такое плохо».

К Лескову Галан не пошел: тот слишком прям, с таким трудно хитрить. А между тем до зарезу требовалось разузнать, как далеко зашло в лаборатории дело. Можно было, конечно, прямо спросить у Анюты, не начала ли она разработку новых приборов. Но здесь начиналась опасная область. Галан забросил осторожный намек и тут же раскаялся.

— А тебе что? — насторожилась Анюта. И, мгновенно вспыхнув, она сердито ответила: — Чем надо, тем и занимаемся, ни у кого не спрашиваемся. И знать тебе нечего!

— Да ведь я к чему, доча! — оправдывался, осветившись доброй улыбкой, Галан. — Лесков прибор мой очень хвалил и приглашал прийти побеседовать: хочет перенять опыт. А я все не выберу времени.

Все это было похоже на правду (тем более, что это и была правда), и Анюта немного смягчилась. Ей даже стало приятно, что лабораторное начальство так высоко оценивает работы мужа. Но она еще не вполне верила: правда у Галана всегда имела скрытый привкус лжи. Потом она вспомнила, каким мрачным стал в последнее время Закатов, и у нее опять поднялось раздражение.

— Так я тебе и поверю! — воскликнула она в сердцах. — О твоих приборах никто хорошо не отзывается. Признайся лучше, что сам просил помощи у Александра Яковлевича. Три конструктора только твоими диафрагмами и дроссельками и заняты, а мы простаиваем, мастерская и слышать не хочет о наших заказах. И хоть бы настоящий прибор! Я сама его проверяла на стенде — ни точности, ни чувствительности.

Это было, собственно, все, что хотел узнать Галан. Он не пошел в лабораторию, но ожидаемых результатов это не дало: Лесков не постеснялся помогать Галану и без его согласия на помощь. Не показав, как неприятно для него это сообщение, Галан постарался успокоить рассерженную жену. Для этого также имелись безошибочные средства, хотя в последнее время ему все труднее становилось прибегать к ним. Анюта с легкостью переходила от гнева к ласкам и, ласкаясь, веселилась и радовалась, как дитя. И уже через минуту, отвечая на его поцелуи, она смеялась, забыв о всех регуляторах, Закатовых и Лесковых.

Галан же думал только о них. План, им придуманный, был ловким и смелым — тут все держалось на риске, все могло повернуться не так, как ожидалось, а совсем наоборот.

На следующий день Галан появился в лаборатории, но не у Лескова, а у Закатова. Анюта сделала большие глаза и чуть было не рассердилась. Закатов, вскочив, хмуро, но вежливо поздоровался с неожиданным гостем.

— Крутишь, Михаил Ефимович? — осведомился Галан, расстегивая пальто и тяжело усаживаясь на стул.

— Крутим, Александр Ипполитович, сдержанно согласился Закатов.

— А где нам с тобой потолковать? Дело есть, монтажные вопросы.

— Давай сюда, — предложил Закатов, указывая на огороженную в комнате конторку со стеклянными перегородками, где находились контрольные приборы. Он первый прошел туда и уселся на стенд, предоставив гостю единственный стул. Галан некоторое время молчал, поблескивая глазами на осунувшегося, молчаливого Закатова. Все было обдумано, каждое слово взвешивалось заранее, но слова не шли. Слишком уж непривычен был план: хитрость его заключалась в том, чтобы говорить с Закатовым по возможности без хитростей.

— Начальству твоему моя пневматика что-то приглянулась, — начал Галан. — Говорят, вы всех конструкторов мне в помощники определили. И согласием моим не поинтересовались, а надо бы...

Оживившийся Закатов с удивлением смотрел на Галана. У того на лице медленно расплывалась улыбка, полная скрытого смысла, словно он подмигивал. Закатов обиделся. Он вспомнил, как Галан всюду подставлял ему ножку, как и в этом случае — с обогатительной фабрикой — он перебежал дорогу, тайно подготовив свои регуляторы и смонтировав их на две недели раньше, чем лаборатория сумела выпустить свой первый. И многое другое успел припомнить Закатов с нехорошим чувством: шепотом пущенные ядовитые характеристики, неровное отношение Анюты — утром она еле здоровалась, неся на своем лице следы ночных наговоров Галана, и только к концу дня расходилась и улыбалась ему, Закатову, веря в него, в его правоту и дружбу. И выражая все эти обиды в одном слове, Закатов возразил с суровой презрительностью.

— Темнишь, Александр Ипполитович! А не нужно — мы ведь с тобой насквозь один другого... Будто я не знаю, что радуешься: теперь твоя пневматика на коне.

— Не радуюсь, — покачал головой Галан. — Чему мне радоваться, рассуди? Я заявку составил на старую конструкцию дифманометра, а теперь вы ее перекореживаете. Что там останется от моего приоритета? Только слова: галановская конструкция, а по существу, автора нет — коллектив. И даже не коллектив, а литература — конструкторы-то ваши, кроме как «цельностянутых», никаких моделей не признают.

Удар Галана попал в цель. Закатов поверил. Дело было не в интонации и не в хитрой улыбке. Сама истина, голая, неприглядная, могущественная истина торчала в словах Галана, словно арматура в обвалившейся бетонной стене. На секунду у Закатова захватило дух. Какую все-таки нужно иметь смелость, чтоб вот так цинично признаваться в своем безграничном эгоизме! А потом его охватила жестокая радость: ты ставил на личный выигрыш, интриговал и путал. Где он, этот выигрыш? Идею твою похвалили и сделали не твоей, а общей?

— Неважно получается, Александр Ипполитович! — проговорил Закатов, против воли торжествуя. — Вроде не того ты ожидал!

— Не того, — согласился Галан. — Потому и пришел к тебе посоветоваться.

— А что я могу? Меня тоже не спрашивают.

— Очень можешь, Михаил Ефимович. Отчего свою электронику не защищаешь?

— Начальство у нас единоначальное. — Закатов пожал плечами. — Ему кто-то насчет «дуракоустойчивых» приборов наболтал, вот он и ищет, чтобы было попроще и понадежней. А что надежней электронной лампочки? Одна испортится, вставь другую. — Он с новым подозрением посмотрел на Галана. — А почему, собственно, ты об электронике забеспокоился? Какая тебе от этого выгода? Если наши регуляторы смонтируют, твою пневматику вовсе отставят.

Галан ждал этого вопроса и имел на него готовый ответ. Но так как это был единственный вопрос, на который ему не хотелось отвечать полной правдой, то он все же секунду помешкал.

— Как тебе сказать? Выгода есть. Ладно, раз открыто, так открыто! Если ваши лампочки пойдут в ход, конструкция моя останется при мне, и свидетельство я на нее получу. Не здесь, так в другом месте пригодится. А потом если на всю чистоту, я верю в пневматический регулятор. Это ничего, что вы всюду понасуете свои щиты, я буду потихоньку — одна секция мне отведена. Я ее доведу до точки, а потом вы сами убедитесь, что у меня проще.

Закатов задумался. И здесь все было логично и честно — Галан не скрывал, что оружия не складывает. Правда была не очень благообразна, не очень украшена, но уж таково свойство правды — быть неприятной и не рядиться в шелка. Закатов проговорил, снова пожимая плечами:

— Все-таки не понимаю, что теперь можно сделать?

— Говорю — многое! — Глаза Галана заблестели, он понизил голос. — Нужно задержать все эти конструкторские разработки и погнать полным ходом электронику. Мне Анюта вчера говорила — стенды ваши простаивают. Куда это к черту годится?

В отличие от тяжелодума Галана голова Закатова с лихорадочной быстротой производила целыми сериями разнообразные идеи. В минуты вдохновения он не успевал следить за потоком непрерывно вспыхивавших мыслей и метался от одной к другой, как бабочка между свечами. И сейчас он почувствовал, что на него накатило.

— Способы-то есть, осуществить их нелегко, — проговорил он, болтая в воздухе ногами чуть ли не перед самым носом сидевшего рядом Галана. — С планом у нас неважно. Нажмут на Лескова сверху, он никуда не денется — электронные регуляторы у нас запущены в серию, на них программу легче всего сделать. Или, скажем, пусть фабрика официально напишет, что твой регулятор ей не нравится.

Галан — размышлял вслух, оценивая проекты Закатова. Плановиков, конечно, можно настроить, этот народ и не такие крупные начинания мигом сворачивал, если что не по параграфу.

— А крепко, между прочим, они продрали вас — крику на весь комбинат!

— Ну их всех к лешему в бороду! — равнодушно высказался Закатов. Он искренне считал, что племя экономистов и плановиков — паразит на мощном стволе техники. — Выдумали акцепты, перечисления, проводки. А зачем? Перекладывают из одного государственного кармана в другой. Толчение воды в ступе и вокруг этого толчения кормятся тысячи бездельников.

В наладочную вошел Лесков. Он не заметил Галана и наклонился над стендом Анюты. Анюта подняла голову, лицо ее вспыхнуло, в нем появилось хорошо знакомое Галану выражение растерянности, стыда и радости. Закатов, замолчав, как и Галан, прислушивался к их разговору. У Галана было больше выдержки, чем у Закатова, он даже не пошевелился на стуле. Закатов, соскочив со стенда, кинул:

— Минуточку, Александр Ипполитович, — и вышел из конторки. Он раздраженно сказал Анюте: — Черт знает что, пятый раз катушку перематываете! Надо быть повнимательнее, Анна Петровна!

Теперь Галан следил за всеми троими. Анюта грубо ответила Закатову и отвернулась. Галан тяжело вздохнул: нелегка жизнь человека, который старше своей жены на двадцать четыре года и у которого к тому же жена сумасбродная, — и медленно выплыл из конторки.

Лесков пошел к нему, протягивая руку.

— Здравствуйте! — сказал он радостно. — Наконец-то вы явились! А мы сами пока кое-что придумываем. Идемте в конструкторскую!

— Не сейчас, — отговаривался Галан, дружески улыбаясь. — В другой раз, Александр Яковлевич, завтра или послезавтра.

— Так смотрите, мы ждем! — крикнул Лесков вдогонку. — Вам оставили место на чертеже для подписи.

Последнее впечатление, как последняя мелодия, покрывает своим звучанием предыдущее. Галан хмурился. Подмеченное им у Анюты выражение само по себе еще ничего не означало. От чувств до действий дорога не близкая. Но все же было неприятно, что у Анюты появились такие чувства. «Доча, доча! — мысленно говорил с укором Галан. — Глаза-то твои где? Ну, что в нем? Ни весу, ни виду, ни ума особого — так, жеваная котлетка». Потом мысли его обратились к Закатову, и он повеселел. Забавно все-таки, с какой охотой соперник его кинулся рыть себе могилу. Не так легко положить Галана, старого монтажника, на обе лопатки, нет, нелегко!

Двоеглазов уже собирался домой, когда к нему явился Галан. Плановик нетерпеливо махнул рукой.

— Что тебе, Александр Ипполитович? Если опять насчет номенклатуры продукции, так не расходуйся.

— Насчет номенклатуры, — спокойно подтвердил Галан и, не ожидая приглашения, сел и расстегнул пальто, словно устраиваясь надолго. Люди, знавшие Двоеглазова, осудили бы подобное поведение: тот допускал в своем кабинете споры любого тона — от кошачьего визга до грохота минского самосвала, — но развязности не терпел. Стекла его очков грозно заблестели. Галан, казалось, ничего этого не замечал. Он неторопливо разъяснял свою просьбу. От него требуют, чтобы он смонтировал на фабрике двадцать пневматических комплектов. Как бы это провести официально в смысле финансирования?

— Ты что-то безбожно путаешь, — начал злиться плановик, — монтируются электрические регуляторы, а не пневматика, финансирует их Промбанк. С такой чепухой можно было не ходить — справки даю по телефону.

На лице Галана появилось изумление... Как, разве Даниил Семенович не знает, что все изменено? Двоеглазов грубо прервал его:

— Ну чего ты, ей-богу, тянешь кота за хвост? Что изменено? Почему изменено?

— Да я думал, что все это с тобой согласовано, — оправдывался Галан. — Начальник лаборатории решил электрические регуляторы отставить и пустить в ход пневматические, те самые, что я по бризу...

— Ах, вон оно что! — зловеще протянул Двоеглазов. — Ну, это не так просто, голубчики! — Он сдержал возмущение и заговорил с грозным спокойствием, — Знаешь, дорогой Александр Ипполитович, ты мог бы и не так кустарно сработать это дельце. Думаешь, я не понимаю, что это ты уговорил Лескова? Тебе-то, конечно, выгодно — крупная премия. Только, боюсь, ничего у вас не получится.

Двоеглазов, не ожидая медленно поднимавшегося Галана, зашагал к двери. Оттуда он добавил с гневом:

— Утром я предупрежу Лескова, что он оставит лабораторию без зарплаты, если не прекратит партизанщину. Знаю, ты будешь науськивать его на жалобы, сам пойдешь кляузы строчить. Не советую — нет фундамента у вашего начинания!

Он ушел, хлопнув дверью. Если бы он обернулся и увидел ухмыляющегося Галана, его уверенность, что тот пойдет строчить кляузы, сильно бы пошатнулась.

25

Воскресенье совпало с выходным днем Кати Яковец. Катя не любила спать, времени и без сна не хватало. Она вскочила раньше всех в общежитии ИТР, захватила сразу три конфорки на общей кухонной плите и принялась готовить завтрак. Подруга Кати Надя Ясинская еще спала, когда Катя ввалилась в комнату со сковородкой и чайником.

— Три минуты на все, Надя! — крикнула Катя, толкая подругу. — За каждую просроченную минуту ложка мокрого снега на голову!

Надя испуганно вскочила: Катя была не из тех, что попусту грозят.

За завтраком Катя небрежно спросила:

— Ты чего кислая? Что-нибудь не так получилось на партсобрании?

Глаза ее лукаво щурились — вчера в диспетчерскую заходили после собрания мастера и рабочие и толковали о провале флотаторщиков и неожиданных нападениях на Савчука. Надя поморщилась — любопытство подруги было неприятно.

— Нет, ты скажи! — настаивала Катя. — Тезисы речи показывала, а теперь заскромничала!

Надя, однако, рассказывала без особой охоты. Катя продолжала посмеиваться, ее забавляли переживания подруги, сама она считала все это пустяками. Катя уже два года работала на фабрике и не помнила двух минут, когда бы флотаторщики не ругались с измельчителями, измельчители не придирались к дробильщикам дробильщики не взваливали смертные грехи на рударей, а все они вместе не шли единой технологической стеной на всегда в чем-нибудь виновную вспомогательную силу — механиков и электриков. Это был нормальный ход производства, мир брал его враждующие звенья только при катастрофах — крупных авариях или приезде начальства из Москвы.

Надя оживилась, когда заговорила о Лубянском. Этот человек — проходимец, тут она голову даст на отсечение. Он взял слово после Савчука. Директор, конечно, дипломатничал, кое-кого похваливал, кое-кого поругивал, но больше склонялся к тому, что виноваты мельницы, даже выговором пригрозил Лубянскому. А тот, думаешь, оправдывался? Ничего подобного, сразу напал на флотацию с криком: «Когда вы работать научитесь, товарищи!» Сначала они, флотация, смеялись, так все это было нелепо и неожиданно. А он вытащил таблицы анализов, сводки ОТК, даже платежной ведомостью ремонтных рабочих прикрылся — подготовился, как к докладу. И, конечно, на них все взвалили: и что они работают по шаблону и что не готовы к переходу на автоматику. Савчук в заключительном слове совсем запутался; не знал, на чью сторону встать. Ему тоже досталось: записали, что мало внимания уделяет новым, прогрессивным формам работы. Он сам голосовал за эту резолюцию — сразу смирился.

Катя хохотала. Она воскликнула:

— Боже, какая ты глупая, Надя! Неужели ты вправду думала, что только вы будете обвинять, а остальные — каяться?

— Но ведь правы мы: ничего, кроме неприятностей, пока нет от экспериментов Лубянского, — с горечью возразила Надя. — Вот что меня возмущает — нашу правоту превратили в нашу вину.

— Деточка! — снисходительно заметила Катя подруге (та была старше ее на три года). — Прав тот, кого похвалили в протоколе. — Она насмешливо глядела на рассерженную Надю, — Между прочим, Надя, это все твой Селиков виноват, его автоматика. Я бы на твоем месте не простила, самый раз показать этому ненадежному человеку от ворот поворот.

Надя огрызнулась:

— Ну, это — мое дело. Лично мне Сережа нравится — милый мальчик. Во всяком случае, приятнее всех твоих поклонников.

Катя задорно возразила:

— Зато их много. Понимаешь разницу, Надюша? В общей толпе иметь такого неплохо, он прибавляет живости. А когда единственный — не солидно.

На этот раз Надя разозлилась не на шутку.

— Одно могу сказать, Катя: при большом количестве поклонников придется умирать тебе старой девой. Я слышала, что какой-то осел погиб от голода между двух охапок сена — не мог ни одной отдать предпочтения. Ужасно на тебя похоже.

Катя встала из-за стола и сладко потянулась. Хотя она и не любила тратить дорогое время на сон, спать ей всегда хотелось. Она ответила равнодушно:

— Думаю, предсказание твое исполнится только частично. Возможно, я умру старой, но девой — вряд ли. А насчет остального: придет время — придет и предпочтение. Нам не к спеху, нам не к спеху! — пропела она, танцуя с чайником вокруг стола. Свободной рукой она обхватила Надю и кружила ее вместе с собой. Та со смехом отбивалась. Чай пролился на халаты. Надя сказала с огорчением:

— Обязательно пятно останется. Ни разу твои проделки добром не кончались.

Она стала собирать посуду со стола. Катя еще не вытанцевала сидевшего в ней заряда: она кружила чайник на вытянутых руках, наступала на него и отскакивала — чайник был дамой — и напевала все ту же песенку: «Нам не к спеху в двадцать лет!».

— Хотя, если по анкете, нам уже не двадцать, а двадцать один — ужас просто, какой зрелый возраст! — сказала она, останавливаясь. И тут же закричала: — Наденька, ты права, больше терпеть нельзя! Завтра же выхожу замуж! И знаешь, за кого? За твоего Селикова! Он меня просто мучает, он один не обращает внимания. — Она схватила подругу и вертела ее во все стороны, и целовала в шею, крича: — Отобью, Надя, отобью!

— Ну, можешь ли ты хоть минутку побыть серьезной? — молила Надя, защищая тарелки, которые держала в руках: когда на Катю накатывало, и не такие ценные вещи, бывало, с грохотом валились на пол.

Катя наконец угомонилась и прыгнула на свою, еще не убранную постель — пружины жалобно завизжали, как наказанные псы. Скорчив обиженное лицо, она пожаловалась:

— Вот еще, быть серьезной в выходной день! Мне и в будни серьезности на целую смену не хватает.

Надя понесла тарелки на кухню. Когда она возвратилась, Катя сбросила халат и надевала платье. Осматривая себя в зеркале, она сказала небрежно:

— Чтоб закончить разговор, Надюша... Мне начальник твоего Сережи нравится значительно больше. Так что можешь не тревожиться: оставлю тебя при твоем бубновом наладчике.

Надя сердито фыркнула:

— Это Закатов, что ли? Вот еще нашла, да ему не меньше сорока! Худой, как жердь, к тому же. И, вероятно, раз десять был женат.

Катя весело возразила:

— Твой взгляд старит, Надюша: на кого ты посмотришь, тот сразу сморщивается. В книгах это называется «взглянула убийственным взором». А на кого я взгляну, тот молодеет и расцветает. Моему Сережкиному начальнику меньше тридцати. Приемлемо, правда?

Надя пожала плечами.

— Закатова я теперь вижу путь ли не каждый день — за сорок ручаюсь.

— Двадцать один и тридцать... — мечтательно проговорила Катя, стараясь так выгнуться, чтобы было видно в зеркале, как лежит платье на спине. — Очень, очень неплохо, по-моему. Или лучше тридцать один и двадцать два — год я его продержу в ухажерах. Я читала, что только тот надежен, кто вокруг тебя не меньше тысячи километров обойдет. Положишь на день четыре километра — большего трудно требовать, — все равно меньше года не выйдет на этот ухажерский кросс. Тут уж ничего не поделаешь. Любовь — это сплошное терпение, вот почему я так ненавижу эту штуку — любовь.

Надя смеялась легкомысленной болтовне подруги, у нее понемногу отходило сердце после вчерашней неудачи на партсобрании. Катя запоздало — всего года полтора назад — из шумного, дерзкого и озорного подростка, грозы мальчишек, превратилась в красивую девушку, которую все — даже недавние враги по школе и улице — наперегонки ублажали. Она до сих пор тайно удивлялась необыкновенному повороту в своей жизни и спешила использовать его до капли, словно завтра все это должно было кончиться и ей снова предстояло превратиться в костлявую стремительную девчонку, и снова ей будут кричать вслед: «Тебе бы мальчишкой родиться, хулиганка!»

Она скосила глаза на Надю и, бросив зеркало, подбежала к ней и обняла ее.

— Наденька, послушай! — сказала она нежно. — Недавно они приходили ко мне в диспетчерскую — страшилище Закатов и этот новый начальник лаборатории. Ты бы посмотрела на него, Надюша. Высокий, молодой, глаза, как у поэта, честное слово, горят! И черные усики, подстриженные такие, ужасно люблю, когда усы!.. А серьезный! Я такого серьезного еще не видела, даже удивительно. Вот бы тебе с ним познакомиться! Хочешь, устрою через Лубянского? Они друзья, а мне Георгин ни в чем не откажет: что скажу, то и будет.

Надя с досадой высвободилась из Катиных объятий.

— Видела я его, даже разговаривала. Ни с того, ни с сего нагрубил мне, хотя по-настоящему скорее я должна была грубить: ведь они нам мешают, а не мы им. И прости, но «друг Лубянского» — теперь для меня плохая рекомендация.

В дверь постучали громким, уверенным стуком. Катя быстро сказала:

— Твой наладчик, будь он неладен, голову даю!.. Это, вправду, был Селиков. Увидев Надю в халате, он возмутился:

— Надя, это что такое? Разве вы забыли о прогулке? Переодевайтесь — я отвернусь.

— Я не пойду, — сказала Надя. — Погода плохая. Лучше вечером, Сережа, куда-нибудь в кино.

— А что за прогулка? — поинтересовалась Катя. — Может, я с вами?

Селиков в недоумении поглядел на хмурую Надю, объяснил, что сегодня в Каскадном ущелье лыжные гонки, будет весь город — спортколлективы рудников, заводов, фабрики и техникума.

Катя заметалась по комнате, хватая вещи.

— Никаких отговорок, Надя! — объявила она. — Погода великолепная — самые хорошие тучки и снежок, не каждый же день солнце, в самом деле! Вот что, Сережа, ваше отворачивание меня не устраивает, марш в коридор! И пока не позову, ни признака жизни!

Она бесцеремонно вытолкала Селикова. Минут через пять одетые в лыжные костюмы они вышли на улицу. Падал мокрый снег, по улицам крутился сырой ветер, было холодновато. Произошло обычное на севере внезапное изменение погоды: сияющая весна вдруг снова превратилась в зиму.

— Расскажите, Сережа, что за человек Лесков, — попросила Катя по дороге.

О новом начальнике лаборатории Селиков говорил с охотой:

— Лесков у нас орел!

Катя прервала его:

— То самое, что я говорила, подумай над моими словами, Надя.

Селиков подозрительно повернул к ней голову.

— Вы о чем, Катя?

— Ни о чем, Сережа, — ответила она, засмеявшись. — Женские дела — вам неинтересно.

Каскадное ущелье находилось километрах в восьми от города. У входа в ущелье бесновался вздувшийся ручей. Катя, отказавшись от помощи Селикова, прыгала с камня на камень — дело это кончилось тем, что она провалилась в ледяную воду. Надя благоразумно пошла дальше — над самым бурным и узким местом были наспех переброшены две доски. На оттаявших берегах уже появлялась первая полярная зелень. Зато в ущелье еще хозяйничала зима. Обледенелый снег был так тверд, что легко выдерживал каблук, можно было скользить и без лыж. Катя с визгом помчалась по склону горы, перекувыркнулась и покатилась головой вниз, пока не уткнулась шапкой в чью-то ногу. Вскочив, она, даже не взглянув, кто ее спаситель, толкнула его в снег и снова понеслась вниз, спасаясь от погони.

— Осторожней, сумасшедшая! — кричала ей вслед Надя, смеясь и беспокоясь.

В ущелье было полно народу. Одна команда за другой неслись с вершины, где начинался ледничок. Летом он превращался в каскад водопадов. В стороне сидела за столиком судейская коллегия, над нею возвышались частоколом запасные лыжи. Поближе к устью, за линией красных флажков, гуляла вольная публика: кто скользил на лыжах, кто взбирался вверх, кто прохаживался, а большинство толкалось у крытого грузовичка с бутербродами и пивом.

— Девушки! — широко открывая глаза, прошептала Катя Наде и Селикову. — Савчук здесь! Убей меня бог, если я страшного не совершу!

Около столика судей стояла группка руководителей предприятий, среди них Кабаков, Крутилин и Савчук. Катя протолкалась к Савчуку. Они говорили минуты две, потом Савчук пошел с Катей, взяв ее под руку. Они не прошли и десяти шагов, под хохот зрителей, Катя толкнула плечом Савчука и тут же устроила ему подножку. Савчук рухнул в снег, успев, однако, повалить и завизжавшую Катю. Они пролетели метров пятьдесят, прежде чем встали на ноги. Кате удалось отскочить, пока Савчук хватался руками за снег.

— Ах, бисова девка! — весело ругался Савчук, отплевывая снег. — Полтонны проглотил. Что за диспетчеры пошли на фабрике, никакого уважения к начальству. Ну, теперь берегись, Катя, пощады не будет — нос и уши нашпигую снегом!

— Только по-честному! — предупредила Катя, готовясь в любую минуту бежать. — Условимся: кто быстрее спустится на лыжах по склону, тот командует.

Савчук, ухмыляясь, хитро наблюдал за насторожившейся Катей.

— Это, выходит, меня еще раз снежком кормить! — понимающе кивнул он головой. — По-другому сделаем, диспетчер: кто кого поймает, тот командир. Ты меня сцапаешь — твоя сила, я — моя!

— Вот еще! — возмутилась Катя. — Вы двести килограммов весите, а у меня больше пятидесяти пяти никогда не бывало. Нет, на это я не согласна.

К ним подоспели стоявшие около столика: «полет» Савчука и Кати оказался интереснее официального соревнования. Улыбающийся Кабаков поддержал Катю:

— Правильно, Павел Кириллович, спор придется решать лыжными гонками.

Крутилин ударил Савчука по плечу.

— Держись, Павел, мажу за тебя бутылку шампанского — расчет сразу после гонок.

Савчук колебался. Он ходил на лыжах хорошо, но ему было пятьдесят два года, а Кате двадцать один. Однако деваться было некуда, со всех сторон громко требовали состязания. Савчук с видимой неохотой встал на лыжи, неуклюже поднимался вверх, к старту. Катя, легко взобравшись на гору, потеряла терпение. Она первая — еще рука судьи не опустилась вниз — покатилась к устью. И сейчас же мимо нее пронесся Савчук. Далеко обогнав ее, он ловко затормозил и преградил ей путь. Отчаянно закричав, Катя попыталась увильнуть, но от страха не сумела затормозить как следует и вихрем во рвалась в его широко распахнутые руки. Савчук не торопился. Он втирал снег, как мазь, последовательно переходил от Катиного лба к щекам и подбородку. Обессиленная, задохнувшаяся, она наконец, вырвалась. Савчук, хохоча, крикнул Крутилину:

— Бутылка моя, Тимофей Петрович! Ну, попало диспетчеру!

Топнув лыжей по снегу, Катя сердито отозвалась:

— Смотрите, вам больше попадет — теперь в мою смену и не звоните. Это еще что такое. — силой взять!

Бес еще бушевал в ней, она стала подбираться к Савчуку поближе. Опасливо оглядываясь на ее грозное лицо, Савчук поспешно удалился к столику. Бегство его немного успокоило Катю. Сняв лыжи и отряхивая снег, она подошла к Наде и похвалилась:

— Что бы я с Савчуком проделала сейчас, если бы он не удрал, — ужас!

Надя пожала плечами: она не любила грубых шуток, всякое проявление силы казалось ей грубостью.

— Знаешь, Катюша, с директором все-таки так нельзя: человек он пожилой и кругом его подчиненные, ему, может, неудобно.

— Ну, прямо! — вознегодовала Катя. — Буду я еще в воскресенье церемонии соблюдать. А как он меня ухватил! Это мне неудобно, а не ему.

К ним подошел улыбающийся Лубянский. Он вежливо поздоровался с Надей, она холодно ответила. Лубянский насмешливо сказал:

— Катя в своем любимом репертуаре: нагоняет страх на начальство. Но, кажется, сейчас и ей досталось — бегать на лыжах труднее, чем ругаться во всю клавиатуру коммутатора... Катя, что у нас сегодня запланировано?

Катя повернулась к нему спиной, но долго не сумела выдержать характер. Сдавшись, она объявила свою программу.

— Сейчас, Георгий Семенович, вы с Сережей постоите в очереди, будем делиться, как медведь с мужиком: нам с Надей вершки — бутерброды, вам корешки — пиво. Потом побегаем на лыжах, а вечером в кино. Билеты — это тоже корешки — доставать вам с Сережей. И дальше десятого ряда не смейте брать: терпеть не могу так далеко!

Программа Лубянскому понравилась. Селиков, не дослушав до конца, побежал в хвост очереди выполнять первый пункт., Катя капризно сказала Лубянскому:

— Почему вы один, Георгий Семенович? У вас же друг есть, ну, тот, с кем вы живете. Вечером обеспечьте его явку в кино. Хочу поухаживать за ним, раз уж он за мной не ухаживает.

Лубянский с сожалением развел руками:

— Боюсь, ничего не выйдет, Катюша. Лесков утром ушел в лабораторию и вернется не раньше полуночи. Этот человек знает лишь одну, но пламенную страсть — любовь к регуляторам. Он явился бы на ваш зов только в том случае, если бы необходимо было заменить вас электронным аппаратом. Рано или поздно он это сделает, так что совсем надежды не теряйте: встреча ваша состоится.

Когда пиво было выпито и бутерброды съедены, Надя неожиданно сказала:

— Я ухожу домой. Вы займитесь лыжами, а я напишу маме письмо, уже неделю собираюсь. И в кино вечером тоже не пойду.

Огорченная Катя напустилась на подругу, Селиков и Лубянский поддержали ее. Надя стояла на своем. Она простилась и ушла, Селиков пошел ее провожать. Лубянский заметил, глядя им вслед:

— Характерец у человека! Знаете, Катя, отчего это? Не может примириться, что ей досталось на собрании. Теперь она не желает даже стоять рядом со мной.

Катя напала на него:

— И правильно делает: ваше поведение отвратительно. Удивляюсь, как я еще выношу вас! Сколько раз обещала себе, что часа больше не проведу с вами!

А Селиков, грубовато прижимая Надину руку, предложил:

— Давайте вдвоем пойдем, Надя. Мне этот ученый тип тоже не очень нравится. Хотите, я достану билет на другой сеанс, чтоб больше с ними не встречаться?

Надя ответила ласково, тихонько освобождая руку:

— Спасибо, Сережа, я не пойду. Мне нужно побыть одной, право, очень нужно.

26

Лескову скоро пришлось с горечью убедиться, что он рано записался в большие начальники. Его снова вызвал к себе Двоеглазов. Разыгралась бурная сцена. Двоеглазов оглушил его единственным вопросом: что останется от планового хозяйства, если каждый руководитель цеха вздумает менять строительные объекты, внесенные в титульный список? Не превратится ли тогда разумная система хозяйствования в анархию, не станет ли она потоком, несущимся без русла по камням и кустам — где как придется?

— Неужели вы не знали, что в соответствии с проектом нами завезено в Черный. Бор электрических регуляторов на девятьсот тысяч рублей? — допрашивал он. — Если вы переходите на пневматику, они становятся не нужными. Куда их прикажете девать? На свалку?

Все это было правильно, азбучно правильно. Обо всем думал Лесков, только не о том, что привезенные электрические приборы надо использовать, иначе пропадали затраченные на них крупные суммы. Он сам был проектировщиком, знал, во что выливается внезапная переработка проекта, когда уже ведется монтаж оборудования. Нет ничего хуже — все летит к черту, люди в отчаянии. И вот подобный же хаос устраивает он сам, Лесков. Он стремится к лучшему. А разве те, что вносят сумятицу в строительство, не стремятся к лучшему? Их, однако, все клянут.

Путаясь в этих противоречиях, Лесков стал оправдываться. Преимущества пневматических регуляторов выяснились очень недавно. Они автоматика, живой организм, организм растет и совершенствуется каждый час и миг, от этого не уйти.

Двоеглазов, улыбаясь, слушал Лескова — улыбка казалась диковатой на его суровом лице. Он наслаждался беспомощностью своего противника. На этот раз хитросплетения Галана не удались. Много вздору внес этот лукавец в душу увлекающегося руководителя лаборатории, самого же главного для него — выгоды — не добьется. Двоеглазов отвечал почти добродушно. Ну, и пусть организм растет и совершенствуется, раз таков его закон. Но пальто этому растущему организму каждый день не покупается, а только раз в год, бывает, и реже. Вот и план — это одежда, растите внутри нее, сколько влезет, а менять ее каждый день никто не разрешит, это по меньшей мере бесхозяйственно. Лесков сумрачно проговорил:

— Стальной панцирь, а не пальто эта ваша одежда: она сковывает движения.

Помолчав, он стал просить у Двоеглазова помощи. Неужели вправду придется монтировать худшие приборы только потому, что они запланированы? Рука просто не поднимается. Он обещает найти применение электрическим регуляторам в другом месте. Ценности эти не пропадут, он ручается.

Если бы Лесков лучше знал Двоеглазова, он не обратился бы к нему с подобной неразумной просьбой. Работники комбината ругались с Двоеглазовым, но не упрашивали его: он мыслил цифрами, а не эмоциями, знал одну логику — установленный порядок. Однако и лев, когда сыт, терпеливо сносит приставания игривого щенка — плановик снисходительно слушал жалобы Лескова, этот горячий человек чем-то ему нравился.

— Я помогу вам, — подвел он итоги. — Если ваша с Галаном пневматика так уж великолепна, пусть Савчук берет ее на свои средства — переведем финансирование из Промбанка в Госбанк. А не убедите его, срочно пишите рапорт в главк. Месяца через два получим ответ. Думаю, с нами согласятся.

Лесков, не заходя в лабораторию, кинулся к Савчуку. Савчук слушал Лескова, чему-то про себя посмеивался, качал головой. Он запросил по телефону плановый отдел фабрики: сколько у них накоплений? Ответ мало ему понравился: он нахмурился. Савчук еще не начал говорить, а Лесков уже потерял надежду — и этот неверный шанс срывался.

— Сложно, друже, сложно, — вздохнул Савчук. — Электрические твои регуляторы по капстроительству проходят, дядя это чужой — Промбанк. А пневматику принять — лишний миллион на свою продукцию. Превысим утвержденную себестоимость — взысканий не миновать.

Лесков молчал. Савчук изъяснялся общепонятным русским языком, все было логично в его доводах. И вместе с тем они казались Лескову — с другой, высшей, как ему думалось, точки зрения — нелепыми. Почему Госбанк — свой дядя, а Промбанк — чужой? Это два кармана одного дяди — государства. А нужное для государства дело можно оплачивать только из правого кармана, чуть переберешь из левого — посыплются наказания.

Савчук продолжал, улыбаясь:

— Горе с этой автоматикой: дела пока от нее — слезы, а неприятностей — вагон. Слыхал о нашем партсобрании? Записали мне, что мало забочусь о новой технике. Позаботься же как следует — за себестоимость накажут. И нельзя не заниматься: если уж на партсобраниях о регуляторах заговорили, словно о подготовке к выборам, значит, точно, их час. Давай вызовем Лубянского, подумаем вместе.

Лубянский прибежал через минуту. Савчук, не скрывая усмешки, предложил Лубянскому провести регуляторы как внутренние расходы измельчительного цеха. Лицо Лубянского выразило ужас. Он с упреком сказал Лескову:

— Слушайте, Александр Яковлевич, что же вы? Разве цех вынесет подобные затраты? Нет, я не согласен.

Савчук подмигнул Лескову.

— Слыхал речь друга своего? С такой он на партсобрании не выступит, будь покоен: еще покрепче моего достанется, что за новую технику не болеет. Вот как у нас получается: на трибуне — кулаком в грудь, в кабинете — кулаком по столу.

Лесков видел, что Савчук не на шутку уязвлен резолюцией, принятой на партсобрании, он возвращался к ней то с шуткой, то серьезно. Лубянский стал оправдываться. Савчук прервал его:

— Ладно, Георгий Семенович, сейчас не речи требуются — деньги. Миллион рублей, а миллиона нет.

Подумав еще, Савчук решил:

— Выше головы не прыгнешь, придется пока монтировать, что утверждено. А на Делопута насядем, пусть пробивает поправки в титуле. Он как тебе обещал — два месяца? Пошлем еще бумажку в Москву за моей и Кабакова подписью — за месяц провернем.

Лесков сказал хмуро:

— За месяц я десяток электрических регуляторов установлю, куда их потом девать?

— Ну, такое горе нетрудно и в узелок завязать, — уверенно пообещал Савчук. Он пояснил: — Как пройдет первый срок эксплуатации, сменим одни приборы на другие — проведем это дело по капремонту.

Когда Лубянский с Лесковым вышли из кабинета, Лесков спросил:

— Точно ли это возможно, что Савчук обещает? Лубянский подтвердил:

— Разумеется. Путь этот, конечно, обходной, зато верный. Уже не раз им пользовались.

С сочувствием глядя на мрачного Лескова, Лубянский мягко сказал:

— Александр Яковлевич, чего вы расстраиваетесь? Своего вы добьетесь — мытье не лучше катанья, важны результаты, а не методы. Не забывайте, великого принципа жизни — прямо только вороны летают.

27

Лесков направился в цех. Лубянский замедлил шаг около диспетчерской, но раздумал и пошел дальше. Он был смущен. Савчук представил дело так, будто он, Лубянский, стал противником автоматизации.

— Поверьте, — сказал Лубянский с жаром, — это все разыграно. Согласись я, он бы отказался.

Лесков ответил с досадой:

— Ладно, оставим это! Скоро мне сниться будут акцепты, ассигнования, перечисления и проводки.

Но Лубянский не мог успокоиться: он улавливал в словах Лескова холодок. Лубянский пробормотал:

— Типичная манера Савчука — взвалить вину на другого. Ему одно важно — только бы его не ругали! Все наши директора таковы: Кабаков, Крутилин...

Старые лесорубы и охотники боялись поминать в лесу имя нечистого: сей зверь легок на помине. Цех не лес, и директора не черти, но Кабаков с Крутилиным появились сейчас же, как только упомянули о них. Они шли вдоль машин, смотрели записи в журнале, вглядывались в диаграммы на самописцах. Кабаков пальцем поманил Лескова.

— Видели твои регуляторы, — сказал он одобрительно. — Механизм не ленится, все время в труде. Ставь, ставь автоматы, новая техника нужна, как воздух, — чувствуем по всему, что дальше без нее ни шагу.

Эти ласковые слова вдруг оживили в Лескове умершие было надежды. Он горячо изложил свой спор с Двоеглазовым и попросил помощи. Кабаков засмеялся.

— Вот она, молодежь! — сказал он Крутилину. Голос его был весел, улыбка снисходительна. — Нетерпелива, ни с чем не считается. Чуть что не по ней — штрафы, — он лукаво покосился на Крутилина, тот нахмурился, — докладные записки, крик. А почему? Трудностей настоящих не нюхала! Тебе, товарищ Лесков, катастрофой кажется, что вместо одного регулятора с высшим образованием будет поставлен другой, такой же умный. А у нас с Тимофеем Петровичем, — показал он на Крутилина, — даже лопат и рукавиц не хватало, когда мы эту фабрику возводили, где ты теперь автоматы монтируешь. Да что лопат! Всего не хватало: цемента, жилищ, еды, денег, инженеров, просто грамотных людей. И ничего, построили фабрику, чудо механизации. По-твоему рассуждая, нам бы руки сложить, впасть в отчаяние: ах, не можем при нашей некультурности, ах, дайте нам условия, снабдите полностью по нормам! И не было бы этой фабрики, этого чуда. Вот как оно оборачивается, товарищ Лесков.

— Академики! — процедил сквозь зубы Крутилин. После столкновения на заводе Лесков впервые видел Крутилина — он еле кивнул головой на холодный поклон Лескова. — Ты загляни ко мне в плавилку, Григорий Викторович, те же приборы, что здесь, даже еще нежнее. А разве сравнить плавилку с этим залом? Да ни в жизнь они там не будут работать.

— Это ты загнул, Тимофей Петрович. — Кабаков снова покосился на Крутилина. — Заставим — будут работать. Вызовем на партбюро, пошлем в министерство отчитываться — обеспечишь условия. — Он повернулся к Лескову. — Значит, так, товарищ Лесков. Источники финансирования менять не будем, все это фантазия — из пушек по воробьям. А конкретную помощь — людьми, материалами, хорошими условиями на местах монтажа, — это проси, обеспечим.

Они прошли в боковой ход, прихватив с собой Лубянского, а Лесков остался на классификаторах. Он чувствовал усталость и бессилие: дальше бороться было не с кем, податься некуда. К нему подошел дядя Федя и ласково тронул его за руку.

— Здравствуй, товарищ Лесков! — сказал он, смеясь всем своим добрым лицом. — Что тут стоишь? Ты туда пройди, к Сереге, — ну и кипит у него дело!

Лесков провел с монтажниками около часа, а потом побрел знакомой дорогой по склону горы. На душе у Лескова было невесело. Щукин прав: они бросили все силы на два участка, маневрировать им негде. Ладно, ладно, своего он добьется — немного позже, чем желал, только всего!

В лаборатории Лескова поджидал встревоженный Жариковский. Жариковский торопливо объяснил, что сегодня его вызывал Бадигин, на заводе скоро будет проведена партийно-техническая конференция. Ему, Жариковскому, предложено выступить с подробной информацией по новой технике: что надо внедрять и какой это даст эффект. А разве он может сказать об эффекте, он даже не знает, когда они с отражательной печью справятся.

Маленькие глазки Жариковского, застывшие на широком лице с мелкими чертами, преданно и умоляюще смотрели на Лескова, сероватая кожа щек от волнения стала еще серее. Жариковский простонал:

— И знаете, что еще Бадигин требует? Помех. Чтобы ему все помехи перечислили, какие тормозят автоматизацию. Откуда мне взять помехи, Александр Яковлевич, поверите, не хватает времени диаграммы менять на самописцах! Очень прошу, подскажите, о чем говорить.

Теперь Лесков понимал, что привело Крутилина и Кабакова в измельчительный цех фабрики. Видимо, горячая его беседа с Бадигииым не прошла бесследно. Крутилин готовился к обсуждению перспектив автоматизации завода, чтоб не попасть впросак, как Савчук. Злое чувство вспыхнуло в Лескове. Он вспомнил надменное лицо Крутилина, его пренебрежительный кивок. Нет, человек этот неисправим: нового штрафа он постарается избегнуть, но другом новой техники не станет. Лесков проговорил, усмехаясь:

— Пишите, я продиктую вам все помехи, которые необходимо убрать, чтобы автоматизация на медеплавильном заводе пошла.

Просиявший Жариковский мигом вытащил блокнот. Лесков диктовал, в возбуждении прохаживаясь по кабинету:

— Первая помеха, самая зловредная, — самодур директор, Крутилин по фамилии.

Карандаш выпал из пальцев Жариковского, он с ужасом глядел на Лескова; тот повелительно повысил голос:

— Пишите, пишите, это еще не все! Вторая помеха — излишняя услужливость начальника заводской службы автоматики Жариковского, — не умеет хватать самодуров за горло, а надо.

Жариковский трясущимися руками прятал блокнот в карман. Он растерянно и обиженно бормотал:

— Не ожидал — насмешка вместо помощи. Нехорошо, Александр Яковлевич, могли бы сразу сказать, что не хотите... Простите, если помешал...

Лесков крикнул ему вслед:

— Сообщите Бадигину, что сам приеду на вашу конференцию рассказать о всех помехах!

После ухода Жариковского Лесков вызвал Щукина и Закатова и сообщил им, что на ближайшие месяц-два придется изменить программу, — вместо пневматических регуляторов они будут монтировать запланированные ранее электронные.

— Что электронные, что пневматические — плана не выполним, если Крутилин снова прижмет с оплатой, — печально заметил Щукин.

— Наконец-то мы беремся за ум! — воскликнул Закатов, торжествуя. — Честное слово, Александр Яковлевич, вы сами увидите — электроника даже в сравнение не идет с этими глупыми воздушными насосами.

28

Только сейчас Лесков стал понимать глубокий смысл странного выражения «делать план», ранее представлявшегося ему нелепым. Это выражение, ходившее между хозяйственниками Черного Бора, означало нечто другое, чем просто работать. Впервые услышал его Лесков от Лубянского. Тот первую половину месяца работал, то есть руководил технологическим процессом, принимал людей, следил за ходом ремонтов. А вторую половину месяца он «делал план». Сейчас «делал план» Лесков. Он спешно нагонял потерянные дни; в измерительных лабораториях и монтажной группе была толкотня, стоял шум, в помощь наладчикам были брошены ремонтные рабочие. День складывался из совещаний, звонков, криков, подтягиваний и подстегиваний. Самая откровенная штурмовщина бушевала в стенах лаборатории, и Лесков, неутомимо стремился повысить ее балл: без штурмовщины он не мог справиться с программой. «Отстаньте, нас трясет электронная лихорадка!» — раздраженно охарактеризовал Закатов состояние лаборатории заказчику, обиженному тем, что его забыли.

Лесков знал, что так работать нельзя, хоть все так работали. К его удивлению, эта странная деятельность оказалась приемлемой для окружающих. У него было ощущение, что до сих пор все ему мешали, — теперь отовсюду шла помощь. Он встретился в столовой с Двоеглазовым, тот дружески взял Лескова под руку:

— Зайдите ко мне, — пригласил он. — Подарочек вам заготовили.

Лесков привык к тому, что слово «подарочек» означает неприятность. Но Двоеглазов разъяснил: лаборатория имеет право на финансовые льготы для проектирования и внедрения новой техники, небольшой коэффициент, одна целая и две десятых к смете.

— Кое-что это вам даст, товарищ Лесков, — заверил плановик и торжественно добавил: — Вот видите, имеются законные пути для полезного дела, незачем анархию разводить.

Обрадованный Лесков побежал к Щукину подсчитать, во что выливается неожиданный «подарочек». Кое-что, точно, он давал — больше тридцати тысяч в месяц. Лесков попенял Щукину, что до сих пор не применяли этого спасительного коэффициента.

Старый плановик ответил тонкой улыбкой.

— Даниил Семенович до сих пор не разрешал применять его. Он ведь считает так: приборы заводские, схемы книжные — где тут новаторство? Просто вы ему нравитесь, Александр Яковлевич.

Еще больше поразил Лескова Крутилин. В лабораторию снова примчался Жариковский и сообщил удивительную новость. Крутилин предложил ему составить процентовку работ, проделанных лабораторией. Директор так и выразился: «Ладно, ужимать их не будем, кое-что они делают». — Я составил перечень работ на семьдесят пять процентов сметы, — с жаром делился Жариковский. — Тимофей Петрович, однако, переправил семерку на пятерку, всего вышло пятьдесят пять. Я очень рад, Александр Яковлевич, что кончились недоразумения. Тимофей Петрович очень вас ценит!

Жариковский шумно радовался, он сразу забыл о том, как его недавно принял Лесков и что пришлось ему выслушать о себе. Он видел в подписанном акцепте залог будущего мира. Но Лесков вылил ушат ледяной воды на разгоряченную голову Жариковского. Лесков холодно возразил:

— Вы думаете, Крутилин взялся за ум, потому что оценил автоматику? Боюсь, вы заблуждаетесь, товарищ Жариковский. Вы же сами говорили, что вас вызывал Бадигин. Крутилин боится, что его разнесут в пух и прах на предстоящем партсобрании. И, между прочим, он не ошибается.

Жариковский удалился, растеряв принесенную с собой радость. Он понимал: если Лесков обрушится на Крутилина, ему, Жариковскому, придется всех горше! Крутилин грозен, Лесков бесстрашен, подерутся они — клочья посыплются с него. Он уже жалел, что взобрался на высокую должность начальника службы автоматики. Лучше было пойти мастером в цех: нормированный день и лупят не так больно.

— Подам заявление, пока Лесков под монастырь не подвел, — шептал он горестно. Он вспоминал, как радовался еще недавно своему возвышению и как все его надежды на безбедное и спокойное существование лопнули. — Честное слово, подам!

День проходил за днем, и напряженная работа большого коллектива приносила свои плоды — один регулятор за другим сдавался в эксплуатацию. Наступил день, когда на щите последнего регулятора повисла пломба, поставленная приемщиком — службой автоматики фабрики. День этот был не лишен парадности. Парадность в последнее время стала системой. На верхней площадке часто появлялось начальство разных рангов и калибров, свое и чужое, — все предприятия в Черном Бору интересовались положением в измельчительном цехе: это был первый опыт автоматизации. Внешне все оставалось по-старому. На площадке толкались монтажники и наладчики, ходили классификаторщики, бегали со своими мерными кружками пробоотборщики. Но в производственных отношениях этих людей произошли глубокие изменения. Все они уже не были необходимы в технологическом процессе: функции управления процессом взяли на себя механизмы. И механизмы неплохо справлялись. Лесков, часто теперь приходивший на фабрику, с радостью видел, что автоматическое регулирование день ото дня становится лучше. Он поделился своими впечатлениями с Бахметьевым. Старый рабочий радовался не меньше Лескова.

— Понимаешь, — говорил он с воодушевлением, — ну, просто нечего делать! Разика два за смену до вентиля дотронешься — и все.

— Этих двух разиков тоже не нужно, — отвечал Лесков, с гордостью похлопывая по корпусу регулятора.

Во время этого разговора из диспетчерской сообщили, что Лескова просят в кабинет директора на совещание. Бахметьева тоже пригласили. Он заверил Лескова:

— Не сомневайся, Александр Яковлевич, хаять вашу работу не буду!

Лесков не страшился этого. Он был доволен. Пусть эти электронные регуляторы сложнее пневматических — они действуют, они полностью приняли на себя нехитрые функции человека.

В пути к Лескову и Бахметьеву присоединился Закатов.

Закатов явился в цех, как в театр, — в новом костюме, при галстуке, в ослепительно белой рубашке. Он что-то шептал, идя вслед за Лесковым. Лескову показалось, что Закатов обращается к нему, он спросил:

— Что вы, Михаил Ефимович?

Мысли Закатова были далеко, от ответил рассеянно:

— У меня в руках немало силы, в волосах есть золото и медь...

Лубянский, взяв Лескова под руку, проговорил с радостной улыбкой:

— Покатились по скользкой дорожке автоматизации. Новое горе нашим мамонтам — на регулятор не накричать, взыскания на него не наложить. Немыслимое усложнение руководства, не правда ли?

Кабинет Савчука был переполнен; пришли плановики, механики и бухгалтера, рабочие и мастера сидели с инженерами, дробильщики — с измельчителями, электрики — с флотаторщиками. Савчук открыл совещание словами: «Давайте послушаем технику завтрашнего дня». Закатов доложил результаты испытания регуляторов. Лесков старался не глядеть ему в лицо: он страшился, что и на собрании Закатов от восторга заговорит стихами. Лубянский сообщил, что с сегодняшнего дня регуляторы находятся в его материальном подотчете, — акт приемки подписан.

— Богаче стал на миллион, — сказал он шутливо. — Неприятностей, думаю, будет не меньше...

Савчук насмешливо закончил:

— ... чем на десять миллионов.

Это была не единственная шутка директора фабрики. Лесков видел, что Савчук ведет себя странно. Он задавал каверзные вопросы, допытывался, не помогают ли регуляторам со стороны, точно ли они сами ведут процесс. Его вопросы и реплики как-то снизили парадный тон собрания, теперь отовсюду сыпались критические, замечания. Всем выступавшим Савчук одобрительно кивал головой: казалось, сомнения в работе автоматики были ему по душе так же, как заверения в ее доброкачественности. Все это мало походило на его прежнее поведение.

А потом с речью выступила Ясинская. Лесков слушал ее, поражаясь, как мог он так ошибиться при первом знакомстве, — тогда она показалась ему мягкой и доброй, от нее словно струился свет. Все это был обман, он это выдумал про нее — за столом сидела сухая, черствая женщина. Прав был Лубянский: ее ничто не занимало, кроме собственных цеховых удобств. Она так и сказала:

— Автоматика сама по себе нас мало интересует: даже если одному технологическому переделу она и выгодна, это еще ее не оправдывает: возможно, на других переделах станет не лучше, а хуже.

Нужно, конечно, все это окончательно проверить на практике, — закончила она, обращаясь к Савчуку. Тот слушал с видимым одобрением. — Конкретных возражений против запуска автоматизированного передела у нас нет, а опасения имеются.

Лубянский мстительно прошептал Лескову:

— Что я вам говорил? Полностью спелись Савчук и Ясинская... Деться им некуда, автоматика работает. Представляете, что было бы, если б хоть малейшая неисправность?..

У Лескова создавалось впечатление, что автоматику не принимали в эксплуатацию, а судили. Это так не вязалось с радужным настроением, в котором он пребывал до сих пор, что он не выдержал. После речи Ясинской Лесков встал с твердым намерением дать отпор и ей и другим критикам.

— Мне кажется, мы теряемся в деталях, — заметил он, отвернувшись от места, где сидели Надя с Катей. — Что пользы спрашивать, как будет регулятор вести себя в каждом отдельном случае, надо посмотреть... — Он добавил едко: — Не интересуемся же мы заранее, как поведет себя щенок на волне, а бросаем его прямо в воду — пусть плавает... Всех возможных вариантов заранее не сосчитать, дело это напрасное.

Савчук и ему добродушно закивал головой, словно Лесков говорил то самое, чего он от Лескова ждал. Заключая обсуждение, Савчук встал и, не начиная речи, засмеялся. И весь зал ответил ему смехом: видимо, улыбки директора казались присутствующим более ясными, чем его слова. Даже Лесков не удержался от смеха. «Ах, черти! — сказала улыбка Савчука. — Горло перегрызут за свою автоматику!»

— Ну, что же, товарищи, — проговорил Савчук. — В воду прыгнули, пойдем теперь бултыхаться.

Лескову, уже после собрания, Савчук сказал с одобрением:

— С вас магарыч, лаборатория, ставьте за каждый регулятор бутылку. Первая от вас реальная польза, до сих пор вы подавали только надежды и счета.

У выхода Лесков столкнулся с Надей. Катя разговаривала с Закатовым, держа подругу под руку. Закатов склонялся перед девушками, даже со стороны было заметно, что он рассыпается в комплиментах. Лесков хотел пройти мимо, но Закатов его остановил.

— Товарищи пожелали основательней познакомиться с работой регуляторов, — сказал он с увлечением. — По-моему, очень неплохо, как вы думаете, Александр Яковлевич? Надо бы пройти в цех и растолковать на месте.

— Мне кажется, Надежда Осиповна уже составила себе мнение о регуляторах, — холодно ответил Лесков. — Во всяком случае, она высказала его публично и определенно: выгод от них пока нет, а неприятности большие.

Надя, вспыхнув, хотела возразить, но Лесков не дал. Он закончил с раздражением:

— Не думаю, чтобы вы, Михаил Ефимович, могли что-нибудь добавить к этому нового...

— Как можно так говорить? — с негодованием воскликнула Надя. — Ничего подобного я не думала...

Лесков возразил вежливо и непреклонно:

— Возможно, я плохо расслышал. Правда, до сих пор мне на слух не приходилось жаловаться.

В их спор с живостью вмешалась Катя.

— Хватит, Надя! — воскликнула она с досадой. — Говорила же я тебе, не надо резко выступать на совещании. И вы тоже! — обратилась она к Лескову. — Неужели в самом деле вас ничто не интересует, кроме регуляторов? Георгий Семенович уверяет, что вы еще ни разу не были в кино. Просто страшно поверить, что такое возможно.

Лесков, раздосадованный, пробормотал, что он здесь человек новый. В кино ходят с хорошими знакомыми, хороших знакомых он пока не завел. Вообще кино его мало интересует.

Катя настойчиво продолжала, не обращая внимания на то, что рассерженная Надя тянула ее за собой:

— Молодые люди ходят в кино с девушками, а не с хорошими знакомыми. Слушайте, а если я вас приглашу, вы пойдете? Мне ужасно хочется с вами пойти!

Она выговорила это скороговоркой, словно боялась, что если сама вслушается в свои слова, то у нее не хватит смелости досказать. Лесков раздраженно взглянул на нее, все это слишком походило на насмешку. Но Катя уже раскаивалась, она с таким явным страхом ждала его ответа, что он рассмеялся. И сейчас же она захохотала в ответ, звонко и облегченно. Надя с досадой сказала:

— Что за дикий разговор! Слушать неприятно.

Катя воскликнула:

— Вовсе не дикий, Надя! Почему мужчины могут приглашать женщин, а женщины мужчин нет? По-моему, равноправие так равноправие.

Лесков великодушно пришел к ней на помощь.

— Я очень благодарен вам за приглашение. Если выберется свободный час, обязательно пойду с вами. Сейчас не могу: работы по горло.

Катя торжествующе сказала Наде:

— Ну, вот видишь?

К ним подошел Лубянский. Он подозрительно, взглянул на раскрасневшуюся Катю.

Надя, поняв, что подругу не увести, кивнула головой Закатову, и, не прощаясь с Лесковым, отошла. Лесков не торопясь пошел с Закатовым в цех, оставив Катю с Лубянским.

Лубянский недовольно спросил:

— Что у вас тут происходило, Катя?

Она ответила небрежно:

— Ничего особенного, Георгий Семенович. Я призналась вашему Лескову, что он меня интересует, и пригласила его в кино. Он, конечно, отказался. Теперь придется идти с вами, как это ни скучно.

Лубянский сделал шаг назад.

— Вам не придется скучать, Катя: я не сумею пойти.

— Вот еще! — возмутилась Катя. — Это почему, объясните?

— Объясню вашими же обычными словами: поведение ваше мне не нравится, — холодно сказал Лубянский.

Катя сердито передернула плечами. Она вошла в диспетчерскую и вызвала главный транспортер.

— Симочка! — крикнула она. — Ты? Нет, все мельницы работают, руды хватает. Я о другом: как у тебя поведение?

Из трубки донесся глухой ответ:

— Великолепное, на пять с хвостиком.

Она закончила:

— Тогда приглашаю сегодня в кино, билеты достаешь ты. Положи трубку, Сима!

В это время Лесков сумрачно говорил Закатову:

— Черт знает что, собирались, как на праздник, а, ушли, как с похорон. Все настроение испортили. Знаете, Михаил Ефимович, я вас попрошу каждый день сюда приходить. Все-таки первые регуляторы, неожиданностей не должно быть. Сами видите, встречают их вовсе не радостно.

Закатову поведение Савчука и Нади казалось вполне естественным.

— Обычные директорские сомнения, Александр Яковлевич, — уверял он. — Что вы, хозяйственников не знаете? Им новое страшно. А Ясинской тем более. При удаче похвал ей не достанется, а при неуспехе шишек хватит. Я в регуляторах уверен — ломовая лошадь, а не прибор...

Он остановился перед самописцем, что-то мурлыча про себя. Лесков смотрел на диаграмму, кривая шла хорошо, лучшего нельзя было желать. Но Лесков ничего не мог с собой поделать: у него было скверно на душе.

29

Видимо, это были пустые страхи. Регуляторы работали безотказно. Закатов приходил на фабрику утром, просиживал здесь вечера, появлялся ночью, чтоб побывать во всех сменах. Он звонил Лескову, что в цехе стало скучно: ни людей, ни происшествий.

— Катя Яковец о вас спрашивает, интересуется, когда у вас свободное время найдется, — докладывал он.

Лесков понемногу забывал о своих опасениях. Шли дни, на каждый новый день хватало своих забот. К концу месяца и Закатов вернулся в лабораторию, на фабрике оставался один Селиков.

Лесков теперь деятельно занимался доработкой пневматического регулятора. Для испытаний его он пригласил Галана, но тот опять отговорился занятостью. Лесков сам уселся за стенд. Ему помогала Анюта. Испытание проходило неровно: новый дифманометр, разработанный конструкторским бюро, оказался таким же нечувствительным, как и прибор Галана, его все время приходилось переделывать. Лесков работал с увлечением, но потом начал злиться на постоянные неудачи. Несколько раз он пробовал консультироваться с Галаном по телефону и, раздосадованный, бросал трубку: Галан мямлил что-то невразумительное или давал неисполнимые советы. Лесков удивлялся его равнодушию. Но наступил день, когда в наладке обозначился перелом. Переделанный регулятор принесли из мастерской к вечеру. Анюта сама установила его на стенде и забыла о времени и ожидавшем ее муже. Лесков в этот вечер задержался в управлении и вошел в наладочную посмотреть новую модель. По взволнованному лицу Анюты он сразу сообразил, как идут дела.

— Ладно, не томите, — быстро сказал он. — Получается?

— Все в норме! — воскликнула она радостно. — Даже лучше нормы!

— Слушайте! — сказал он горячо. — Если это правда я вас тут же расцелую, а потом жалуйтесь хоть мужу, хоть прокурору!

Анюта отвернулась, ничего не ответив. У нее дрожали руки, она вдруг запуталась в электрической и трубной проводке, забыла, что куда подключено. Движения ее стали импульсивными: стрелка прыгала и металась, вместо того, чтобы плавно передвигаться:

— Дайте я сам. — Лесков нахмурился. — Вы слишком верная жена, чтобы уложить регулятор в норму.

Он прогонял раз за разом стрелку по шкале — это был настоящий прибор, не кустарное изделие, его можно было предъявить любому государственному поверителю. Лесков повернулся к Анюте. Она смотрела на него растерянными глазами. Полный восторга, он схватил ее за плечи, расцеловал в обе щеки. Она вся потянулась к нему, закрыла глаза, горячие большие губы коснулись его губ, он слышал через платье, как, стучало ее сердце. Взволнованный, как и она, он все крепче сжимал ее, все горячей целовал. Потом послышался скрип наружной двери, и они отскочили друг от друга. Анюта склонилась над стендом, длинные волосы закрыли ее лицо. В комнату вошел наладчик и равнодушно прошел в конторку.

— Очень неплохой прибор, — проговорил Лесков нарочито громким голосом. — Завтра мы его обследуем по форме. Как, по-вашему, Анюта, не пора ли по домам?

— Идемте, — прошептала Анюта, не поднимая головы.

На улице было мало прохожих, и она осмелела. Лесков вел ее под руку, она все тесней прижималась к нему. Но он уже успокоился. Он упрекал себя: «Свинья! Ты же ее не любишь, к чему эти заигрывания?» Все же кровь горячим потоком еще обегала его тело. У дома Галана он долго благодарно жал ее руку. Благодарил он ее за то, что наладка наконец удалась, но она поняла это так, как ей хотелось, и, счастливая, мигом взбежала на четвертый этаж и кинулась прямо на шею мужу, открывшему дверь.

— Доча, доча, — говорил ошеломленный Галан. — Да что случилось с тобой? Что, скажи?

Этого она как раз и не могла сказать. Но счастье кипело в ней и требовало выхода. Путаясь от нетерпения, она рассказала об удаче с прибором. Галан знал, что Анюта способна рыдать и бить посуду, если не удалась градуировка какого-нибудь сто раз ремонтированного потенциометра, и ликовать, как мальчишка, выпущенный на солнце, если дела идут хорошо. Он успокоился за нее. Зато тем больше беспокоил его дифманометр. Галан стал умело допытываться, как шла градуировка, как разбрасывались показания. Да, все правильно, прибор, кажется, у них получился.

— Ну, молодцы, молодцы! — сказал он сердечно и поцеловал жену, потом не удержался и ехидно пошутил: — Однако, знаешь, молодец против овец, а против молодца сам овца. Завтра на свежую голову посмотри внимательней, может, что обернется не так.

Только ликование, бушевавшее в Анюте, спасло Галана от возмездия за такие слова. За ужином Анюта могла говорить лишь о том, как она возилась с прибором и как все неожиданно хорошо пошло. Сын Филипп, веселый и умный мальчишка трех лет, баловень соседей (Галан был от него без ума: в прошлом, от первой жены, у него были только дочери, теперь уже взрослые девицы), сейчас крепко спал. Анюта несколько раз подбегала к сыну, тискала и целовала его и чуть не разбудила. Галан ласково оттащил ее от кроватки. А в постели она так бурно ласкала мужа, была так нежна, что он опять встревожился. Он осторожно пустился в новые расспросы. Разумеется, он уверен, что Анюта права, но для порядка нужно бы ей проделать всю серию измерений не в одиночку, а еще с кем-нибудь, скажем, с Закатовым.

— Да я не одна измеряла, — пояснила не умевшая лгать Анюта. — Я же тебе говорила, пришел Лесков, он повторил все мои определения, поэтому я и задержалась.

— Ну, это — другое дело, — успокоенно сказал Галан. — Если бы я знал, что он тебя проводит, я бы так не тревожился.

— Он проводил меня до дома, — подтвердила Анюта. — Благодарил за удачу, очень, очень...

Она не сообщала, как Лесков поблагодарил ее, но проницательный Галан понимал, что дело, возможно, не ограничилось одними любезными фразами. Он мрачно слушал болтовню Анюты. Нет, сложно, сложно... Сперва подходы Закатова нейтрализуй, теперь Лесков появился. И если говорить начистоту, то с Закатовым не так уж трудно: этот только стихи признает да нежные взгляды. Пока он расшевелится на что-нибудь серьезное, его три раза можно усадить в грязь. А Лесков — штучка, это сразу видать. У такого к женщинам свой подход, смотри, ни одного слова не повторила, как он поблагодарил... Нет, когда у человека умелый подход, бороться с ним трудно. Лучше бы, конечно, перевести Анюту из лаборатории в более спокойное место, он давно уже подумывает об этом. Да разве существуют спокойные места для неспокойных людей?

— Ты что молчишь, Александр Ипполитович? — окликнула его удивленная Анюта. — Заснул, что ли?

— Думаю, — неохотно ответил Галан. — О людях думаю. Сложная и неверная штука — человек.

И он подробно развил перед заинтересованной женой свою мысль. Вот этот Лесков. Ничего не скажешь, очень дельный и толковый инженер: и смелость, и энергия, и талант («Удивительно талантливый инженер, удивительно!» — горячо отозвалась Анюта). Между прочим, он и собой недурен, на такого парня девушки заглядываются («Все заглядываются!» — поддержала жена и от радости, что впечатления мужа так близко совпадают с ее собственными, обняла его и благодарно поцеловала). А в людях Лесков не разбирается. И не ценит людей. Молодой, а уже циник («Да как ты смеешь?» — возмутилась жена). Правда, доча, правда. Прохвоста Селикова хвалит, а хороших людей унижает. Вот, например, ты. Всей душой ему навстречу, потому что любишь дело, а он совсем по-другому это принимает. Нехорошо говорить, но раз уж пришлось к слову, так лучше всю правду выложить, чтоб от незнания ты не попала в неприятность. Третьего дня Лесков беседовал с Делопутом — они ведь друзья, — всех работников лаборатории перебрали, и вот о тебе Лесков сказал так: лаборант хороший и собой ничего, только легкомысленна: на всех заглядывается, чуть ли не каждому на шею готова броситься. Что говорить о Делопуте, он человек черствый, а и тот весь затрясся от возмущения! Ты чего, доча?

— Отстань! — сурово сказала Анюта. — Надоели твои сплетни. Спи. Ненавижу всех Делопутов!

Галан скоро уснул. А Анюта ворочалась, то беззвучно плакала, то в бессильном ожесточении била кулаком подушку. Она не знала, любит ли она еще кого-нибудь, но в том, что страстно ненавидит, уже не сомневалась. Скорбные мысли одолели ее. Какие все-таки свиньи мужчины! Ни один не стоит любви, ни один!

А затем разразилась буря.

30

Даже телефон звонил необычно долго. Лесков услышал нетерпеливый голос Селикова, он просил Закатова приехать на фабрику..

— Что случилось? — спросил встревоженный Лесков. — Какая-нибудь авария с регуляторами?

Селиков отвечал неопределенно. Ничего особенного не случилось. Пусть Михаил Ефимович немедленно бросает все другие дела. Лесков позвал Закатова. Тот был удивлен не меньше Лескова. Еще сегодня утром все шло хорошо, он сам звонил Кате. Наверно, какие-нибудь неполадки в электрохозяйстве — посадка напряжения или пробки пережгли.

— Нет, — возразил озабоченный Лесков. — По таким пустякам Селиков не стал бы беспокоить нас. Тут что-то по-настоящему серьезное. Прошу вас позвонить сразу, как придете в цех.

Закатов позвонил через два часа. Он был бодр и весел. Да, были неприятности, теперь все уладилось. Мельницы меняют режим, и регуляторы сразу не справляются. Можете не приезжать, Александр Яковлевич, обойдемся без вас.

— В середине дня опять позвоните, — потребовал Лесков. — Если регулирование разладится, я сам выеду на фабрику.

— Ну и Фома вы неверующий! — послышался нетерпеливый голос Закатова. — Говорю вам, чепуха!

Уже через несколько минут Лесков забыл об этом происшествии. Вспоминая потом начало этих тревожных дней, Лесков удивлялся себе: его занимали пустяки, он вел себя легкомысленно в те самые часы, когда над создаваемым им зданием нависла грозная опасность полного развала. До обеда он проводил совещания, после обеда сидел в наладочной. Он долго помнил, с какой неохотой, тревогой и смущением переступал порог этой комнаты, как не решался туда идти, хотя идти было нужно. Он морщился и ругал себя за вчерашний необдуманный поступок. Анюта, вероятно, все приняла всерьез, придется объясняться, может, даже извиниться, и еще неизвестно, как она отнесется к извинению! Лесков, поеживаясь, вспоминал, как она отскочила, когда вошел наладчик, с каким трепетом подала руку при прощании, как радостно взбегала потом по лестнице. Черт возьми, только этого не хватает, вдруг возьмет и влюбится! Вот будет история: Лесков заводит интрижки с замужними сотрудницами.

Лесков передернулся от стыда при этой мысли. Он вспомнил об Анечке, там тоже было что-то похожее, — поводов он, кажется, никаких ей не давал, а получилось, что он чуть ли не оскорбил хорошую девушку черствым, отношением к ее чувствам. Лесков достал из стола письма Анечки, их было три. На два он ответил вежливо-равнодушными отписками, на третье ответить не успел. Анечка больше не писала, очевидно, глубоко обиделась!

— Это даже лучше, — сказал себе Лесков, пряча письма. — Ненужная переписка. Надо — строже следить за собой, чтоб не сделать чего-нибудь, что можно неверно истолковать. Женщины жутко преувеличивают!

Он пошел в наладочную с твердым намерением по-хорошему объясниться с Анютой. Но, к его облегчению, объяснений не потребовалось. От вчерашнего ликующего настроения Анюты не осталось и следа. Она еле поздоровалась с Лесковым, холодно от него отвернулась. Он сел за стенд, попросил помочь. Анюта подавала ему инструменты, включала и выключала воздух. Все это она делала, не глядя на Лескова, ему приходилось по два раза повторять свои просьбы. Увлеченный исследованием прибора, он нетерпеливо ей сказал:, — Да что с вами, Анюта? Вы плохо слышите?

Она враждебно ответила:

— Слышу я хорошо. А что со мной, вам лучше известно: вы ведь так хорошо разбираетесь в характерах людей!

Он понял, что она намекает на его вчерашнее поведение, и решил держаться еще осторожней. Он подумал с веселым удовлетворением: «Ага, ей тоже не нравится вчерашнее, тем лучше, тем лучше! Похоже она опасается, что я буду назойлив. Ну, в этом мы ее быстро разуверим».

Лесков до конца дня уже не вспоминал о фабрике, звонков от Закатова не было. Домой он возвратился поздно и застал унылого Лубянского. От него Лесков узнал, что дело много серьезней, чем предполагали. Путаница продолжалась и после утреннего звонка Закатова в лабораторию. Процесс три часа прыгал, как встрепанный. Закатов с Селиковым метались от одного регулятора к другому. Теперь как будто все вошло в норму, только надолго ли?

— Загляните завтра на фабрику, — посоветовал Лубянский. — Знаете, на Закатова во время разладок жалко смотреть. Человек он грамотный, но теряется среди пустяков. С мельниц хлынули густые массы пульпы, а он кинулся вывинчивать электронные лампочки, говорит: «Эмиссия села!» Вчера у них с Селиковым чуть до драки не дошло. Этот Сережа ваш не очень стесняется.

— Обязательно приду, — сказал Лесков.

В тревоге он кинулся к телефону — разыскивать Закатова. Несмотря на поздний час, Закатов отыскался на классификаторах. Он сообщил, что весь день безвыходно провел в цеху и теперь идет спать. Не звонил он, чтоб не порождать напрасной тревоги. Сейчас все наладилось, регуляторы ведут процесс безукоризненно. Утром он придет до сдачи смены и, если что-нибудь забарахлит, немедленно вызовет Лескова.

— При любом состоянии дел звоните, — потребовал Лесков. Заверения Закатова его мало успокоили.

Утром он все же поехал в лабораторию, а не на фабрику: нужно было срочно доканчивать составление плана на текущий месяц. Но заняться планом не удалось. Идя по коридору, Лесков слышал, как неистово заливается телефон в его запертом кабинете. Сердитый голос Закатова крикнул в трубке:

— Целый час звоню, что за отвратительная привычка — приходить на работу точно к девяти!

Таким тоном вежливый Закатов еще ни разу не разговаривал со своим начальником.

— Когда вы пришли в цех? Что с регуляторами? — допрашивал Лесков.

— Я и не уходил, — донесся усталый ответ. — По телефону ничего объяснять не буду. Немедленно приезжайте.

Через двадцать минут Лесков уже взбирался на площадку. На диаграммах всех приборов виднелись следы колебательных явлений. Это были резкие скачки, неожиданно возникавшие и продолжавшиеся минут двадцать, тридцать, — тонкие черточки длиною в пять-восемь миллиметров каждая. Но за этими миллиметрами скрывались тонны пульпы, кубометры воды! Процесс лихорадочно пульсировал, в классификаторах, в баках, во флотационных машинах то нарастали, то спадали огромные объемы материалов.

На площадке никого не было видно. Лесков вначале удивился, ему казалось, что он застанет здесь толпу возмущенных и негодующих людей. Но потом он вспомнил, что классификаторщики сокращены в связи с внедрением автоматики, а начальство сидит на планерке. Навстречу Лескову вышел Закатов. Лесков поразился, до чего одни тревожные сутки могут довести человека. У Закатова ввалились щеки, глаза были красны от усталости.

— Любуйтесь! — сказал он горько, забыв поздороваться. — Пляска снятого Витта, а не регулирование. Проклятые мельницы каждые полчаса меняют режим, а наши регуляторы отвечают колебаниями объемов воды. Вчера до того взбесился, что хотел ломом переломать все исполнительные механизмы..

— Успокойтесь! — сказал Лесков. — Раздражение — плохой советчик. Где Селиков?

— Спит, — сердито буркнул Закатов. — Завалился в конторке и задает храпака. Нашел время спать!

— Так же, как и вы, он сутки не выхолил из цеха, — напомнил Лесков. — Знаете что, Михаил Ефимович, сравним работу отдельных агрегатов. Но только без эмоций. Анализ и расчет, больше ничего!

Но сравнивать было нечего: все регуляторы вели себя одинаково плохо, это было не случайное явление. Закатов имел готовое объяснение и поспешил изложить его Лескову.

— Черт знает, что такое! — сказал он злобно. — Измельчители нарочно путают процесс. Вы посмотрите: то тридцать тонн в час, то шестьдесят, где же здесь порядок? Я требую, чтоб им дали наконец понять: нельзя работать по-дедовски.

— Я пойду на мельницы, — решил Лесков. — Вы со мной?

— Нет, начну снова перестраивать автоматы. Я заметил, что при хорошей настройке колебательный процесс продолжается не больше десяти минут. Лубянский говорит, что это приемлемо. Буду добиваться десяти минут.

Лесков прошел на мельницы. Он не заметил непорядка в их работе. Барабаны крутились, стальные шары грохотали, перемалывая руду. Лесков обошел несколько секций, записывая производительность. Она менялась, одни мельницы мололи сорок тонн в час, другие — пятьдесят пять. На второй секции Лесков встретил знакомого измельчителя, лысого Николая Сухова.

— Здравствуйте! — приветливо сказал Лесков, протягивая руку. — Что ж это вы, товарищи, подводите нашу автоматику?

К Сухову, похоже, уже обращались с подобными претензиями. Он раздраженно блеснул злыми глазами.

— Ни к чертовой матери не годится ваша автоматика! — ответил он хриплым, плохо слышным в грохоте мельниц голосом. — Наплачешься с ней! Машина и есть машина, ничего не соображает!

Лесков видел, что Сухов настроен агрессивно. Он заранее встречал в штыки всякую попытку убедить его в чем-то, чего он до, сих пор не знал. Но Лесков не собирался ни убеждать, ни спорить. Он дружески положил руку на плечо рабочему.

— Слушайте, товарищ Сухов, зачем нам ругаться? Я пришел сюда учиться, а не диктовать свою волю. Регуляторы не справляются с процессом. Нас интересует, почему. Что нужно сделать, чтобы они заработали по-хорошему? Вот, говорят, требуется постоянный режим измельчения. Как ваше мнение?

Рабочий слушал хмуро и недоверчиво. Он уже не сердился, но и не переходил на дружелюбный тон. Он сказал ворчливо:

— Не годится нам постоянный режим. Мы ведем мельницу на максимуме и следим: как пошла на завал, сейчас же сбрасываем подачи руды. Это тебе не автомат, чувствовать мельницу надо! Ровный режим знаешь когда идет? При недогрузке. И еще возьми, руда меняется три раза на дню, то одна крупность, то другая. Для одной руды режим хороший, для другой мельница не справляется, глохнет. Глупость это, постоянная производительность! — Он с презрением посмотрел на Лескова. — Была бы руда постоянная, так и вовсе автоматы ваши не нужны: отрегулируй разок воду и убирайся. Не так, скажешь?

— Так, — согласился Лесков. Он невесело усмехнулся. Да, действительно, все это цепочка, единый процесс — руда, дробилки, мельницы, классификаторы, флотация. Малейшее изменение в одном звене сейчас же передается по всей цепи. А они вырвали одно и далеко не решающее звено и трясутся над ним, забыв, что это только маленькая частица целого.

— Дубина ваш автомат! — желчно сказал рабочий. — С дядей Федей у нас шло, а с регулятором не пойдет. Дядя Федя знал, что нужно. Он воду подкрутит, на одном корыте пустит жиже, на другом погуще, в среднем и получится, как надо. А если не справится, выйдет на помост и задаст нам как следует! И мы понимаем: раз дядя Федя ругается, точно, нужно менять подачу руды.

И это тоже было правильно. Лесков вспомнил, как дядя Федя, удивляясь хорошему действию регуляторов, говорил, что только разика два в смену приводится вмешиваться в их работу. Эти два разика были, оказывается, необходимостью. Могучий, все охватывающий мозг человека поправлял узкую работу автомата, слепо выполняющего заданную ему программу. Ныне они отсутствуют, эти коррективы человеческого разума, — Лескову они казались нехитрыми распоряжениями малоквалифицированного рабочего. И вот результат: регуляторы пытаются держаться предписанной однообразной линии и, путаясь, не справляются с процессом. У них нет мозга, нет языка, они не соображают, что из нарушений процесса можно пропустить, а чего нельзя, они не выйдут на край помоста и не обругают слишком увлекшегося измельчителя. Все ясно, все правильно.

— Но почему же вначале регуляторы вели процесс? — помолчав, спросил Лесков.

Сухов фыркнул.

— Почему? — переспросил он. — А ты спроси Лубянского. Показуху устроил товарищ Лубянский. К пуску автоматики готовились, как к престольному празднику. Все расписали: какую руду молоть, сколько тонн держать, около мельницы инженеры ходили, как бы, не дай бог, лишку на транспортеры не переложить. Так, говорю, и без регуляторов хорошо пойдет, а ты в сводки загляни: в дни испытаний процентов на пять продукции недодали. Я сегодня в бухгалтерию, забежал, рублей на сто, говорят, выдадут меньше в этом месяце. Вот она, твоя автоматика!

Он повернулся, собираясь уходить. Лесков задержал его.

— Скажите, Николай, на какую работу перевели дядю Федю?

Сухов пронзительно взглянул на Лескова.

— Дядю Федю? А будто не знаешь? На улицу вышибли дядю Федю! Молодых взяли на строительство, переучиваться будут. А старику куда податься? В сторожа предложили — ему обидно, да и зарплата — треть прежней. Кто-то ему напевал, что с автоматикой жить легче будет. Да легче, и работа полегче и зарплата облегченная! — измельчитель проговорил с горечью: — Начальник кадров, знаешь, как ему растолковал? Безработицы у нас нет, в масштабе Советского Союза мы тебя всегда устроим по специальности, а на фабрике, извини, нет для тебя подходящего места...

Лесков возвратился на классификаторы с тяжелым чувством. Все было неприятно в этом разговоре с измельчителем: и сообщение о дяде Феде и критика регуляторов. Но разговор был важен. Лесков видел коренной просчет схемы регулирования — не его одного, их общую ошибку. Видел он, еще неясно, и правильный путь и поеживался: путь был тяжек и нескор. У одного из щитов Закатов с проснувшимся Селиковым регулировал исполнительный механизм. У Селикова был раздраженный вид, а Закатов повеселел: видно было, что регулирование сейчас идет лучше.

— Кажется, мы нашли загвоздку, — бодро сообщил он. — Все дело в том, что чувствительности не хватало.

— Вздор, Михаил Ефимович! — угрюмо сказал Селиков. — Испытывали мы ночью этот вариант — ничего не дает. Пустую работу делаем.

— Исполняйте, что вам приказывают, Сережа! — возмутился Закатов, — В конце концов, в каждом деле должна быть одна голова, а не двадцать.

Селиков пожал плечами и выразительно посмотрел на голову Закатова. Лесков не вмешивался в их спор. Кое-что может оказаться лучше, кое-что хуже, но это не отменит определяющего факта — они напутали в главном, они автоматизировали второстепенное звено цепи, а цепь как была, так и осталась. И он, Лесков, хорош! Сравнивал электронику и пневматику, высчитывал, сколько месяцев простоит тот прибор и сколько этот, а не решил того, что единственно нужно было решить: годятся ли вообще эти приборы? Они спорили о замке — внутренний или наружный лучше запирает двери, — но забыли поинтересоваться, имеются ли эти двери, для которых подбирают замок.

На площадке появились Лубянский и Надя, оба в брезентовых куртках. Надя сухо поздоровалась с Селиковым и еле кивнула головой Лескову и Закатову.

— Поглядите, что творится на флотации, — сердито говорила она Лубянскому. — Настоящий сумасшедший дом!.

Лубянский спросил Закатова:

— Ну, как? Идет регулирование?

— Идет, — сообщил Закатов. — Мы тут обнаружили коренную причину всех неполадок: чувствительности не хватало.

Надя презрительно рассмеялась.

— Насколько я заметила, — насмешливо обратилась она к Закатову, — вы каждые два часа находите истинную причину неполадок, и каждый раз оказывается, что это не та причина. Уж сказали бы прямо, что приборы не справляются с процессом.

Зякатов бурно запротестовал. В спор вступил Селиков. Насупившись, он грубовато бросил:

— Ладно, Надюша, давайте не будем! Скоро все наладим. В общем, топайте, а мы повозимся.

Надя с гневом повернулась к Селикову. — Я уже вчера предупредила вас, меня зовут Надеждой Осиповной. И топать я не собираюсь, я не топаю, а хожу. А сейчас я предъявляю официальную претензию. Я спрашиваю, когда кончится этот кошмар автоматики.

Селиков покраснел: он не ожидал такого отпора. Надя отвернулась от него. На площадке показался Савчук. Он тяжело шагал между классификаторами, останавливался у каждого корыта. За его спиной виднелось румяное лицо Кати; глаза её были широко раскрыты, в нетерпении она старалась сразу все охватить: диаграммы на приборах, воду в классификаторах, лица спорящих. Она издали закивала Наде и Лескову и, оторвавшись от Савчука, побежала к ним.

— Ужас что такое! — шепнула она торопливо. — Звонит Крутилин. Ругаются с никелевого завода. Только что Кабаков разносил Савчука. Если сегодня не наладите, половина комбината остановится. Я тоже прибежала посмотреть, как вы справляетесь.

Савчук наконец доорался до стоявших на площадке. Он укоризненно заговорил, ни на кого не глядя:

— Советовал: никого не сокращайте, пока не отработали схему. Нет, своя голова умнее! А сейчас что будет, дорогие Георгий Семенович и Надежда Осиповна? Вот сосчитано, за последние сутки на двести тысяч рублей ценнейших металлов вывалили сверх нормы в отвалы, так, за зря живешь! Кто виноват? Никто не виноват — автоматы. Эти автоматы все вместе того не стоят, что они за неделю напортят. Ну, герои, как вашу сверхтехнику поправлять будем?

Как ни был он сердит, он не удержался от шутки, улыбка тронула, словно штрихом, его лицо. Он переводил глаза с Лубянского на Надю, с Нади на Лескова. Лубянский твердо сказал:

— Я уже докладывал вам, устанавливаем строгий режим измельчения. Никаких прыжков вверх и вниз! Заданная производительность. Очень прошу не отменять моих распоряжений, сколько бы вам ни жаловались. Плановое задание по помолу руды выдержу, это обещаю.

Надя в ответ на взгляд Савчука, сказала, пожимая плечами:

— У нас одна претензия: слишком колеблются объемы пульпы, не успеваем регулировать флотационные машины.

Лесков молчал. Савчук прямо спросил:

— Ты, именинник, что ж молчишь, товарищ Лесков? Могут твои регуляторы поддерживать постоянство объемов? Учти, лишнюю пульпу сливать некуда, гоним в отвалы.

Лесков ответил:

— Боюсь, автоматы не смогут вести процесс так, чтоб всегда была одна и та же плотность и один и тот же объем. Человек этого тоже не мог: он менял то плотность, то объем, он регулировал гибко, но не точно.

Надя нетерпеливо сказала:

— Не возражаю, чтобы ваши автоматы регулировали так же неточно, как дядя Федя, — он никогда не заливал наши машины выше краев.

— Что же, можно попробовать, — угрюмо согласился Лесков. Он обратился к Закатову: — Прошу перевести все приборы на минимальную чувствительность. — Закатов и Селиков разом запротестовали. Лесков оборвал их: — Спорить будем потом!

Он отошел к помосту. Закатов и Селиков переходили от прибора к прибору, меняя чувствительность регуляторов. В ответ на это на диаграммах исчезали колебательные явления, но строгая линия плотности становилась неровной, волнистой кривой, уходившей то вверх, то вниз от заданного предела. Надя побежала проверять, как отразится на флотации новое задание регуляторам, Катя ушла с нею. Лубянский ходил с Закатовым — он держался подальше от Савчука. Савчук подошел к сосредоточенному Лескову, облокотился, как и тот, на помост, Савчук уже справился с плохим настроением, на лице его блуждала обычная усмешка.

— Блин-то наш комом! — проговорил он, кивнув на автоматы. — Чуяло мое сердце, когда Лубянский пустился в восхваления на собрании. Помнишь, стал вас осаживать? Но чтоб такой страшенный ком, не ожидал! Десяток вздорных механизмов весь процесс на фабрике запутал. Нужно что-то радикальное предпринять, Александр Яковлевич.

— Собираетесь снимать регуляторы? — сухо осведомился Лесков. — Мероприятие радикальное — возвращение к испытанному ручному процессу.

Он глядел на приборы, отвернувшись от Савчука. Директор фабрики молчал, Лесков слышал его шумное дыхание. Савчук наконец ответил осторожно и неопределенно:

— Нет, зачем же все снимать? А может, разредить их: часть процесса — автоматы, часть — люди? Слишком уж крутой скачок — сразу ни одного человека!

Лесков нетерпеливо и возбужденно заговорил:

— Скачок? Шажок это, а не скачок! Все неполадки именно оттого, что нет скачка. На одном узле механизмы, а позади, с боков, впереди люди, те же рабочие. А автомат на них не крикнет, как дядя Федя, не придет ругаться, как Надежда Осиповна, не позвонит по телефону, как диспетчер Катя. Вот где наш просчет: поставили механизм на место рабочего, а способностей человека ему не придали. Он знает одну функцию, тогда как человек, им замененный, знал десять. А вы предлагаете и ту единственную функцию, которую ведет автомат, еще урезать. Нет, это не решение! Все, что делал, человек, должен делать автомат, больше должен делать, и он может больше! Не один автомат поставить на технологической цепочке, а десятки, на каждом узле свой: на бункерах, на дробилках, на транспортерах, на мельницах, на классификаторах, на флотации, в диспетчерской! И всех их связать сигналами и командами, чтобы они как люди, поправляли взаимно ошибки, чтоб автомат на флотации мог рявкнуть на регулятора плотности, на измельчительный регулятор: «А ну, давай!» Или: «Хватит, придержись!» Вот куда нужно направиться — настоящую революцию развернуть, все остальное — дипломатия, а не техника.

И, не давая Савчуку вставить слово, Лесков с раздражением закончил:

— Вы, конечно, думаете: с одним узлом провалились, теперь весь процесс собрались завалить. Думайте, как хотите, убедить можно фактами, а фактов у меня нет — одна теория. Знаю, что теория моя для вас, как горох об стену. Вы одно понимаете — план выполнять, за невыполнение могут с высокого поста сбросить. Все производственники таковы, это я уже успел изучить.

Савчук возразил:

— Почему же горох об стену? Факты я вижу. Автоматы, хоть и неважно, а заменяют человека — это факт. — Он покрутил головой и рассмеялся. — И насчет плана тоже правильно — разика два провали план, обязательно полетишь, и чем выше место, тем круче полет. — Он хитро поглядел на Лескова. — Как думаешь, Александр Яковлевич, сколько директоров фабрики прогонят, пока ты свою программу всеобщей автоматизации осуществишь? Думаю, прими я ее, одним мной дело не обойдется.

Лесков мрачно отозвался:

— В том-то и штука — люди страшатся за себя. Успех будет только в конце, а неудачи подстерегают на каждом шагу — труден путь к успеху.

Они опять замолчали. С лица директора сползла обычная усмешка, он нахмурился, потом сказал:

— Ладно, мысль в этом есть — всю цепочку автоматизировать. И, может, правильно — тут решение. Ну, что же, Александр Яковлевич, давай сговоримся: пока не погонят меня с фабрики за провалы плана, буду тебе помогать. У тебя по этой части уже что-нибудь конкретное или одна голая идея?

Лесков поспешно сказал:

— Все будет конкретно.

— Давай, — кивнул головой Савчук. — А регуляторы свои пока придерживай, чтоб не очень буйствовали.

Он спустился по лесенке в нижнее отделение. Из-за колонны вышли Закатов с Лубянским. Закатов присел на деревянную лестничку, Лубянский встал около Лескова. Он был взволнован и рассержен.

— Волки, а не люди! — сказал он злобно. — Хоть бы у одного нашлось понимание сути, ведь на новую ступень поднимаемся! Ничего подобного, видят только мелкие недочеты. Оденьте человека в одежду, сотканную из солнечных лучей, думаете, солнцу удивятся? Нет, заметят случайно посаженное пятнышко грязи и только о нем пойдет речь. Больше всего эту Ясинскую ненавижу: она готова выбросить всю автоматику, лишь бы ее девушек-флотаторщиц не заставили один день побегать немного больше обычного.

— А по-моему, она права, — нехотя возразил Лесков. — Регуляторы должны регулировать, а не путать. — И, не желая ввязываться в спор, он отошел к Закатову. Тот в отчаянии взирал на загрубленный регулятор: «И на что мне язык, умевший слова ощущать как плодовый сок? И на что мне божественный слух совы, различающий крови звон?» — шептал он с невыразимой печалью. Лесков вслушался и улыбнулся: стихи удивительно соответствовали моменту.

31

Это был тревожный день. Регуляторы исправно вели процесс, но им уже не верили. Лубянский впервые изменил своему обычаю носиться по всем уголкам цеха и не уходил с площадки. Ему пробросили легкий кабелек от конторки мастеров, повесили на одной из ферм телефон. Он властно командовал цехом, на какое-то время верхняя классификация стала основным звеном всего технологического процесса: все работало на регуляторы, Лесков не вмешивался в распоряжения Лубянского. Он с самого начала был против подобного искусственного лечения недостатков — автоматы из помощника технологии превращались в ее деспота. Но он не мог не видеть, что эффект это давало: регулирование теперь шло намного лучше, чем при ручном труде. Обманутый этой мнимой легкостью, Закатов порывался увеличить чувствительность приборов, он умолял Лескова:

— Александр Яковлевич, поймите, это же решающий час — механизмы должны показать свои преимущества перед человеком. Пока Лубянский здесь, это возможно.

На это Лесков спокойно ответил:

— Лубянский сейчас здесь, завтра его нет. А регуляторы должны действовать все время. Мне нужна работа, а не видимость! Успокойтесь, Михаил Ефимович.

А когда к просьбам Закатова присоединился Селиков, Лесков распорядился:

— Друзья, идите спать. Делать вам здесь больше нечего: к приборам я все равно не разрешу подходить.

Селиков спать идти отказался, а Закатов с глубоким унынием проговорил:

— Сережа, я в конторке подремлю часок. Разбуди меня, если что случится.

В середине дня наступил кратковременный период, когда все вдруг словно забыли о существовании классификаторов. Лубянский отправился обедать, Селиков тоже ушел в столовую. Лесков, задумавшись, в одиночестве сидел на широкой деревянной лестнице. Он ждал этого момента, чтобы поразмыслить над происшествием и привести хотя бы в приблизительную систему то, о чем сгоряча наговорил Савчуку. Но думалось о другом: он вспоминал то дядю Федю, то Надино выступление на совещании у Савчука и свою отповедь. Он разговаривал с собою, упрекал себя, стыдился своих слов и поступков. Да, именно так он и сказал старику: «Не беспокойтесь, вас обязательно устроят!». И тот ему поверил, повеселел, оживился. А сейчас он где-то ходит, ищет подходящую для себя работу, вспоминает, конечно, уверения Лескова... Что он думает о нем, Лескове? То самое, наверно, что Лесков сам о себе думает: отмахнулся равнодушной общей фразой. Да, конечно, автоматика — благо, от этого он не отступится. И правильно сказал тот, из кадров: «В масштабе Советского Союза мы тебя по специальности всегда устроим, а хочешь здесь оставаться — извини, надо переучиваться». А как старику переучиваться? И как ему от семьи и квартиры уезжать в другое место? Об этом Лесков подумать не хотел, закрывал на все это глаза. Жизнь от того, что он зажмуривался, не стала проще, нет!

Лесков вздохнул, снова терзая себя. Теперь эта Ясинская... Он высмеял ее на совещании, презрительно оборвал в разговоре. Он даже допустить не хотел, что она может оказаться правой. Перестраховщики, косные люди, консерваторы — так думал он о Крутилине, о Пустыхине, даже; и о ней так подумал. — Нет — и от этого он не отступится — в общем, в перспективе он прав, философски прав — так выразился бы Лубянский. Но, к сожалению, из философии металла не выплавишь, на это уже указал Савчук. И вот результат: философия правильная, а действительность, его маленькая работа, дело его жизни, то самое, за что он непосредственна отвечает, — все это, ничего не попишешь, плохо! «Прекратите кошмар автоматики!» — так выразилась Надя презрительно, нечего ему против этого возражать, нечем оправдываться!

— Ладно! — сказал он вслух устало. — Что пользы копаться в том, что прошло? Нужно думать, как выбраться из провала, это одно важно.

Он встал и подошел к прибору. Диаграмма шла так же неровно, точности в регулировании не было. Лесков посмотрел на классификатор — струя воды лилась в корыто, мутная полужидкая пульпа переливалась через порог, уносилась по желобу. Нет, колебания объемов кончились, хоть этого они добились, человек, конечно, лучше бы вел процесс, но процесс идет, не ломается!

Лесков прошел за колонну к другому регулятору. Здесь он столкнулся с Надей. Она стояла перед самописцем, изучала, как и Лесков, диаграмму.

Надя хотела уйти, Лесков остановил ее.

— Простите, — сказал он, волнуясь. Можно с вами поговорить?

Она секунды две колебалась.

— Пожалуйста, — сказала она сухо. — О регуляторах?

— Да, о регуляторах... Нет, больше о себе, — поправился Лесков. — Пройдемте в сторонку, здесь очень шумит.

Он отвел ее в конец площадки, где ремонтировались два резервных классификатора. На площадке было пусто и сравнительно тихо, можно было беседовать, не повышая голоса. Лесков прислонился к колонне, рассеянно смотрел в сторону, не начиная разговора.

— Знаете, я думал о вас, — сказал он. — И сейчас думал и раньше.

— Да? — холодно ответила Надя. — Интересно, что же вы думали?

Он продолжал, по-прежнему не глядя на нее:

— Я вспоминал наше столкновение у Савчука... Она оживилась и прервала его:

— Вы меня тогда неправильно поняли. Вовсе я не враг ваших работ, я не такой отсталый человек, чтоб не понимать, как все это важно...

Он вежливо кивал головой, ожидая, когда можно будет продолжать.

— Я тогда возражал вам, даже вышучивал ваши соображения. Но вся эта грустная разладка автоматов показала, что я был не прав. Вы, конечно, имели право беспокоиться, все неприятности свалились на вас. Это я и хотел сказать: вы были тогда правы, а я нет. Вот, пожалуй, и все. Да, все!

Надя видела, что ему нелегко далось это извинение, — он побледнел, нахмурился. На его подвижном лице отражается все, что он чувствовал: он уже раскаивался, что начал этот разговор. Надя, смягчаясь, сказала:

— Я очень рада... Мне тоже было неприятно, что мы тогда чуть не поссорились. Я даже собиралась сама подойти к вам...

Он молчал, но не уходил, словно ждал еще чего-то от нее. Она спросила:

— А как вы думаете, удастся ввести все в норму?

Ему не хотелось ни отделываться общими отговорками, ни пускаться в путаные рассуждения. Он ответил неохотно:

— Трудно сейчас что-либо сказать. Будем выискивать подходящий режим, а найдем или нет, увидим.

Она возразила, удивленная:

— Но ведь сейчас автоматы работают, не разлаживаясь!

Он пробормотал, хмурясь еще больше:

— Черт их знает, как они поведут себя без нашего пригляда! Пока не испытано все, обещать ничего не буду. Особенно вам...

— Почему? — спросила она. — Вы думаете, что я не пойму или не поверю вам?

Он ответил грубо:

— С вами надо так — сделать и положить на стол готовое, без предварительных обещаний. Отныне по-другому не буду: спокойнее...

Надя сказала дружески:

— Мне кажется, вы переживаете разладку сильнее, чем она заслуживает! Я, например, такой работой, как сейчас, вполне удовлетворена. Стоит ли мучиться!

Лесков гневно взглянул на нее.

— Кто вам сказал, что я мучаюсь? Вы преувеличиваете, Надежда Осиповна.

Он сделал шаг в сторону, она протянула руку, как бы прощаясь.

— Вечером приду еще раз посмотреть, как дела, — пообещала она.

Лесков возвратился на старое место в том же хмуром настроении. Скоро появился Лубянский. Он успокоился. Тревога, поднятая расстройством регулирования, улеглась, введенный им строгий режим действовал. Лубянский с удовлетворением подвел итоги.

— Вот вам доказательства, Александр Яковлевич, что культура — явление целостное. Нельзя считать себя человеком чистоплотным, если чистишь зубы, но забываешь постирать рубашку. Нельзя комбинировать автоматы с кустарщиной на мельницах. Пусть теперь попробуют измельчители нарушить предписанный режим. Больше того: все стадии процесса зажму в тиски.

Это напоминало мысли самого Лескова; Лубянский тоже понимал, что нет изолированных звеньев в технологической цепочке, нужно вытягивать ее всю. Но было и важное различие в их выводах: Лесков шел иным путем, шел дальше Лубянского. Он не хотел спорить, нужно было еще много думать, пока путаные идеи приобретут достоверность расчета и чертежа. Лубянский уловил в молчании Лескова несогласие и удивленно посмотрел на него. Лесков разъяснил:

— Мне мыслится иное: никакого среднего режима по прописи — столько-то тонн в час, и точка. Нет, все работает на максимуме, а максимум, конечно, неодинаков: сейчас это сорок тонн, а через десять минут — шестьдесят пять. Гибкое регулирование по наибольшему эффекту — вот чего бы я хотел.

Лубянский ответил, ласково улыбнувшись:

— Хотеть вы можете. Никто не запретит человеку хотеть всего, что ему вздумается. Вы только осуществить это свое желание пока не можете, дорогой Александр Яковлевич, вот в чем ваша беда. А я средний режим уже осуществил и буду его поддерживать. Одно обещаю: когда вы доведете свой максимальный режим до реального проекта, я первый откажусь от своих нынешних предписаний.

Это было сказано искренне и с достоинством. Лесков с благодарностью посмотрел на Лубянского. Он вдруг с облегчением ощутил, что думал о людях хуже, чем они были на деле. Савчук обещал поддерживать его, хотя страшится от этого неприятностей в будущем. А на Лубянского неприятности уже свалились, но он принял их на себя, не спихивая на лабораторию, как очень многие сделали бы на его месте, и мужественно борется с трудностями. Даже Надя держит себя сдержанно. «Кошмар автоматики...» Что ж, можно было и крепче выразиться... Лескову часто казалось, что он один бьется головой в глухую стену, он верил в свою голову, она была крепка, но стена оказалась крепче — в самый раз теперь упасть ему с разможженным черепом. Но его заботливо подхватили под руки, уже и другие рядом с ним бросаются на ту же стену — она не может не поддаться.

Лубянский, не догадываясь, какие сложные чувства одолевают Лескова, озабоченно продолжал:

— Через часок на фабрику приедет Кабаков, очень прошу, Александр Яковлевич, не вмешивайтесь в мой разговор с ним, я лучше сумею растолковать, что к чему.

Лесков поспешил заверить Лубянского:

— Конечно, конечно, я не помешаю!

Кабаков появился в сопровождении свиты из комбинатских и фабричных работников, на площадке сразу стало тесно. Лесков отошел за классификатор. К нему подошел отделившийся от толпы Савчук. Директор фабрики заметил, усмехаясь:

— Ну и расписывает наш Георгий Семенович — мастер! И хоть бы слово о том, что мы тут чуть голову не потеряли. А Кабаков-то из-за этого приехал — из-за непорядков.

Лесков обещал не вмешиваться в объяснения Лубянского. Но с Савчуком можно было не стесняться. Он хмуро пробормотал:

— Боюсь я, Павел Кириллович, красивой росписи. Пока ведь у нас, если честно, провал. Нехорошо, Кабакову внушат, что одни достижения...

Савчук проницательно посмотрел на Лескова.

— Не думаю, чтобы Кабакову что-нибудь внушили, двадцать пять лет знаю Григория Викторовича, не такой он человек. А тревожить случайностями, что нас напугали, не следует, — прав Лубянский.

К ним подошел Кабаков. Он казался довольным. Уверения Лубянского, похоже, сделали свое дело.

— Ну, что же, — сказал он, — первый автоматизированный передел запустили — поздравляем! Лиха беда начало. Правда, чуть не завалили ночные смены, но при освоении нового и не такое бывает, главное, чтоб это не повторялось.

Савчук вдруг сказал, насмешливо прищурившись на мрачного Лескова:

— Не всем нравится, Григорий Викторович. Измельчители ругаются: режим трудный предписан. И сам именинник невесел — ожидал другого. Лубянский тебе доказывал, что достижение, а Лесков изъясняет иначе — провал.

Лубянский с упреком посмотрел на Лескова. Тот растерялся и уже раскаивался, что был откровенен с Савчуком. Лесков вспомнил, как и раньше Савчук огорошивал таким же странным поведением — до собрания хвалил автоматику, на собрании тонко ее чернил. Савчук посмеивался, он не находил в своих словак ничего плохого. И на Кабакова они произвели совсем другое действие, чем ожидал Лесков.

— Это хорошо, — возразил Кабаков одобрительно. — Если для него провал, значит, большего ожидал, к большему стремился. А стремится — рано или поздно добьется. Когда мастер свою работу хулит, еще не значит, что работа плохая, — может, попросту мастер лучше работы.

Он дружески положил руку, на плечо Лескову:

— Павел Кириллович мне рассказал о твоих планах — полной автоматизации фабрики. Планы хорошие, разрабатывай, может, и выйдет толк. А насчет режима согласен с Лубянским — нужен режим на мельницах. От регуляторов нельзя требовать, чтобы они поправляли все, что нерадивый рабочий напортит: механизм не волшебник, он не превращает палку в змею и кочергу в лебедя.

Кабаков удалился вместе со всеми, сопровождавшими его. Лесков спросил у Лубянского:

— Насчет палок и кочерги — ваши слова?

Лубянский засмеялся.

— Мои, а что? Плохо?

— Хлестко, но не очень основательно. Классификаторщик справляется с любым режимом на мельницах, кроме уж самых пиковых. А регулятор при серьезном возмущении на мельницах сразу путается. Человека он полностью пока не может заменить, к сожалению.

Лубянский, пожав плечами, возразил, что у них создалось забавное положение: Лесков ругает собственную продукцию, сдавая ее заказчику, а заказчик хвалит. Долго так продолжаться не может, к этому обязательно придерутся. Не стоит бессмысленно усложнять и без того трудные свои заботы — выпадет еще не один скверный час, пока фабрика привыкнет к новому режиму.

Лесков прервал Лубянского. У него просьба. В цеху сокращен рабочий Бахметьев. Нельзя ли этого человека разыскать и направить в лабораторию? Лубянский позвонил в отдел кадров. Поговорив, он сказал Лескову:

— Завтра направят, дядя Федя еще не получил назначения.

Вечером Лесков сдал дежурство проснувшемуся Закатову и собирался уходить с Лубянским, когда на площадку поднялись Катя и Надя. Катя заговорила с Лубянским, Надя пошла дальше — к приборам. Лесков понял, что придется теперь уходить всем вместе и болтать всю дорогу, — Катя не из тех, с кем можно молчать. Но все, что не относилось к регуляторам, было ему сейчас неинтересно, а вести легкую беседу о них он не мог. И он не забыл, что Надя вздумала его утешать — еще, чего доброго, опять примется за это! Лесков отошел с Закатовым подальше от Нади, около нее остановился Селиков. Он что-то доказывал, разводя руками. Лесков понял, что Селиков оправдывается в недавней грубости. Лесков усмехнулся — ну и денек сегодня, всем приходится извиняться!

Катя громко сказала, обращаясь ко всем:

— Товарищи, сколько же можно? Двенадцать часов ни единого нарушения, а вас не оторвать от приборов. Мы зашли за вами, Надя только что расписалась у меня в журнале, что претензий к регуляторам у них больше нет.

Лубянский натянул пальто и предложил Лескову пройтись на воздухе. Лесков ответил:

— Вы идите, я еще останусь.

— Да вы же только что собирались уходить! — удивленно сказал Закатов.

— А сейчас раздумал, — раздраженно возразил Лесков. — Простите, но мне не до прогулок. Да и вряд ли я смогу быть хорошим собеседником.

Он улыбнулся Кате, чтоб не обидеть ее отказом. Катя взяла под руку Лубянского и позвала Надю, та, не оборачиваясь к Лескову, кивнула Селикову и ушла вперед. Лесков хмуро глядел ей вслед, она торопилась, удары ее каблучков звучали укором. Помолчав минуту, Лесков в третий раз дал распоряжение Закатову:

— Если опять забарахлит хоть один регулятор, немедленно вызывайте, но сами чувствительности не увеличивайте.

Закатов отозвался с нетерпением:

— Да слышал, Александр Яковлевич, слышал! Идите спать, ничего не будем менять. Правда, Сережа?

Селиков, не отвечая, прислонился плечом к щиту, лицо его было насуплено. Закатов шепнул Лескову:

— Чертова штука эта его девка! То ласковая, то злая безо всяких причин. Не повезет, если в такую влюбишься, просто жаль парня.

В гостинице Лесков не зашел в номер: Лубянский, возможно, уже вернулся, не хотелось с ним разговаривать. Лесков присел в холле на диван. Только сейчас он почувствовал, что устал. Это была усталость не от физических усилий, а от душевного смятения. Он снова размышлял о событиях минувшего странного дня. По существу, провал, именно так, по-честному, он обрисовал это Савчуку. За провал ответствен он, Лесков, это его вина: его просчеты, его непонимание технологии. А провал обернулся чуть ли не крупным успехом, Кабаков руку жал, Савчук сменил ругань на похвалы, Надя благосклонно выслушала его извинения, письменно — в журнале — отказалась от своих претензий. А может, и вправду нет провала — регуляторы ведь работают, одни, без людей? Чепуха, разве это работа — при жестком режиме, когда процесс так круто сжат, что и без всяких автоматов пойдет прилично, бывали же дни, когда классификаторщики часами ничего не делали! Нет, не в этом производственная культура, не в жестких предписаниях Лубянского. Настоящая культура в том, чтобы каждая машина, каждый человек осуществлял все, на что он способен. Ах, как еще далеко до такой культуры, другой совсем это мир — по ту сторону сегодняшних возможностей. Разве не на это ему указывают те, с кем он недавно так горячо спорил, — Пустыхин, Баскаев, Неделин? Они ославили его фантастом, может, и вправду он фантаст? Он восставал против ремесленничества, требовал исканий, творчества. А где мера той муке, что называется творчеством? На каком шажке, в какой точке творчество превращается в фантастику, в какой области оно становится бессмыслицей? Он сознательно идет на эту муку, он называет ее освоением нового, объявляет почетной и радостной, она такая и есть, как бедна жизнь без этой муки, а все же до каких границ он может ее распространять?

Измученный этими трудными мыслями, Лесков с горечью вспомнил о медеплавильном заводе. Он ужаснулся: сколько там предстоит неполадок и трудностей! Тысячи просчетов, сотни недоделок, а он даже усом не шевелит. Ведь и там неизбежен провал, как он этого не замечает? И Лубянского там не будет, чтобы властно прийти на помощь и черное превратить в белое.

Лесков устало закрыл глаза и привалился головой к мягкой спинке дивана. Черт с ними со всеми, что будет, то будет! Он ни о чем не думал, отдыхая, равнодушно прислушивался к разговору у столика с телефоном: Мегера Михайловна спроваживала в общежитие очередного командировочного, прибывшего из Москвы.

— С радостью, — говорила она, — с радостью, поймите! Но нет мест. Устройтесь пока там, я позвоню.

В коридоре послышались шумные мужские голоса, и беседа прервалась. Мегера Михайловна встала и напустила строгость на лицо: она не терпела непорядков в доверенном ей учреждении. Лесков приоткрыл веки и ахнул. Его старые знакомые, его противники и друзья — только что он думал о них, — весело смеясь шли на него. Впереди упруго шагал плотный стремительный Пустыхин, за ним вздымался исполинский Бачулин, топорщились седые космы Шура. Ошеломленный Лесков попал в объятия Пустыхина, потом его уминал, словно тесто, Бачулин, бил по плечу Шур. Общий гам и хохот был оборван властным окриком Пустыхина.

— Все по коням! — возгласил Пустыхин, указывая на кресла и заразительно гогоча. — Удивляетесь, конечно, почему, зачем? Вас повидать, дорогой, вас! А кроме того, в качестве выездной бригады «Металлургпромпроекта» набросать проектное задание по второй очереди комбината — навалилось на нас такое скучное дело. Теперь соседи ваши — живем через номер. Ну, как местные дела? Крутилин по-прежнему, кроме лопаты и ломика, никакой механизации не признает? Как сошлись с Кабаковым? О вас уже слышали, развиваете возвещенную революцию в производстве, технику ставите на попа. Рассказывайте, что же вы молчите!

### Часть вторая



1

Юлия прилетела в один из хороших летних дней, наступивших после плохой погоды. Она с восторгом осматривалась: при свете солнца Черный Бор казался не хуже многих других городов. Лесков с гордостью показывал сестре новые дома и заводы на склонах горы, провел ее по главной улице. Ковры в гостинице и широкие окна совсем растрогали Юлию.

— Здесь очень неплохо, — заключила она. — Я так рада, что не поехала в этот противный Крым и проведу весь отпуск с тобой. Если бы ты только знал, как я тосковала по тебе!

Она неслышно и быстро двигалась по комнате, вынимая из чемодана одежду и распределяя, что в шкаф, что на стол для глажения, что назад в чемодан. От радости встречи Юлия очень похорошела.

— Боже, как ты изменился! — воскликнула она, усаживаясь. — Ты совсем взрослый стал, Саня! И, кажется, даже подрос.

Лесков усмехнулся.

— Я уже десять лёт, как взрослый, Юлька, ты одна не хотела этого признать. И, по крайней мере, пять лет назад перестал расти. А лет через десять начну уменьшаться в размерах. Все согласно законам природы.

— А кто тебе готовит? — спросила сестра. — Об этом ты не писал.

Он ответил:

— Сам, Юлечка, сам. Ничего не поделаешь, приходится самому..: Обедаю я, конечно, в столовой. Подожди, я тебя сегодня таким роскошным ужином угощу, что ты ахнешь.

— Неужели ты и посуду сам моешь? — изумилась сестра.

Она знала, что брат скорее месяцы будет «сидеть на одних бутербродах, чем преодолеет отвращение к грязной посуде. Тарелку с остатками еды он брал в руки, как ядовитое животное, — с осторожностью и опаской. Лесков разъяснил, что у них как-то установилось разделение обязанностей: он закупает продукты, нарезает хлеб, заваривает чай и открывает консервы, а Лубянский убирает со стола. Это, разумеется, только в те дни, когда они ужинают вместе, разика два в неделю.

— В остальное время ты обходишься без чая, без консервов, — понимающе кивнула сестра. — Знаешь, это смешно, но меня больше всего мучило, что ты своей вечной колбасой испортишь в конце концов желудок. Предупреждаю: колбасы в этой комнате я не потерплю.

— Ну, Юлечка, нельзя же так! — развел он руками. — Я как раз сегодня накупил колбасы про запас. Не выбрасывать же.

Она сказала, не слушая его оправданий:

— Ужасно хочу видеть твоего Лубянского. Ты столько о нем писал хорошего! Вероятно, удивительный человек.

— Удивительный! — горячо отозвался Лесков. — Инженер с редким кругозором и культурой. Тебе с ним будет интересно. Сегодня вечером он придет познакомиться. Кстати, он не женат — ухаживает за одной здешней девушкой, но что-то неудачно.

Юлия рассмеялась:

— Ты напрасно мне это говоришь, Саня. Для твоего Лубянского я уже не могу представить интереса. Какого-то винтика в этих делах у меня не хватает, ты сам это знаешь, и я это знаю. А кто еще будет?

— Еще Павлов.

— Ты писал мне о нем? Что-то не припомню такой фамилии.

— Я познакомился с ним недавно. Он, правда, очень рассеян и хмур, но мне пришлось его пригласить. Если он за целый вечер не проронит ни слова, ты не смущайся, с ним это бывает.

— Мы с тобой тоже не очень веселые люди, — заметила сестра. — Скорей даже скучные. И сами отлично умеем молчать целыми вечерами.

Лесков засмеялся. Он с наслаждением следил, как ловко сестра скользила между столом, стульями и кроватями, ничего не задевая. Если бы он решился хоть вполовину так же быстро двигаться, то давно бы уже что-нибудь с грохотом обрушил. Юлия переставляла вещицы с места на место, оправляла одеяла, взбивала подушки. Лесков, считавший, что заботами Мегеры Михайловны у них в номере поддерживается идеальный порядок, вдруг с удивлением увидел, как комната на глазах преображается и хорошеет, принимает какой-то иной, домашний, а не гостиничный вид.

— Тебе еще кое с кем придется встретиться, — сказал Лесков. — Знаешь, кто приехал в Черный Бор? Вот незадолго» перед тобой.

— Кто, Санечка?

— Пустыхин. С ним Шур и Бачулин.

Юлия, встревоженная, повернулась к брату. Он казался спокойным и веселым. Но она умела понимать его глубже внешнего вида. Она села рядом и обняла его.

— Что это значит, Саня? Неужели продолжение старых споров? Почему он не оставляет тебя в покое?

Лесков пожал плечами.

— Пустыхину, вероятно, кажется, что это я не оставляю его в покое. Он приехал сюда в командировку — разрабатывать проектное задание на вторую очередь одного из здешних заводов. Он, конечно, этого не показывает, но не думаю, чтобы ему было приятно мое присутствие здесь.

— Нет, ты скажи, какие у вас отношения? — допытывалась сестра. — Вы не ругались, не ссорились? Ужасно боюсь, что ты опять не сдержишься.

— А зачем мне не сдерживаться? — возразил брат. — Он свое делает, а я свое. Конечно, если меня спросят, я стесняться не буду. А пока мы с ним расцеловались при встрече, выпили пива, даже песню спели здесь, в номере, — Мегера Михайловна скандал подняла, что мешаем другим спать. Запевал, конечно, Василий.

— Бачулин — хороший человек, — сказала Юлия быстро. — Шур тоже. А Пустыхина я боюсь. Обещай, что ты будешь с ним осторожен.

Лесков знал, что нельзя отделаться от наставлений сестры, если не согласиться с ними. Он мотнул головой.

— Обещаю, Юлька! Буду вести себя ниже травы, тише воды. Устраивает это тебя?

Юлия вскочила и распорядилась:

— Теперь отворачивайся, Саня, я буду переодеваться.

Оставался еще один пункт, живо интересовавший Юлию. Она знала, что говорить об этом нужно не на ходу, не между причесыванием волос и выбором чулок, а по-серьезному, сидя около брата, ласково всматриваясь в его лицо. Да и в этом случае еще не известно, как обернется: Саня с некоторых пор стал сердиться, если его слишком расспрашивали. Юлия спросила, сколько могла равнодушно.

— А как у тебя, Саня, сердечные дела? Об этом ты мне тоже ничего не писал.

— Зачем писать о том, чего нет? — возразил он.

— Неужели так-таки ничего и нет?

— Так-таки ничего, Юлька.

— Разве здесь нет интересных девушек?

— Девушки интересные есть. Но ведь ты спрашиваешь меня не о девушках, а о моих сердечных делах. Дел нет.

Она чутким ухом улавливала недоговоренность в его ответе. Он понял, что она не удовлетворена.

— Видишь ли, — пояснил он. — Мне кажется, что я в этом смысле похож на тебя, мне чего-то не хватает. А может, я просто очень занят, жалко терять время на ухаживание за женщинами.

— Это потому, что ты по-серьезному не влюблялся, — авторитетно заявила сестра. — Влюбишься, сразу поймешь, что ухаживание не трата времени, а наоборот, настоящая жизнь.

Лесков улыбнулся — Юлия всегда говорила о его будущей любви с таким жаром, словно хорошо разбиралась во всех этих делах, а от него ждала одного — крепкой, до чертиков и выше, влюбленности. Она и раньше твердила ему, что с нетерпением ждет его женитьбы и особенно детей — согласна посвятить все свое время их воспитанию, чтобы освободить его от забот. О том, что мать этих будущих детей может не отдать их тетке, она не думала, а он не разочаровывал ее — дело это было, во всяком случае, не близкое.

Лесков попытался перевести разговор на другую тему.

— Как твои дела, Юлька? Отдала вам баба-яга тот важный прибор?

Но Юлия не поддержала его попытки.

— Подожди, Саня. Я хочу знать все... Значит, ни одна из местных девушек тебе не нравится? Но ведь это же ужасно, Саня, такое черствое ко всем равнодушие!

Он решил выложить все начистоту.

— Одна девушка мне нравится. И даже очень, Юлечка. Но я, кажется, ей не особенно, вот беда. И потом мой же работник без устали вращается вокруг нее — не пробиться. Я опоздал, а опоздание в таких делах непоправимо.

— В любви нет опозданий, — еще авторитетней заметила сестра. — Любовь начинается с влюбления, тут предыстории не важны.

Лесков расхохотался.

— Расскажи это Лубянскому. Он увлекается философией. А я человек простой, для меня черное черно, белое бело.

— Боже, какой ты! — обиделась Юлия. — Это не туманная философия, а теория. Теорию нужно уважать. Ты спрашиваешь, что с бабой-ягой? Плохо с бабой-ягой. По-прежнему зажимает мои исследования. Но я ей отомщу. Я захватила с собой таблицы наблюдений и буду их здесь обрабатывать — днем, когда ты на работе. Представляешь: приеду — и на второй же день доклад! После доклада директор непременно встанет на мою сторону, не сомневайся.

Лесков не сомневался. Он удивлялся, как до сих пор в Юлином институте еще не все уверовали в ее правоту.

Переодевшись, Юлия стала накрывать на стол. Лесков поспешил ей на помощь — резать сыр и хлеб. В разгар приготовлений, явился Лубянский с двумя бутылками вина.

— Именно такой я и представлял вас, Юлия Яковлевна, по рассказам брата, — сказал он, знакомясь. — Если бы я встретил вас на улице, я сразу бы признал, что это вы.

— Вы шутите, — отвечала Юлия со смехом.

— Нет, нет, — стоял на своем Лубянский. — Он удивительно точно вас описал.

Юлия, оживленная, счастливая, одетая в лучшее свое платье, в самом деле походила на ту, какой жила в воспоминаниях Лескова. Даже старившие ее морщинки под глазами и потускневшая кожа щек были сейчас почти незаметны.

— Я вас выжила из этого номера, — сказала она Лубянскому с раскаянием. — Никогда себе этого не прощу.

— И не прощайте, — отшутился он. — Мучайтесь, терзайтесь и вскрикивайте по ночам. А я пока наслаждаюсь — один в роскошной квартире! Мне удивительно повезло с вашим приездом. Уехал в отпуск со всей семьей начальник одного из наших цехов, а я у него остался вместо квартирного сторожа — и он доволен; и я ликую.

Юлия весело предложила:

— Идемте к столу. Вы не поверите, как я проголодалась! Я ведь первый раз на самолете и от одного страха не могла ничего проглотить.

Лубянский поспешно согласился.

— Против еды не возражаю. Руководить цехом у нас означает ежедневно километров двадцать пробегать по лестницам, — после такого административного бега щелкаешь зубами, как волк.

Он первый уселся за накрытый стол. Лесков недовольно заметил:

— Что-то Павлов опаздывает. Обещался точно в восемь.

2

Павлов опаздывал неспроста. Он сомневался, нужно ли вообще ему приходить. В Черном Бору у Павлова друзей не было, только сослуживцы, он ни к кому не ходил. Лесков был единственным, с кем Павлов по-настоящему сошелся. Теперь всему этому пришел конец. Сестра его, конечно, заведет свои порядки: закуски на столе, чаепития и обязательные пустые разговоры за вареньем, словно и вечера нельзя прожить без того, чтоб не молоть языком и не двигать челюстями. Павлов два раза проходил мимо гостиницы, не решаясь подняться на второй этаж. Раздеваясь в крохотной прихожей, он прежде всего неприязненно взглянул в разрез портьеры. Худшие его предположения оправдались: стол был до того заставлен, что некуда руки положить, а на самом видном месте торчали две банки с вареньем.

— Здравствуйте, — хмуро сказал Павлов. — С приездом!

Юлия радостно встала ему навстречу.

— Здравствуйте, очень рада! — сказала она сердечно. — Вы поспели как раз вовремя: мы только что сели за стол. Проходите, проходите, вот ваше место.

Павлов уселся на отведенный ему стул в стороне от того места, которое обычно занимал. Лубянский налил ему бокал вина, а Юлия стоя хлопотала у стола.

— Вот икра, а вот пирог с мясом, еще ленинградский, — говорила она. — Вам какое варенье положить к чаю?

— Вот это, — Павлов ткнул рукой. — Яблочное.

— Это земляничное. Есть еще кизиловое. Что вам больше нравится?

Лесков засмеялся.

— Юлька, оставь Николая в покое. Он не любит, когда за ним очень ухаживают. Он сам возьмет, что ему захочется.

Павлов с благодарностью взглянул на Лескова. Юлия была огорчена. Ублажать гостей было одной из самых больших ее радостей. Она дня не могла прожить без того, чтобы о ком-нибудь не позаботиться. Даже Павлов по ее опечаленному лицу понял, что нанес ей жестокую обиду. Через некоторое время, не глядя на Юлию, он пробормотал:

— Какое вы рекомендуете, Юлия Яковлевна? Очень прошу...

Он протянул ей блюдечко. Обрадованная Юлия положила сразу из обеих банок. Столько варенья не терпевший сластей Павлов, вероятно, не съел за все годы своей взрослой жизни. Он мужественно взялся за ложку.

Беседа шла между Лубянским и Юлией. Лубянский окончил Ленинградский горный, был вхож в научные круги города — у него с Юлией оказалось много общих знакомых. Едва она называла фамилии, как он кивал: «Знаю! И этого тоже — высокий, хромой, а жена на двадцать девять лет моложе!» Юлия воскликнула с надеждой:

— Вы, наверное, и нашу бабу-ягу знаете — Волковскую?

— Только со слов Александра Яковлевича, — признался Лубянский с сожалением. — Вообще-то многое, конечно, приходилось о ней слышать, она ведь знаменитость. Но лично не имел счастья встречаться.

— То есть имели счастье не встречаться, — поправил Лесков. — Это вернее. Я, кстати, тоже с ней лично не знаком.

В дверь с грохотом застучали. В комнату ввалились Бачулин с полдюжиной пива в руках и смеющийся Пустыхин. Бачулин сразу стал в сторонку, чтоб при здравствованиях не уронить бутылок, а Павлов оказался на оси быстрого движения Пустыхина и был сметен на койку взмахом его короткой сильной руки.

— Здравствуйте, Юлия Яковлевна! Здравствуйте, век вас не видел! Все хорошеете! — орал Пустыхин, перегибаясь над столом, чтобы пожать Юлии руку. — Александр Яковлевич по старому обычаю вздумал вас прятать, но это у него не выйдет, как многое другое не выходит. Куда вас поцеловать? Говорите скорее, пока не вышло непоправимой ошибки!

— Только в руку! — предупредила Юлия, протискиваясь между столом, стульями и койкой, чтобы он в нетерпении и ее не перетянул через стол. — Только в руку, Петр Фаддеевич!

Он каким-то звучным чмоком коснулся ее руки, дернул Лубянского за пальцы и с такой силой сжал Павлову ладонь, что тот охнул. Не обращая больше внимания на впечатление, произведенное его неожиданным вторжением, Пустыхин нырнул назад в прихожую — раздеваться.

— Мы с Василием запаслись пивком — помозговать перед сном, — кричал он из прихожей, — а Мегера нас огорошила: к Лескову приехала сестра! Как Сестра, почему сестра, зачем сестра? Немедленно, конечно, к вам — непрошеные дорогие гости! Жаль, Шура не могли прихватить: у него заседание. — Пустыхин вошел в комнату, на ходу одергивая пиджак. — Ну, здравствуй-то, здравствуйте еще раз — уже окончательно!

— Санечка! — проговорил Бачулин, не двигаясь с места. — Подкрепление у меня, куда бы его?

Лесков с Лубянским быстро убрали лишние тарелки, и Бачулин поставил бутылки на освободившееся место. После этого он пошел здороваться с Юлией, а Пустыхин уселся на стул, где раньше сидел Павлов.

— Не так уж плохо, — объявил Пустыхин, рассматривая на свет начатую бутылку вина. — У меня были предчувствия помрачнее, когда Мегера объявила, что вы уже час как заседаете. Василий, нам с тобой, по обычаю, штрафную за опоздание — по стакану вне очереди...

Прежняя мирная, сдержанная беседа была забыта. Пустыхин предлагал тост за тостом, рассыпал вокруг себя насмешки, комплименты, меткие словечки, сам шумно смеялся, заставлял хохотать других, — без грохота и трескотни он веселья не признавал. Был только один способ заставить его замолчать в веселой компании, и малодогадливый Павлов случайно напал на этот способ. Он на некоторое время усмирил Пустыхина.

— Вы почему не пьете? — обратился Пустыхин к Павлову. — Душа не терпит хмеля? Или сердце плохо бьется, согласно новейшим требованиям медицины? Один мой знакомый досрочно вогнал себя в гроб в порядке научного эксперимента. Он по правилам голодал, холодал, дышал и ходил. Загорал на пляже только по учебнику. За какой-нибудь год его не стало. Вы такой?

— Нет, я не такой, — не улыбаясь, возражал Павлов. — Я просто не люблю пьяных и трескотни.

— Шума не любите, вина не любите, — назойливо перечислял Пустыхин. — Женщин тоже, наверное, не очень? Кто же вы? Во что верите? На что надеетесь? Куда идете?

Он говорил насмешливо, но глаза его настороженно и серьезно обегали лицо Павлова. Тот, смущенный, пытался оправдаться.

— Да нет, вы обо мне неверно... Я несколько лет работал над некоторыми вопросами газовой и жидкостной металлургии, пришлось, конечно, от многого отвыкнуть... Ну, и до сих пор сказывается...

— Ага, вы, значит, тот самый Павлов, о котором говорят: ему весь мир представляется собранием гигантских автоклавов? — догадался Пустыхин. — Я, между прочим, одну вашу статейку читал — написано живо, но малоосуществимо на практике. Хотел специально поговорить с вами об этом, но как-то замотался в вашем Черном Бору. Это даже лучше, что мы здесь познакомились, не придется отыскивать вас...

— Почему малоосуществимо? — перебил его рассерженный Павлов. — Так же осуществимо, как любой другой метод переработки руд. А преимуществ больше, чем у всех других методов. Удивляюсь, подобный консерватизм...

Пустыхин расхохотался.

— Еще одно обвинение в консерватизме! — объявил он. — Ваш приятель Лесков меня в ретрограды произвел. А каждый наш новый спроектированный завод, между прочим, лучше всех до него существовавших. Уж не путаете ли вы, дорогой мой, консерватизм с чувством реального?

Он с издёвкой ждал ответа. Павлов молчал. Пустыхин, насладившись беспомощностью собеседника, продолжал с живостью:

— Не думайте, что я такой уж убежденный сторонник огневой металлургии. С огня началось человечество, вероятно, в огне оно и погибнет. Но этот старый, испытанный помощник человека во многом, конечно, уступает кислотам и газу. У вас, что, новые конструкции автоклавов? Или вы идете по линии высоких давлений?

Павлов оживился. Пустыхин затронул единственную звучащую в душе Павлова струну. Павлов пустился в подробные объяснения. У него, оказывается, все было разработано — и конструкции автоклавов, которые должны заменить существующие громоздкие пламенные печи, и давления, и температуры. Пустыхин, как и Лубянский, умел слушать не хуже, чем говорить: уже одни его живые, вспыхивающие иронией и сочувствием, внимательные глаза побуждали приводить вое новые аргументы, порождали ответное красноречие.

И в отличие от Лескова, никогда не вдумывавшегося по-серьезному в идеи Павлова, Пустыхин мгновенно схватил их существо. В статье, напечатанной в журнале, Павлов был осторожен, сейчас он открыто замахивался на всю старую металлургию. Это было в самом деле сокрушение многих испытанных веками принципов — Пустыхин мог это хорошо оценить. Вместе с тем он видел и недостатки Павлова: дальше обоснования идей тот не шел. Неудивительно, что его никто не поддерживал: между расчетами процесса и реальным заводом пролегал обширный пустырь, пустырь этот следовало еще заполнить схемами, чертежами и, самое главное, новыми мыслями и конструкциями. Сам Павлов, видимо, не был способен на такую работу, он даже не понимал, по-настоящему, как она обязательна, — и это Пустыхин сразу увидел.

На полчаса Пустыхин с Павловым выпали из общей беседы. Захмелевший Бачулин объяснялся в любви Лескову. Лубянский спорил с Юлией.

— Сукин же ты кот, Саня! — говорил Бачулин нежно. — Мерзавец же, пойми! Мы все столько о тебе толковали после своего отъезда, а ты хотя бы письмецо! Просто как в воду канул, ни слуху ни духу. Анечка два месяца ни на кого не глядела, так переживала. В друзей не веришь, никогда тебе этого не прощу! В друга надо верить, как в бога!

Он порывался поцеловать Лескова, тот со смехом отбивался.

— Везде хорошо, — убежденно доказывал Лубянский Юлии. — Нет плохих мест, есть плохие люди. Поверьте, в пословице «Не место красит человека, а человек — место» заключен глубочайший смысл. Отношение человека к природе — активное, он не столько любуется ею, сколько переделывает ее. Та природа лучше, с которой приходится больше возиться, а двадцать или сорок здесь солнечных дней — не так уж существенно. Думаю, средний процент несчастных людей в Крыму или на Кавказе даже выше, чем у нас, в Заполярье, несмотря на все тамошние прелести.

Но Юлия не соглашалась с ним. Она уже успела забыть, что еще час назад Черный Бор ей очень нравился. Лубянский говорил о разлуке с братом, а этого она не могла перенести.

— Люди недаром селятся в больших городах, — твердила она. — Умеренный климат — родина человеческой цивилизации. Это верно, что у вас зимой морозы ниже пятидесяти градусов? Конечно, год-два на севере пожить можно, а потом надо возвращаться в большой город, в более теплые края.

Пустыхин наконец остановил заговорившегося Павлова.

— Ладно, — сказал он. — Все это, конечно, очень занятно. Мы еще с вами потолкуем. У меня, между прочим, имеются некоторые виды на вас, только сейчас ничего объяснять не буду. Дело это сложное, не для беседы за стаканом вина.

Он обернулся к Бачулину.

— Василий, опубликуй во всеуслышание, который час?

— Двенадцатый, — ответил Бачулин, с сожалением поглядывая на недоеденные закуски и недопитые бутылки.

Пустыхин вскочил.

— На сегодня хватит, дорогие товарищи! Гости нужны хозяевам, как воздух: они не должны застаиваться в комнате. Василий, целуй ручку Юлии Яковлевне и уступи место более заслуженным товарищам!

Вместе с Пустыхиным поднялись Лубянский и Павлов. Лесков вышел проводить гостей. Пустыхину с Бачулиным идти было недалеко, они жили на этом же этаже гостиницы. Павлов с Лубянским направились в другой конец города. По дороге Лубянский заметил:

— Правда, интереснейший человек?

Павлов думал о Пустыхине. Он переживал заново состоявшуюся у них беседу. Еще не было случая, чтоб его, Павлова, слушали с таким вниманием, так долго и так сочувственно, вставляли такие дельные замечания. Павлов отозвался с жаром.

— Удивительный человек! Я думаю, он один из лучших у нас инженеров.

Лубянский с удивлением повернулся к нему.

— Вы, собственно, о ком? Я говорю о Юлии Яковлевне. Мне она показалась очень умной и милой. Такое хорошее лицо!

Даже под угрозой наказания Павлов не смог бы припомнить сейчас, какое лицо у Юлии и что она говорила.

Он поспешно пробормотал первое, что пришло на ум:

— Да, конечно, только она, кажется, старуха.

Лубянский усмехнулся:

— А это уже зависит от того, как на нее смотреть. Вы знаете поговорку: женщине столько лет, сколько кажется, а мужчине столько, сколько он сам чувствует. Это положение выражает важный закон человеческих отношений. Если вы не против, я разовью эту мысль подробней.

Он с увлечением стал доказывать, что человеческий возраст — понятие условное, а Павлов утвердительно кивал головой. Им обоим было легко и приятно. Лубянский, не встречая возражений, любовался тонкостью своих логических построений. Павлов, не слушая его, думал по обыкновению о своем.

Лесков в это время помогал Юлии убирать со стола. Он прятал в тумбочку хлеб и остатки колбасы. Юлия пошла на кухню мыть посуду. Возвратившись, она села на стул.

— Будем ложиться, Саня, — попросила она. — Я очень устала.

Лесков с сочувствием глядел на измученное лицо сестры. Она вдруг словно погасла. Она сидела, закрыв глаза, забросив руки за голову. Было видно, что ей не хочется ни говорить, ни думать. Лесков не раз видал сестру в состоянии бессилия, похожего на оцепенение. Он знал, что Юлии нужно только выспаться, завтра она снова будет живой, хлопотливой, разговорчивой и заботливой. Он заторопился стелить постели, протянул посреди комнаты, от окна к люстре, простыню, заменившую ширму.

Лесков не удержался еще от одного вопроса:

— Кто тебе больше всех понравился из наших сегодняшних гостей? Правда, хорошие люди? Кроме Пустыхина, конечно.

Она медленно ответила, не раскрывая глаз:

— Да, все они хорошие. Лубянский — блестящий собеседник, с ним приятно. Павлов немного скучен. Зато он, наверное, добр, такие люди всегда добрые. И все-таки больше всех мне нравится тот, кого я больше всех опасаюсь, — Пустыхин.

На это Лесков ничего не ответил.

3

Пустыхин летел в Черный Бор, зная, что встретит там Лескова, что будут новые споры и, может быть, новые неприятности. Пустыхин был уверен в себе. Сейчас, после удачно спроектированного нового завода, имя его было известно не только специалистам: о нем писали в центральных газетах. Баскаев назвал на коллегии их проектную контору уже не «неделинцами», как именовал раньше, а «пустыхинцами»... Дело, однако, меньше всего сводилось к его личному возвышению. Пустыхин был уже не тот, с кем недавно столкнулся Лесков. Все развивалось в стране, он не мог отставать. Многое, на что еще год назад он обрушивался насмешками и от чего открещивался как от неосуществимого, теперь казалось ему естественным и приемлемым. Пустыхин не догадывался о собственном развитии. Другие тоже не открывали в нем особенных перемен: он разбивался не один.

Но Пустыхин помнил о столкновениях в Лесковым. Он понимал, что его противник спорил не только с ним и нападал не только на него — Лесков сражался против того уровня техники, который представлял собою Пустыхин. Такая дискуссия не могла ограничиться стенами кабинетов. И перевод в Черный Бор Лесков принял, конечно, затем, чтоб на производстве осуществить свои революционные планы. Пустыхин с нетерпением, интересом и тревогой ожидал встречи с Лесковым. Если бы Лескову в самом деле удались его начинания, это означало бы, что в прошлой их схватке Пустыхин был неправ, что бы о не ни писали в газетах, как бы его ни хвалили в министерстве. Пустыхин с удивлением ловил себя на такой странной мысли, запальчиво ругался: вздор какой, после всеми признанной победы один победитель сомневается в ней!

Но чем полнее Пустыхин знакомился с положением в Черном Бору, тем становился спокойнее. Нигде не было и следа осуществления обширной программы, на которой настаивал Лесков. На медеплавильном заводе налаживалась стандартная, давно освоенная в других местах автоматика, на обогатительной фабрике возились с одним маловажным технологическим переделом, на остальных предприятиях дремала старина. Шуму было много: как и везде теперь, в Черном Бору шумели об автоматизации, но Пустыхин привык больше присматриваться, чем прислушиваться, грохот литавр и барабанов его не оглушал. Смотреть было не на что. Одного проницательного взгляда во время обхода обогатительной фабрики оказалось для Пустыхина довольно, чтобы уяснить истинное положение вещей. Вместе с Пустыхиным шагал по площадке классификаторов Лубянский; начальник цеха деятельно наводил тень на плетень, густо все покрывал лаком. Пустыхин кивал головой, посмеивался, речи Лубянского были напрасны: новая техника в этом цехе являлась не рывком вперед, а провалом — это было для Пустыхина азбучно ясно. Противник его на бумаге, на чертеже заносился в облака, а на грешной земле, около действующих машин, оказался в нетях.

Пустыхин понял, что откладывать дальше неизбежную беседу с Лесковым уже не следует.

Скоро представился и повод для такой беседы. Они встретились в коридоре местного проектного отдела, куда Лесков пришел уточнить какие-то исправления в чертежах.

Пустыхин потащил Лескова в укромное местечко, к окну.

— Ну-с, былинный Аника-воин! — заговорил он. — Не пора ли нам подвести некоторые итоги? Смотрел я вашу автоматику. Вроде не то получилось, о чем вы распространялись всего полгода назад!

Не то, — согласился Лесков. — То и не должно было получиться.

— Это еще почему? — изумился Пустыхин. — У вас что, две автоматики? Маленькая, когда я сам ее внедряю, и большая, когда предписываю внедрять ее другим? Вообще-то удобно, слов можно говорить много, а делают пусть другие. Я, между прочим, не знал, что и автоматика является одной из отраслей психотехники.

На эту насмешку Лесков ответил:

— Нет, автоматика одна. Но производства разные. Одно — еще не существующее, проектируемо, для него можно свободно выбирать все лучшее в технике. А другое существует, к нему надо приспосабливаться. Это мы и делаем.

В быстрых глазах Пустыхина вспыхнула издевка.

— Да, я наблюдал, как вы приспосабливаетесь. Из помощника технологии ваша автоматика превратилась в ее деспота. Все работает только ради того, чтоб регуляторы могли спокойно качать воду. Неужели вы сами не видите, что маленькая ваша сегодняшняя автоматика давит и опутывает фабрику, как цепь? Неужели, вы не понимаете, что она существует лишь потому, что строжайше запрещено работать лучше, чем предписано, — сегодня то же, что вчера, завтра то же, что сегодня! Если это — развитие, то что вы называете деградацией?

Лесков стал возражать. Их автоматика — еще ребенок, без пеленок ей нельзя. Вот ее и спеленали потуже. Но от того, что ребенок не умеет ходить и бегать, как взрослый, никто не называет его деградирующим — так, с пустячка, с беспомощности начинается всякое развитие. Подождите, этот спеленатый ребенок еще побьет рекорды скорости!

И тут Пустыхин нанес свой главный удар.

—. Ну, хорошо, допустим, ребенок, а не инвалид, каким он мне кажется. Но ведь ребенок этот не вами создан, это ведь все стандартные, только слегка вами подправленные регуляторы. И вы с ними мучаетесь, всю фабрику лихорадит оттого, что на одном маленьком участке ей привита автоматика. Так что бы произошло с тем заводом, который мы с вами недавно проектировали? Вы там всюду насовывали экспериментальные, еще нигде не испробованные модели, требовали разработки новых механизмов специально для нашего завода. И вот я спрашиваю: если тут вы мучаетесь, то какой бы кошмар вы устроили там? Сколько бы лет мы потеряли на освоении? Сколько миллионов бы все это стоило?

Но если Пустыхин был не прежним, то Лесков набрался опытности. Он слушал Пустыхина с улыбкой, хотя у него не было ответа на пустыхинские жестокие вопросы. Пока тот говорил, Лесков вспоминал еще более жестокое: «Прекратите кошмар автоматики!» Что ж, он вынес тогда Надино осуждение, насмешки Пустыхина вынести легче.

Он ответил Пустыхину с вежливой рассудительностью: — Во многом вы правы, Петр Фаддеевич, я признал это раньше, признаю и теперь. Мне кажется, однако, вы не понимаете сути моей теперешней работы, как не понимали моих прежних требований.

Пустыхин предложил с задором:

— А вы растолкуйте, может, и пойму. Уверяю вас, я не такой уж тупица.

Лесков сказал холодно:

— Тогда, в проектной конторе, я требовал радикального технического скачка...

— Вот именно! Немедленной революции в технике, — на меньшее вы не были согласны. Но ведь она была неосуществима.

— Возможно. Я зарывался, и меня побили. Но требовать я должен был.

— Не понимаю все же, дорогой Александр Яковлевич...

— Сейчас поймете. Впрочем, я уже разъяснил это. Проектировщик создает совершенно новое предприятие. Надо добиваться, чтоб оно действительно было ново. Это — творчество, а творчество без полета немыслимо.

— Понятно, — сказал Пустыхин насмешливо. — А если сейчас вы нового производства не создаете, то творчества у вас нет, а одно ремесло, и нельзя от вас требовать полета. Прекрасное рассуждение, им можно любое крохоборство оправдать и облагородить!

— Вы приписываете мне свои собственные рассуждения, — спокойно возразил Лесков. — Дайте мне высказаться, и вы увидите, что дело не так просто.

— Александр Яковлевич, я уже полчаса только и прошу вас высказаться!

— Моя теперешняя работа — мелочь, спорить не буду. Но эта мелочь несет в себе революцию не меньше той, которой я требовал в чертежах проекта.

Пустыхин удивился:

— Революцию? В производстве? Побойтесь самого себя, если бога не боитесь! Та же технология, те же машины...

— Души иные, — прервал его Лесков. — Об этой революции я и говорю — о перевороте в отношении людей к производству. Регуляторы мои маловажны, согласен, но они потрясают рабочих. Труд их становится иным, легче и умнее. Они сами поднимаются на новую ступень, это — следствие моей работы. Люди начинают жить автоматикой, большего я пока не могу требовать.

Пустыхин с ироническим уважением покачал головой.

— Однако вы закрутили, не ожидал. От переворотов в технике вдруг скакнули к переворотам в психологии. Мысль, впрочем, здесь есть, надо в ней разобраться.

— Разбирайтесь, не возражаю, — поспешно сказал Лесков, обрадованный тем, что легко выпутался из трудного спора.

4

Лесков не торопился с разработкой проекта полной автоматизации фабрики. Он помнил о прежних провалах и давал мыслям устояться. Он прикидывал и рассчитывал, принимал и отвергал. Стол его был завален литературой по обогащению.

Настал день, когда он вызвал Закатова и поделился с ним идеей комплексной автоматизации обогатительного процесса.

— Всю цепочку? — переспрашивал потрясенный Закатов. — Вы это серьезно, Александр Яковлевич? От подачи руды на фабрику до контроля потерь металлов в хвостах?..

Лесков утвердительно кивал головой. Закатов долго не мог успокоиться. Он выдвинул ряд общих возражений. Знает ли Лесков, что такая работа по плечу лишь специализированному институту, а не их в конце концов жалкой лаборатории? Пусть Москва занимается мировыми проблемами, на кой черт нам лезть в это дело? И деньги! Где они возьмут миллионы, требуемые для проведения этого плана?

Лесков пункт за пунктом разбивал возражения. Дорогой Михаил Ефимович, творит не тот, кому по штатному расписанию положено ходить в творцах, а тот, кто может творить. Они способны взвалить себе на плечи подобное задание, этим все сказано. Что касается денег, — будет грамотный проект — дадут и деньги.

— Давайте подбирать аппаратуру для автоматизации каждого узла, — предложил Закатов, понемногу загораясь.

Тут затруднения вставали одно за другим. Промышленность выпускала ограниченный ассортимент приборов, среди них не было тех, что требовались.

— Черт знает что! — ругался раздраженный Закатов, расшвыривая по столу каталоги. — Самое живое и передовое дело — автоматика, а заводы выпускают ту же аппаратуру, что двадцать лет назад, — ртутные и мембранные расходомеры, допотопная пневматика. Потрясающая косность! Слушайте, мне кое-что явилось в голову.

Он схватил кусок ватмана и стал набрасывать схему придуманного тут же нового прибора. Лесков с улыбкой остановил его и отодвинул в сторону ватман. Закатов, увлекаясь деталями, часто забывал о существе. Каждый намек на затруднение, одно слово «проблема» немедленно рождали у него поток ослепительных и не всегда вздорных идей. Он лаже книги читал с трудом: мысли авторов путались с его собственными, улучшавшими только что прочитанное, это страшно мешало разбираться в изложении. Недоброжелатели острили о нем: «Дайте на вечер Закатову школьный учебник физики — утром он представит пятнадцать усовершенствований в пятнадцати областях техники».

Так, обсуждая каждую стадию и звено технологической линии — Лесков недаром в эти дни изучал обогатительную литературу, — они установили, что весь процесс на фабрике поддается автоматизации. Лесков записывал результаты обсуждения, и, когда оно было закончено, техническая революция в обогатительном процессе совершилась, пока только в карандаше, даже не в туши..

— Теперь денег и людей — все закипит! — нетерпеливо сказал Закатов.

— Будут деньги и люди, — повторил Лесков.

Он знал, что еще много дней должно пройти, пока первые автоматы заработают на дробилках и мельницах. Он гнул свою линию, не обращая внимания на подстегивания Закатова и звонки Савчука; тот тоже выражал нетерпение. Для новых споров с плановиками нужно было хорошо подготовиться. Лесков готовился тщательно. Схемы, занесенные в тетрадь, часто менялись. Лесков иногда прямо в цеху вынимал записную книжку и черкал в ней. Когда он во флотационном отделении расправлялся подобным образом с намеченной линией регуляторов, к нему подошла Надя.

— К нам подбираетесь? — неприязненно спросила она. — К вам, — подтвердил Лесков. — Не нравится?

— Если поставите такие же регуляторы, как у измельчителей, вряд ли кому это понравится, — возразила она. — Слишком уж над ними все трясутся.

Лесков стал объяснять, что новая автоматика не потребует большого ухода. Надя отговорилась занятостью и ушла, не дослушав. Лесков пожал плечами и снова, взялся за блокнот, потом с досадой захлопнул его. Он недоумевал. Надя в последнее время держала себя сухо, при посторонних говорила с ним вызывающе резко. Лесков понимал, что это отзвук споров, возникших при наладке регуляторов, но это было странно, он ведь извинился тогда перед ней, по-хорошему извинился, признал свою неправоту. И она как будто простила его, разговаривала дружелюбно и мирно. Ему казалось, что отношения у них наладились — деловые, искренние отношения, те самые, какие нужны. Но уже на другой день, после беседы на площадке, Надю словно подменили: она еле здоровалась, глядела мимо Лескова. Лескову пришло в голову, что тут сказывается влияние Селикова, тот с недовольством следил за ними, когда они вынужденно перекидывались несколькими словами. Селиков мог уверить Надю, что Лесков собирается ухаживать за нею и для этого пускается в объяснения и извинения. Мысль эта была Лескову очень неприятна.

Лесков все больше убеждался в том, что нужно снова поговорить с Надей. Скоро придется разворачивать обширные работы в ее флотационном отделении, без взаимной помощи работа эта пойдет со скрипом. Он теперь часто думал об этом, даже в лаборатории за стендом вспоминал Надю, ее недовольное лицо, хмурые ответы. «Надо, надо потолковать! — думал он. — В конце концов дело этого требует, а так чепуха какая-то, поссорились неизвестно из-за чего».

Вскоре представился и повод для объяснении.

Лесков, выйдя из цеха, увидел впереди Надю. Она, — как и он, выбрала не широкое шоссе, а кривую горную тропку. Лесков сам удивился тому, как вдруг шумно застучало его сердце. — «Дурак, ты, кажется, трусишь! — сказал он себе сердито. — Догони и ее и поговори!» Но это было нелегко — догнать Надю. Она прыгала с камушка на камушек, обычным шагом Лесков не поспевал за ней, а пуститься в бег он не осмеливался.

— Здравствуйте еще раз! — сказал он, наконец догнав ее. — Мы ведь с вами сегодня виделись?

— Здравствуйте! — сказала она, не поворачивая головы.

Некоторое время они двигались молча. Надя легко шла по тропке, а Лесков неуклюже прыгал возле нее прямо по склону. При такой нелепой ходьбе разговаривать было немыслимо, но он в нетерпении слепо ринулся в объяснение.

— Слушайте, — сказал он. — Я хотел спросить: вы что, сердитесь на меня?

Она ответила, не поворачивая головы:

— Ну вот еще! За что мне на вас сердиться?

Он продолжал, все более смущаясь:

— Может, мне показалось? Вы совсем по-другому держитесь, чем раньше.

— Не понимаю, — сказала она нетерпеливо. — Один раз вы уже извинились за грубость. А сейчас вы чего, собственно, добиваетесь?

Он хмуро ответил:

— По-честному, от вас лично я ничего не добиваюсь. Просто нам предстоит совместно работать над сложными проблемами и вот нужно установить хороший деловой контакт...

— Значит, это чисто деловая беседа? — сердито спросила она. — Тогда зачем вы выбираете такое неподходящее место? — Деловые разговоры лучше вести в кабинете Савчука при свидетелях. Если у вас имеются ко мне претензии, прошу их высказать именно там.

Он еще пытался продолжать объяснение:

— Ну, при свидетелях не обо всем можно. Мне вот кажется, что вами командуют настроения. Но почему на мою долю отпущены только плохие ваши настроения, непонятно.

— А я удивляюсь вашей проницательности, — отозвалась она еще сердитей. — Как это вы вообще разглядели, что у меня бывают настроения? Мне думалось, я для вас вроде винтика в вашем регуляторе, одна из деталей технологического процесса. Нужен этот процесс, волей-неволей приходится иметь дело со всеми его деталями, в том числе и с начальниками. Не нужен, можно и не обращать внимания, будто их и нет. Что разве не такое у вас отношение к людям?

Он даже вспотел от нелепости своего положения и раскаивался, что начал этот рискованный разговор.

— Вы, конечно, сами знаете, что сильно преувеличиваете, — заметил он, пытаясь улыбнуться. — Возможно, я суховат с людьми, но не с вами...

Надя быстро взглянула на него.

— Вам куда? — спросила она...

— Сюда, — проговорил он хмуро, показывая рукой на единственную тропку.

— А мне в другую сторону. До свидания!

И, прежде чем он успел ответить, она побежала вниз по склону. Оскорбленный, он посмотрел ей вслед и поплелся по тропинке. Так ему и надо! Раньше нужно проверить брод, а потом соваться в воду. И вообще, что ему за горе, какое у нее настроение? Он чуть ли не влюбленного из себя разыграл, она так, вероятно, и примет это.

— К чертовой матери! — мстительно сказал он вслух. — Сперва Анечка, потом Анюта, потом эта Надя, потом еще кто-нибудь. Когда ты наконец поймешь, что роль Казановы не про тебя? Оставь эти шутки Селикову. А о делах, в самом деле, можно дотолковаться и у Савчука.

Лесков давно скрылся за кустами, а Надя продолжала бежать, словно за ней гнались. Она влетела в комнату запыхавшаяся и красная. Катя, валявшаяся в постели после ночной смены, в испуге вскочила: она еще не видела подругу такой возбужденной.

— Все понимаю! — торжествующе крикнула Катя, спуская голые ноги на пол. — Был важный разговор с нужным человеком, так? Запиши под номером вторым, после Сережи, и не задавайся. Пока до десятого номера не доберешься, все равно не разрешу по-серьезному влюбляться! Рассказывай, рассказывай: кто и что?

Надя, раздеваясь, стала рассказывать. Катя жадно слушала, в нетерпении перебивала. Есть один человек; она, Надя, с ним старается не разговаривать из-за его всегдашней грубости. («Вот нахал! — вознегодовала Катя. — Еще грубить осмеливается!») Сейчас он привязался, вздумал провожать ее и извиняться. Она, конечно, отрезала: отстаньте, объяснения ваши мне неинтересны. А потом объявила: у нас дороги разные, вам — сюда, мне — туда. И сейчас же убежала. («А он? — в восторге спрашивала Катя, она любила решительные расправы с поклонниками. — Он что, Надя?») Он? он ничего, он стоял, у него было жалкое лицо. Она убежала, а он ни слова больше не сказал, все стоял на одном месте.

Катя глубоко вздохнула и поцеловала подругу.

— Вот видишь! — сказала она с ликованием. — Сколько раз я тебе говорила, что если человек по-настоящему полюбит, значит, хороший парень. По всему видно, он просто замечательный. Теперь признавайся: кто? Тот самый, о ком я говорила?

5

Развитие совершалось своим — порядком: глубинные воды катились неудержимо вперед, пена взлетала до небес Все это были разные стороны одного процесса, а заинтересованным людям казалось, что между ними непримиримое противоречие.

Лесков двинулся штурмовать крепость своих противников во всеоружии. Он вывалил на стол Двоеглазову объяснительные записки, схемы, спецификации; тот только обалдело моргал на них за толстыми, в палец, стеклами. Заговорить Лескову не удалось, Двоеглазов сразу прервал его:

— Минуточку, товарищ Лесков, бумажечка для вас, утром получили. — Он хлопал обеими ладонями по папкам, словно бумажка была пеньком и кололась при ударе. — Вот она, — сказал он, извлекая ее из нижнего ящика стола. — Ответ на наш рапорт, полюбуйтесь!

Этим, точно, следовало любоваться. Лесков в восхищении перечитывал ответ — были еще умные головы на свете! Каждый пункт взвешивался, с ними соглашались: да, пневматика в мокром цехе лучше, да, стоит менять монтаж на ходу — монтируют не на неделю, на года, ничего страшного нет в этом, в ломке плана. Одно только им предлагали: не найдете применение электронным регуляторам, сообщите — другие заводы с руками оторвут. Двоеглазов, улыбаясь, наблюдал за Лесковым. Лесков воскликнул:

— Вот видите, я был прав, даже в Москве признали, а вы не верили!

Плановик педантично возразил:

— Если бы я не верил, что вы правы, я бы этого рапорта в Москву не посылал и коэффициента на новую технику — для временной поддержки — не разрешил. Спорил я единственно затем, чтобы порядок не превратили в анархию. Ну-с, слушаю, какие еще перевороты вы задумали?

Лесков весело заметил:

— Мы, конечно, электронных регуляторов не отдадим: и у нас применение им найдется.

Двоеглазов согласился:

— Можно и не отдавать: хороший хозяин добром не разбрасывается.

Лесков наконец перешел к делу. Он поделился своими терзаниями: плохо работают его приборы, ради них на всей фабрике нужно вводить специальный режим. У него возникла мысль продолжить автоматизацию дальше, на всех звеньях установить регуляторы. Но на это нужны большие средства...

Двоеглазов, сморщившись, словно у него болели зубы, с досадой возразил:

— Удивительный вы человек, товарищ Лесков! Вечно путаете божий дар с яичницей. Представите готовую схему — будем разговаривать о больших средствах. Пока, насколько я понимаю, вас допекает только одно — разработка опытных приборов. На это много не понадобится.

— Все же не меньше миллиона, — ответил Лесков, стараясь говорить спокойно.

Двоеглазов даже подпрыгнул на месте. Привстав, он зловеще придвинул свои очки к глазам Лескова, тот отодвинулся: сквозь стекла очков глаза плановика казались огромными холодными, как у спрута.

Двоеглазов воскликнул:

— Не меньше миллиона?! Посреди года такую сумму? Да вы в своем уме, дорогой товарищ?!

На это Лесков ответил с глубокой убежденностью:

— В своем, Данил Семенович. Уж какой это ум, не знаю, но свой!

Двоеглазов негодующе фыркнул:

— Свой! А собственную работу черните!

Лесков тихо ответил:

— Я ничего не черню. Регуляторы в самом деле работают неважно.

— У меня другие сведения, — отрезал Двоеглазов. Он помолчал, потом снова заговорил, как всегда, безапелляционно: — Никакие разговоров о миллионе на новую тему, ибо темы еще нет. Будем писать в Москву доклад с просьбой ее утвердить вне очереди — можете в докладе хоть десять миллионов запрашивать. Пока начну авансировать понемногу, но не зарываться, ясно? — Он встал и пошел грудью на Лескова. Лесков тоже встал. — Вчера товарищ Савчук рассказывал о ваших новых планах, совсем иначе рассказывал, по-деловому. Вам у него учиться надо. — Он передразнил Лескова: — «Установленные регуляторы работают плохо, нужно к ним еще добавлять регуляторы». Да за одну такую формулировку влепят, и поделом. Напишем, как положено: установили регуляторы — первое крупное достижение, нужно добиваться следующего успеха, другие регуляторы внедрять. Соображаете разницу?

Лесков вышел от Двоеглазова смеющийся и веселый: первое укрепление было взято без особого боя, еще и похвалили, вместо того, чтобы обругать. На следующий форт — на самого Кабакова — он наступал уже без страха. Прорвавшись в кабинет вне очереди, Лесков положил на стол Кабакова телеграмму в две страницы на машинке. Кабаков в изумлении читал предписание от своего имени московскому представителю добиться сверх всяких фондов оборудования и материалов — всего тридцать восемь позиций без примечаний, в примечании еще семь пунктов. Он неодобрительно покачал головой.

— Беспорядок плодишь, товарищ Лесков. Ведь это что же, плюнуть на всякое плановое снабжение?

Еще недавно Лескова смутило бы такое осуждение. Именно этот аргумент, будто он отвергает плановую систему, выдвинул против него Баскаев, и Лесков отступил, не найдя возражений. Но с той поры прошло немало времени, Лесков познакомился с производством и знал, что оно вовсе не так застыло в своей плановой завершенности, каким его любят изображать. Это живой организм, производство, оно гибче и поворотливей сдавивших его норм, и задание, бывало, менялось на ходу, и планы спускали новые, и «беспорядок» можно было «плодить», если только он помогал делу.

Уверенный, что Кабаков знает все это не хуже, ёго, Лесков разъяснил с улыбкой:

— Иначе не выходит, Григорий Викторович. По плану нужно нам ждать следующего года. За это время мы горы перевернем. Придется рискнуть.

Кабаков тоже усмехнулся:

— Смотрите, чтобы горы ваши не родили мышь, бывает!

Он протянул Лескову подписанную телеграмму.

— Отправляй свое творение. Дадут мне нагоняй за него, не обижайся, честно поделюсь с тобой.

Таково было глубинное течение. А наверху разрасталась шумиха вокруг нескольких налаженных регуляторов. Автоматизированный передел стал популярен в Черном Бору. На верхней площадке появился корреспондент местной газеты, его отчет с портретами Лубянского и Закатова носил торжественное название: «Поступь новой эпохи» — и имел не менее выразительный подзаголовок: «Лиха беда — начало». Профсоюзные деятели теперь на каждом собрании говорили об автоматах, плановики вписывали внедрение автоматики в свои отчеты, бухгалтеры подсчитывали снижение себестоимости продукции от сокращения нескольких рабочих. По приказу начальника комбината на Лескова и группу его сотрудников пролилась крупная денежная премия: рычаги регуляторов приподняли заветный крючок — какую-то графу в каком-то поощрительном параграфе некоей важной инструкции по внедрению новой техники. К удивлению Лескова, шумиху возглавил Лубянский, он раздувал ее, даже предложил Лескову написать для центральной печати статью. Лесков отказался, статья появилась в техническом бюллетене министерства за подписью одного Лубянского. В ней не было ни слова о просчетах и срывах, зато подробно сравнивались старые и новые показатели. Автоматы вели процесс, каждая цифра и диаграмма кричала об этом. Лесков в негодовании сказал Лубянскому:

— Послушайте, что же это такое? Вы показуху расписываете! Это же барабанный бой и художественный свист, одни достижения!

Лубянский оправдывался:

— Некоторая показуха необходима: трудности наши относительны, завтра их не будет, а успех абсолютен, он усиливается, а не проходит. Я старался акцентировать на существенном, а не на мелочах. Неужели вы против этого?

Статья незамеченной не прошла, через некоторое время в Черный Бор со всех концов страны посыпались письма. Проблема автоматического регулирования плотности пульпы живо занимала гидрометаллуртические, химические и цементные заводы. Как-то утром Лескову позвонил Кабаков и сообщил, что министерство посылает в Черный Бор бригаду специалистов по автоматике: ленинградцы и москвичи будут изучать их достижения. Лесков в отчаянии выругался. Какие еще достижения, что за парады, кругом сплошные неполадки — голову над водой еле держим! Кабаков захохотал в телефон — Лесков впервые слышал его смеющийся голос. Что же, показывай неполадки, товарищ Лесков, раз уж нет достижений, на неполадках люди тоже учатся! В общем, готовься встречать собратьев по приборам.

Хуже всего было то, что Лескова разрывали на части по пустякам: вызывали в редакцию газеты и в клуб на собеседования, просили читать публичные лекции, требовали на совещания по соцсоревнованию, по техпропаганде, по техучебе. Тема этих бдений была неизменно одна и та же: достижения лаборатории в автоматизации производственных процессов комбината. Лесков вскоре понял, что если не отобьется от этого мутного потока ринувшихся на него популяризаторов и организаторов, то жизнь его иссякнет на заседательских стульях. Он написал в технический отдел, вызвавший его на очередное пустопорожнее совещание, дерзкую записку: «Явиться для обсуждения внедрения в производство новой техники не могу, так как занят внедрением новой техники». В Черном Бору встречались любители острого слова, записке Лескова посмеялись, но помощи от нее, оказалось, кот наплакал. Труднее всего было отделаться от руководителей черноборского научно-технического общества ОНТИ. Эти люди, два инженера — низенький, худой, и высокий, толстый, — были существами с потрясающей силой проникновения в любую щель. Они бегали по предприятиям, возникали в кабинетах, появлялись в президиумах совещаний. В кабинете Лескова каждые полчаса звонили телефоны — то низенький, то высокий упрашивали прочитать лекцию по регуляторам.

— Да ведь в тематике у нас она стоит! — умолкли они поочередно. — Все разделы выполнили, а по автоматике провал: ни одной беседы и лекции.

Чтобы покончить с этими приставаниями, Лесков дал согласие, но ужаснулся, когда ему предъявили график: лекция была на одну тему, но мест, где следовало ее прочитать, указали свыше двадцати.

Первое выступление состоялось в клубе на окраине. В назначенное время слушатели не явились, и Лескову пришлось прождать около часа, пока высокий, толстый — он был в этот день организатором — бегал собирать народ. Всего явилось семеро случайных людей, автоматика их не интересовала, они зевали и с тоской ждали конца. Лесков вышел с лекции с чувством стыда за себя и с сознанием, что три часа времени глупо потеряны. Но высокий руководитель из ОНТИ был в восторге..

— Открыли счет в графике! — ликовал он. — Вы думаете, много найдется городов, где читаются лекции по автоматике? А у нас глушь, и нате — самые передовые идеи обсуждаем!

Решение Лескова плюнуть на графики и не читать никаких лекций ошеломило его.

— Да мы оплатим вам все расходы, каждый потерянный час оплатим! — твердил он.

Больше, впрочем, ни толстый инженер, ни его тонкий напарник не звонили: Лесков с достаточной убедительностью послал их к черту.

6

Теперь он мог приступить к настоящей работе. Мастерская была завалена заказами. Закатов принес схемы двух новых приборов: один давал сигналы, когда по транспортеру проскакивал вместе с рудой кусок металла, второй показывал количество плохо измельченных песков, возвращающихся обратно в мельницу. Оба прибора были основаны на электромагнитных явлениях и по идее казались довольно простыми:

— Молодец! — похвалил его Лесков. — С такими приборами дело у нас выгорит.

— Мне тоже так кажется, — скромно признался обрадованный Закатов. — В принципе все точно.

От хорошего принципа до работоспособного образца путь оказался нелегким. Закатов один за другим браковал изготовляемые мастерскими модели. Как и всякий изобретатель, он не любил помощи со стороны и стремился все сделать сам. На его карандашных эскизах то и дело перечеркивались линии и размеры и вписывались новые. В конце концов напластования последовательно опровергающих одно другое размышлений так причудливо переплелись, что разобраться в них мог только начальник мастерской: сам Закатов давно уже не понимал, что к чему. Лесков не вмешивался в его работу. Ему хватало хлопот по выпуску серии пневматических плотномеров.

Как-то, придя с фабрики, Закатов злорадно сказал Лескову:

— Вы взялись помогать Галану, а он обошелся сам. Полностью обставил вас — смонтировал четыре новых регулятора на второй секции.

Лесков удивился:

— Не может быть! Зачем ему это нужно? Ведь авторства от него мы не отнимаем.

Лесков уже хорошо знал, что Галана в каждом деле интересует только личная выгода, и, хоть это по-прежнему казалось ему диким и недопустимым, не считаться с этим он не мог.

— Смотря какое авторство! — усмехнулся Закатов. — На изобретение или на техническое усовершенствование — разница существенная. И потом Галан — индивидуалист. Это я вам серьезно. У него принцип — свое пахнет лучше. — И Закатов подтвердил свое мнение о Галане торжественными стихами: — И верю я, что уж никто другой не затемнит моей звериной рожи. Как хорошо, что я один такой, ни на кого на свете не похожий!

Лесков решил:

— Схожу сам посмотреть.

Галан встретил Лескова в цехе и благодушно взял под руку.

— Ну, как, Александр Яковлевич, не ожидали? Вы работали и мы времени не теряли, пораскинули мозгами, кое-что переконструировали. Прошу, любуйтесь! Продукция «люкс».

Новые регуляторы были лучше старых, это Лесков определил сразу. Но, мысленно сравнивая их с лабораторными, Лесков отдавал предпочтение лабораторным. Он старался быть объективным, он вспоминал все недостатки своей модели. Дело от этого не менялось, регулятор Галана хорош, но разработанный ими был лучше., — Очень неплохо! — искренне сказал Лесков. — Но, знаете, я должен вас огорчить — наш регулятор удачней. Столько раз я вас приглашал, а вы все не выберете времени посмотреть.

Галан торжествующе улыбнулся.

— А чего мне смотреть? У меня своя модель, у вас своя.

— Что ж, конкурировать начнем? — засмеялся Лесков.

— У меня козырь против вас имеется — приоритет, — продолжал Галан. — Есть решение бриза внедрять мою конструкцию, а у вас заказ на одни электрические автоматы. А как они регулируют, сами знаете.

Он насмешливо подмигнул раздосадованному Лескову. Разговор принимал неприятный оттенок, Лесков не хотел продолжать его в этом тоне. Он примирительно проговорил:

— Заказ изменен. Разве вы об этом не слыхали? Нет, Александр Ипполитович, лучше не драться, мы ведь одно общее дело делаем.

— Испытывайте вашу конструкцию, — повторил Галан. — Пусть все сравнивают, я не боюсь честного соревнования. Хотя, по-моему, Александр Яковлевич, модель ваша ни к чему: изобретение это мое, зачем вам лезть в чужую работу со своими усовершенствованиями?

Так откровенно Галан еще не говорил с Лесковым. Губы Галана приветливо улыбались, слова были хмуры и злы. И через полчаса, возвращаясь в лабораторию, Лесков сам говорил себе почти это же. Каждый вправе бросить ему в лицо, что он примазывается к чужому изобретению, чуть ли не крадет чужую мысль. Новый регулятор Галана вполне работоспособен. Зачем же предлагать еще одну модель? В этом наверняка увидят конкуренцию, а не здоровое соревнование. Лучший способ не пачкаться — от грязи подальше.

Но потом Лескова охватил гнев. Как это по-обывательски — не пачкаться, отступить! Тут не личная заинтересованность Лескова или Галана, а нужды великого дела — автоматизации производства. Любое улучшение важно — не для одного их дела, для десятков заводов Советского Союза, для тысяч людей. Уверен ли он, что их лабораторная конструкция лучше старой галановской и новой его модели? Уверен, конечно! Так в чем же дело? Семафор на дорогах техники открывается только лучшему — таков закон развития. Соревнование будет честным, от начала до конца честным.

В этот же день Галан, прогуливаясь по цеху, встретил Закатова. Они соблюдали внешние формы дружеского общения, особенно Галан, Закатов временами срывался. Сейчас он возился со своим пескомером, измерявшим, сколько руды возвращается в мельницу на доизмельчение. Галан присел около него на корточки.

— Непостоянство показаний? — поинтересовался он, кивая головой на прибор.

— Непостоянство, — неохотно подтвердил Закатов. — И, главное, не могу найти причины.

Галан в электротехнике разбирался хуже, чем Закатов, но ему со стороны многое было виднее. Он подал несколько советов, и Закатов внимательно выслушал их; там, где он не находил конкуренции своим личным работам, Галан был объективен и охотно делился знаниями. Он даже любил помогать другим.

— Нет, это не то, — мрачно сказал Закатов. — Кусочек пермаллоя мне нужен. А где его возьмешь? Все склады облазил — ни грамма.

— А супермаллой подойдет? — спросил Галан.

— Да это же еще лучше! — закричал Закатов. Он с надеждой и волнением смотрел на Галана. — Слушай, Александр Ипполитович, ты серьезно? Мне немного — двести граммов. Очень прошу, дай!

Галан сказал великодушно:

— Без единого звука дал бы, если бы имел. Но нету. Зато знаю, где можно достать. У Шишкина полка забита супермаллоем, он сам мне признался. Только условие: пойдете к нему, на меня не ссылаться.

Закатов потускнел.

— У Шишкина выбьешь! — сказал он с досадой. — Сам уйдешь с шишками.

Галан хитро посмотрел на него.

— А ты Лескова пошли. Паренек пробойный. Сразу за горло хватает.

Говорил он это совершенно искренне. Он уже раздумывал, чем бы еще помочь Закатову. Надо было, чтоб Закатов с головой погрузился в разработку своих новых приборов. Только в этом случае он не полезет в драку, когда станут порочить его электрические плотномеры: не до них будет. Ему, Галану, хватит борьбы с одним Лесковым. Баба с воза — кобыле легче.

7

Юлия последовательностью не отличалась — она то хвалила, то ругала Черный Бор и каждый раз одинаково горячо. Лесков понимал, что в противоречиях этих виноват не столько город, сколько он сам. Когда Юлия думала о том, что пробудет с братом еще долго, недели две, все ей в Черном Бору нравилось. А вспоминая, что рано или поздно придется расстаться, и уже надолго, может быть, на года, Юлия падала духом, и мир представал перед ней в черном свете. Лесков был растроган и озадачен. Он знал, что сестра любит его много больше, чем он того заслуживает, сейчас эта любовь только сильнее проявилась у Юлии: ее страшило расставание. Тогда, в Ленинграде, он убеждал ее, что в Черном Бору надолго не застрянет — ну, месяца на три-четыре, не больше, пока не наладит дело и не передаст опыт. Теперь она сама видела, что он скоро отсюда не выберется: его захватывала работа, у него появились какие-то привязанности — девушки на фабрике.

Лесков сказал Юлии с досадой:

— Не понимаю, Юлька, чего ты хочешь?; Не могу же я бросить самовольно Черный Бор только потому, что тебе хочется видеть меня около себя.

Она призналась:

— Знаю, что не можешь. Но и я не могу не огорчаться, пойми меня.

Лесков пожимал плечами. Он предпочитал отмалчиваться сколько было возможно. С некоторых пор ему стал помогать в этом Павлов. Хмурый металлург не вынес одиночества и снова появился в комнате Лескова. Он опять завладел своим старым стулом в углу. Лесков обрадовался его появлению, а Павлов сразу оживился и упрекнул себя, что несколько дней не приходил. Юлия тоже была очень приветлива с Павловым. Она даже старалась ему понравиться — по-своему, сдержанно и застенчиво. Но Павлов не заметил этого. Юлия по-прежнему оставалась для него помехой в его отношениях с приятелем. Её заботливость угнетала его, он садился к столу с неохотой, его обязательное «спасибо» после чаепития звучало почти неприязненно. Юлия вскоре сообразила, что ее присутствие тяготит Павлова. Она пыталась сделать себя неслышной и невидной: мало было людей так хорошо умевших быть незаметными, как она, но и у нее это плохо получалось в тесной комнатке. И огорчения своего она не сумела скрыть.

— Странный он, твой Павлов, — пожаловалась Юлия брату. — Кажется, я ничего плохого ему не сделала; почему же он так враждебно смотрит на меня?

Лесков старался выгородить приятеля:

— Глупости, Юлька, — «враждебно»! На стену или на стол он смотрит еще враждебней. Такой уж он человек.

Она кивнула головой.

— Именно, Санечка, такой человек, для которого что я, что стена — все едино. Стена даже приятнее.

Она поспешно добавила, чтобы брат не очень расстроился:

— Я не в претензии! Я ведь сама знаю, что нудная. Не удивительно, если мое присутствие ему скучно и тягостно.

Лесков догадывался, что печалит сестру. Он сразу заметил, как она старалась понравиться Павлову. И его больше, чем ее, огорчило, когда Павлов не откликнулся на эти робкие попытки. Лескову искренне казалось, что все мужчины слепы: только на таких женщин, как его сестра — умных, добрых и ласковых, — и следовало обращать внимание. О себе он знал твердо: повстречайся ему девушка, похожая на Юлию, он влюбился бы в нее без памяти.

Холодность Павлова к Юлии сказалась и на отношении Лескова к своему замкнутому приятелю. Лесков сердился, хотя и не смел этого показать. Внешне это проявлялось лишь в том, что они с Павловым молчали больше обычного. Но Павлов ничего не имел против молчания.

Лесков сказал, горячо обнимая сестру:

— Не смей даже думать так, Юлька! Ты чудная, а не нудная. Мало ли какие дураки существуют на свете, так на всех и огорчения не хватит, если из-за каждого вздора огорчаться. И если по правде, так это мы с ним нудные: только о своих делах и говорим.

Но Юлия не утешилась. Она тихонько высвободилась из рук брата. Она была огорчена больше, чем хотела показать. «Совсем я раскисла!» — подумала она о себе сердито. Неприятный разговор с братом оставил в ее душе черный осадок. В следующий приход Павлова она вместо того, чтобы сразу приняться за хлопоты у стола, небрежно спросила:

— Чаю не хотите?

Он поспешно ответил, обрадованный, что его не тянут немедленно к столу:

— Нет, нет, Юлия Яковлевна, совсем не хочу.

Тогда Юлия отомстила ему, отвернувшись от него и брата. Они тихо беседовали, а она занялась разбором привезенных в Черный Бор рабочих записей. Она разложила на столе тетради, достала цветные карандаши, миллиметровую бумагу.

Павлов рассказывал Лескову о своих неудачах. В последнее время неудачи стали у него правилом. У них в проектном отделе выдали новое задание на расширение одного из небольших цехов на кобальтовом заводе — нужно к старым печам подстраивать еще одну. Павлов пытался предложить взамен печей автоклавы, чтобы обрабатывать сырье газом или кислотой, но его высмеяли на техническом совете. Он считает так: металлурги попросту помешаны на своих высоких температурах, ни о чем другом они и слушать не хотят — одержимый народ.

— Все мы одержимы, — равнодушно сказал Лесков. — Консерваторы в технике в этом отношении мало отличаются от революционеров, страсти у всех хватает. Людей нужно различать не по страстности, а по целям, которые они себе ставят, тогда и станет ясно, кто впереди, а кто в хвосте. Как ты этого не понимаешь?

Недавно они, сами не заметив, как это произошло, стали говорить друг другу «ты».

— Правильно, — согласился Павлов. — Вот и я считаю: нет более важной и настоятельной цели, чем полностью реконструировать современную отсталую металлургию.

Они замолчали, углубившись в свои мысли. В этот день Павлов был слишком подавлен, думалось плохо. Он стал наблюдать, близоруко и невнимательно, за Юлией. Ему казалось, что он еще не видел ее такой. Юлия была новая и неожиданная. Она склонялась над столом, всматривалась в нарисованный график. Числа, разбросанные и внешне противоречащие одно другому, на разграфленной бумаге складывались в какую-то кривую. Вначале Юлия делала свою работу равнодушно, потом взволновалась: в кривой была непонятная закономерность, закономерность свидетельствовала о никем еще не описанном законе. Скучная техническая работа превратилась в захватывающе интересное исследование. Юлия уже не могла сидеть спокойно. Она то поднимала, то опускала голову, рассеянно взглядывала на молчащих мужчин. Лесков равнодушно смотрел в сторону, он много раз видел Юлию в таком же состоянии увлечения. Когда Юлия писала диссертацию, она даже заболевала от огорчения, если данные складывались не так, как ей хотелось. Но Павлов был поражен и заинтересован. Он вдруг понял, что непростительно ошибался в Юлии. Он просто ни разу до сих пор по-настоящему к ней не приглядывался. «Старуха!» — пренебрежительно сказал он о ней Лубянскому после первой встречи. «Какая молодая и хорошая!» — взволнованно думал он сейчас. У Юлии было тонкое, одухотворенное лицо, светлые вьющиеся волосы просвечивали в сиянии настольный лампы. А когда она поднимала голову, на Павлова глядели большие, очень темные глаза, полные меткого блеска, хотя, как он твердо знал, глаза у нее светлые, какого-то полупивного оттенка. И даже старившие ее морщинки сейчас казались лучами, разбегавшимися от светящихся в абажурном полусумраке глаз; они не только не старили лицо, но еще яснее подчеркивали его свежесть и чистоту. «Интересная, нет, очень славная!» — удивленно и радостно твердил себе Павлов.

Юлия чувствовала стеснение от его взгляда. Медленно, с трудом отрываясь от бумаг, она поворачивала голову к Павлову. Несколько долгих секунд она всматривалась в него, не понимая, что ему нужно и зачем он отвлекает ее своим тянущим, как рука, взглядом. Потом она увидела его восторженные глаза и вспыхнула. На какую-то долю секунды она стала еще красивее, Павлову показалось, что всю ее залил свет. А потом все разом погасло, лицо Юлии стало прежним, даже хуже прежнего — некрасивым, постаревшим, усталым. Юлия не поняла взгляда Павлова. Она не была приучена к восхищению мужчин. Поведение Павлова казалось ей бестактным. Что ему нужно, этому хмурому человеку, приятелю ее брата? Она значит для него не больше, чем предмет обстановки в комнате. Пусть же он прекратит свое бесцеремонное разглядывание! И, встав, она сказала с подчеркнутой сухостью:

— Простите; Николай Николаевич, уже очень поздно, вы, наверное, хотите чаю?

Павлов взглянул на часы и ужаснулся: было за полночь. Он смущенно пробормотал извинения и ушел. Юлия вернулась к столу, но работать не смогла. Начерченная ею кривая показалась сейчас недостоверной; точки, изображавшие данные опытов, слишком далеко разбегались в стороны. Юлия сердито захлопнула лапку.

Брату она сказала, чтобы объяснить свое новое огорчение:

— Боже мой, ну какой же он все-таки скучный, этот Павлов! Молчит и таращится — ужас просто!

Лесков лег спать, а Павлов еще полчаса бродил по улице. За эти полчаса погода трижды менялась: сперва светила луна, потом шел мелкий дождь, тучи снова разорвались, и на ветвях деревьев вспыхнули сверкающие темным блеском капли. Павлов расстегнул пальто и подставил лицо дождю. Ему было так легко, приятно и вольно, словно случилась какая-то большая радость. Он ходил по темным улицам и ухмылялся. Потом, очнувшись, он стал припоминать, какие произошли сегодня события, породившие такое прекрасное настроение. Ничего хорошего в прошедшем дне не было. День был скорее скверный, один из самых плохих дней в его жизни, радоваться нечему. Нужно печалиться, а не смеяться, думать о важных делах, о своем поражении в конторе, а не о пустяках.

Павлов медленно шел домой, продолжая радоваться и улыбаться. Он забыл о своем поражении, думал все о том же, о пустяках. Он вспоминал, как Лесков хмуро молчал на диване, как Юлия склонялась над столом. Его вдруг охватила нежность к ним.

«Хорошие люди! — думал он растроганно. — Очень хорошие!»

8

Крутилин обходил вместе с Пустыхиным цеха медеплавильного завода, показывая ему производство. Обход был церемонией парадной, металлургию меди Пустыхин знал глубже, чем Крутилин. Крутилин хвалился производственными достижениями, а Пустыхин рассказывал об их новом проекте. Многое в описаниях Пустыхина Крутилину было неясно, многое казалось невероятным: Пустыхин, когда хотел, умел пускать пыль в глаза и так излагал хорошо известные его собеседникам вещи, что те чувствовали себя дураками. Крутилин наконец не выдержал.

— Удивительный вы народ, проектировщики, — сказал он угрюмо. — Все учитываете: и сырье, и машины, и способы переработки, даже климатические условия. Одного не учитываете — человека. А человек — решающая производительная сила, с него нужно и проектирование начинать. Против достижений техники никто не спорит, но только не в них одних суть. Тебе этот цех не нравится, что дымный и загазованный, а мы в нем чудеса творим. Знаешь, как бывало во время войны? У рабочего от газа кровь из носа течет, а он от агрегата не отходит. И отсталый агрегат сто процентов дает сверх того, что ему умники вроде тебя положили.

Пустыхин не любил спорить против общих истин и старался продвигаться дальше азбуки. Почесывая бородку, он ехидно заметил:

— Один ваш работник, Лесков, утверждает, что многим руководителям скоро придется плохо. Людей заменяют автоматы, а с автоматами испытанные приемы бесполезны: в них энтузиазма не зажечь, орать на них бесполезно. Короче, свои затруднения на них не спихнешь.

Крутилин нахмурился.

— Знаю я Лескова, — проговорил он, сдерживая гнев. — Болтун, каких мало. Он у нас регуляторы налаживал, все честь честью сдал, не придерешься. Знал, что я буду принимать сам, и постарался. И что? Скажу по чести, лучше бы и не было ее совсем, этой хваленой автоматики.

— А что? Не работает?

— Хуже. Работает. Пройдем в плавилку, я тебе покажу.

В плавильном цехе они обошли кругом отражательную печь. Регуляторы работали безотказно. Печевые, скучая оттого, что не были все время заняты, как привыкли, виновато глядели на начальство и слишком часто забегали в щитовую поглядеть показания приборов. Было видно, что большую часть времени они здесь и проводят. На самой печи два прибориста, отворачиваясь от бившего в нос газа, устанавливали в своде термопару.

Крутилин выразительно кивнул головой на печь.

— Нравится? Вот она, новая техника, как ее понимают всякие Лесковы. Бадигин, секретарь нашего партбюро, тоже от нее без ума, какие-то новые социальные явления в ней открыл, а по-моему — бесхозяйственность.

Пустыхин с недоумением смотрел то на печь, то на Крутилина. Он ничего не понимал.

— По-моему, все правильно, Тимофей Петрович. Рабочим почти нечего делать: автоматы ведут процесс.

— Правильно! — с торжеством объявил Крутилин. — Печевым работы в смену от силы на час, и работа у них одна — корректировать печь по приборам. Но сократить их я не могу, ибо автоматы, случается, отказывают, нельзя совсем без ручного управления. Это — первое. Второе — для обслуживания автоматики пришлось увеличить штат подсобных рабочих. И люди, видишь, как трудятся — в самом пекле. А я плачу им меньше, чем печевым, они у меня подсобные. Знаешь, что отсюда вытекает? Грызня и зависть. Хороший у меня коллектив был на печи, теперь распадается на глазах. Тоже одно ив следствий автоматики. И, наконец, последнее. Регуляторы требуют ровного снабжения рудой, флюсами, угольной пылью. А где это у нас? Работаем чаще всего с колес. Вот тебе итоги внедрения автоматики! Выгодная штука, не правда ли?

Пустыхин слушал с любопытством. То, что Крутилин рассказывал, было важно и ново. Кругом кричат о парадной стороне автоматизации; есть, оказывается, и оборотная.

— Выходит, ты против автоматизации, Тимофей Петрович?

— Против такой — да.

— Не понимаю, какая же тебе нравится?

— Другая. Та, которой нет. У нас споры тут развели, скоро и тебя в них втянут, а дело, если вдуматься, проще пареной репы. Не нужно нам приклеивать автоматику к старым агрегатам: не дает это эффекта. И насчет ростков коммунизма тоже несерьезно, не вижу никаких особых коммунистических явлений в том, что кое-кому стало легче работать. Если так рассуждать, истоки коммунизма найдем и при феодализме — появилась первая машина, ну стало легче! Не всякое облегчение — коммунизм.

Пустыхин нетерпеливо прервал его:

— Ладно, это ты своему Бадигину объясняй, ваши споры меня не интересуют. Я спрашиваю, как с автоматизацией?

— Это я тебе и объясняю. Нынешняя автоматизация на существующих заводах — мышиная возня. Я имею в виду, конечно, нашу металлургию. Вот усовершенствуйте агрегаты, тогда и автоматика будет у места. Скажу тебе прямо, может, только внуки мои узнают настоящую автоматизацию.

Пустыхин возразил, улыбаясь:

— Смотри не ошибись, Тимофей Петрович. Возможно, не так уж долго осталось жить твоим агрегатам, своими глазами увидишь их гибель.

Возвращаясь в город пешком, Пустыхин все посмеивался. Беседа с Крутилиным бросила новый свет на известные явления, подталкивала самого Пустыхина на новые, смелые решения. Нет, он и здесь пойдет своим путем, не тем, на который его сворачивают Лесков и прочие любители моды. Вот он, результат моды, — к старому жилету пришили новые рукава, назвали эту штуку пиджаком. Или нет, по-другому. Была печь, на печи трудились рабочие-печевые, тяжело им приходилось, бедным, — таково начало сказочки. Пришел энтузиаст с горящими глазами, открыл кампанию за новую технику, приклеил новую технику к старой печи — это продолжение. А коней? Печевым стало легко, зато плохо новым рабочим, дежурным по новой технике, еще бухгалтеры волнуются: где обещанное снижение себестоимости? Так оно оборачивается, друзья, когда непрожеванные мысли немедленно обращают в действие. И еще скажите спасибо, что не намучились с освоением этой мало кому нужной новой техники. Бывает и такое: ночи не спят, перевыполняют показатели по переливанию из пустого в порожнее, поразительных достижений добиваются в этом передовом деле. Нет, он, Пустыхин, не таков, хоть вы его ославили консерватором! Врете, еще посмотрим, кто консерватор. Боюсь, скоро вам придется поднести платочек и посоветовать: «Утрите, голубчики, носик, все-таки неудобно: кругом люди!»

От этих злорадных мыслей Пустыхин взволновался. Он широко шагал по пустынному шоссе, размахивая руками, вслух разговаривал с собой. Он издевался — по привычке издеваться над замеченными недостатками, ко думал о другом. Перед ним открывалась панорама нового завода: пока этот завод был только в его мыслях, это было еще его личное творение, зародыш того гиганта, что вознесется на этом месте, где он, Пустыхин, сейчас идет. Пустыхину становилось страшно самого себя, он с ликованием в себя всматривался. Он и раньше ценил себя, знал полную свою меру; он видел шире, умел больше, шел дальше, чем все другие, встречавшиеся ему на пути, он привык к этому неизменному уважению окружающих. Только раз в жизни его обвинили в отсталости и ретроградстве. Мальчишка, увлекающийся и вздорный, обвинил! Он видел сегодня творение этого мальчишки, жалкую попытку подлечить и подкрасить старые агрегаты — древняя дама припудрилась и подрумянилась, молодой она не станет, нет! Подлинная молодость — в задуманном им заводе, такая звенящая, такая полная, такая сияющая молодость, какая и в самых ярких снах вам не приснится! Рана, нанесенная Лесковым, еще глухо ныла в его душе, он не мог не вспоминать о ней: она сама о себе напоминала. Теперь он видел в своем воображении совсем другую картину — реванш. Он предугадывал события, заранее ими наслаждался. Перед ним стояло растерянное, потрясенное лицо Лескова, его восторженные глаза — полные испуга и восхищения глаза! И Пустыхин беседовал с этим вызванным к себе, поставленным на должное место Лесковым, дружески говорил ему, посмеиваясь: «Вот мы и встретились с вами чуть повыше леса стоячего, чуть пониже облака висячего. Как, не трудно было добираться? Да вы не бойтесь, дорогой, не бойтесь, высота — это же не пустота, почва у нас под ногами реальная, как всегда. Просто пришла эта пора — показать вам всем, что мы можем и чего стоим!»

Возбуждение одолевало Пустыхина, даже долгая дорога не снизила градуса этого возбуждения. Последняя капля переполняет стакан, разговор в Крутилиным был последней каплей — душа Пустыхина выплескивалась наружу. Он кинулся в проектный отдел, прямо в тесную комнатку металлургов. Павлов поднял на него удивленные глаза. Пустыхин, наскоро здороваясь со всеми, потянул Павлова за рукав.

— Давайте в спокойное местечко, — предложил он, вытаскивая Павлова в коридор к окну и по привычке вспрыгивая на подоконник. — Помните, я пригрозил, что имею на вас виды? Короче, как вы отнесетесь к тому, чтобы поработать над проектом металлургического завода, на котором не будет ни одной металлургической печи? Ни одной, понимаете?

Пустыхин наслаждался эффектом. Павлов, волнуясь и покраснев, забормотал, что ни о чем так не мечтал, как об этом. Нет, в самом деле? Настоящий большой завод без пламенных металлургических печей? Это великолепно, честное слово! Его, павловские, конструкции автоклавов...

Пустыхин решительно прервал его.

— Ни к чертовой матери не годятся ваши автоклавы, — объявил он бесцеремонно. — Кустарщина и недоносок все эти конструкции — и ваши и чужие. Для средней руки предприятия еще пойдут, не спорю, а у нас — гигант! Первое, что я от вас категорически потребую, — это уважение к размаху и техническому уровню нашего будущего завода.

После такого внушительного вступления Пустыхин перешел к сути дела. Он не стеснялся, захватывал больше, чем мог поднять, требовал неосуществимого, обещал невозможное. Намечать так намечать, при конкретном проектировании уточним! И еще прежде чем он кончил, растерянный, ликующий, изумленный Павлов превратился из случайного знакомого, каким был до сегодняшнего дня, в его влюбленного ученика и верного последователя.

— И на все это — новые конструкции, технологическую схему во всех деталях и строительные чертежи — отводится года полтора, не больше! — энергично закончил свою речь Пустыхин.

Павлов ужаснулся:

— Да как это возможно? Я же не одним этим занимаюсь, мне не успеть.

Пустыхин от души расхохотался.

— А если бы вы одним этим занимались, то разве вы успели бы? Вам одному, дорогой мой, на подобную разработку понадобится лет триста восемьдесят, триста девяносто — ну, годков на десяток могу ошибиться. Времени такого у нас нет, придется искать другой выход. Как вы смотрите на то, чтоб возглавить технологическую группу в нашей проектной конторе? Коллектив наш небольшой, провинциальный — Ленинград! — но человек с полтысячи, в общем, наберется, и все мы в ближайшем будущем будем корпеть над этим заводиком. О переводе не тревожьтесь, это я вам оборудую просто и мирно.

Павлов был согласен на все после такого блестящего предложения. Пустыхин спрыгнул на пол и рванул Павлова за руку.

— Быстрей в гостиницу, оглушим Шура с Бачулиным! Я еще ничего не говорил им об этом варианте... Представляете, что с ними произойдет?

В гостинице, прежде чем ворваться в номер, Пустыхин присел в холле к столику и набросал короткое категорическое письмо Неделину. Запечатав конверт, он перехватил на бегу Мегеру Михайловну.

— Отправьте немедленно, — распорядился он. — И квитанцию не забудьте: заказная авиапочта.

Мегера Михайловна без спору приняла письмо и побежала сама вручать его техничке. Пустыхин был единственным человеком в гостинице, кого Мегера Михайловна побаивалась. Он дружески ей улыбался, как-то даже по плечу потрепал, словно девчонку, все это было немножко страшновато, такие развязные люди — у нее уже имелся печальный опыт — могли при случае и ногами затопать.

Проходя по коридору, Павлов показал на дверь Лескова.

— Может, пригласим Александра Яковлевича? Он в новой технике хорошо разбирается.

— Ни в коем случае! — поспешно сказал Пустыхин. — Вообще строжайшее условие — ваш приятель пока даже догадываться не должен, над чем мы работаем.

Шур после нескольких трудных дней работы отсыпался. Пустыхин заорал дикую пиратскую песню, расталкивая его. Шур, ругаясь, протирал глаза. Дремавший Бачулин, широко зевая, потянулся к непочатой бутылке пива.

Пустыхин торжествующе объявил Шуру:

— Бери бумагу и рисуй возражения, Вениамин. Ставлю тебя в известность, что мы переходим на новый технологический вариант.

Узнав содержание нового варианта, Шур до того возмутился, что седые его космы встали дыбом.

— Вздор! — запальчиво закричал он. — Площади основных цехов увеличиваются в два раза — какой дурак на это пойдет?

— Ты на это пойдешь, — бесстрашно отвел удар Пустыхин. — Говорю тебе, ты первый! Сейчас я тебе подробно объясню, и ты голый пустишься в пляс по комнате, беру в свидетели Николая Николаевича. Пойми, дорогой, площади цехов увеличиваются, но сами цеха ставятся впритык один к другому — в целом промплощадка уменьшается. Сколько мы на одном внутризаводском транспорте выигрываем, подсчитай-ка! И никаких зеленых насаждений между цехами, неужели и это тебя не прельщает?

— Парадоксы! — стоял на своем Шур. — Тебе, Петр, романы писать, а не проекты возглавлять, я это давно подозревал. Никто не утвердит такой огромный перерасход металла, цемента, кирпича. Завод по новому варианту обойдется на полмиллиарда дороже. Не смешите, друзья, и дайте утомленному человеку поспать.

Но Пустыхин не дал Шуру спать. Он с победоносной улыбкой разбил его по всем пунктам.

— Отсталый вы народ, братцы-строители! — заметил он с сожалением. — Категории, которыми ты мыслишь, — эпохи Обломова. Кто тебе сказал, что технически передовые предприятия следует строить по раздутым нормам старой кубатуры? Вы проектировали дверцы, а не цеха, устраивали стеклянные крыши, перекрывали конструкциями десятки тысяч кубометров пустого воздуха — к чему вся эта варварская роскошь, спрашиваю?

Шур наконец не на шутку разозлился:

— Для человека, Петр! Для человека, который требует человеческих условий работы — и воздуха, и света, и простора! И это не роскошь, а необходимость, меня просто потрясает, что надо тебе такие элементарные вещи разжевывать.

— Да ведь людей у нас почти не будет, — вставил слово Павлов. — Автоклавный процесс переработки руд допускает полную автоматизацию всех узлов, рабочие только заходят в цеха для наладочных и ремонтных работ, а постоянно там находиться им незачем.

— Выпьем пивка для очищения мозгов. — предложил Бачулин, разливая пиво по стаканам. Он старался сам не вмешиваться в споры, отдающие высокими принципами.

Пустыхин с торжеством закончил:

— Ну скажи, зачем закрытой наглухо машине, управляемой автоматами, твои головокружительные потолки, твой воздух, твой простор, твое солнечное сияние над головой? Ах, Вениамин, Вениамин, сколько лет тебя лупят, а ты глух и слеп к новому, хоть оно лезет в глаза, гремит в ушах. Бери бумагу, говорю, бери бумагу!

Обсуждение нового варианта затянулось далеко за полночь, и хотя Шур голым в пляс по комнате не пустился, как предсказывал Пустыхин, шуму в номере проектировщиков было так много, что встревоженная. Мегера Михайловна раза три подходила к их двери. Прислушиваясь, она убедилась, что жители номера кричат, как при драке, но драки, похоже, нет: голоса слишком веселы.

9

Закатов не отставал от Лескова. Мысль, что где-то Черном Бору лежит нужный ему супермаллой, жгла его. Но Лесков слушал Закатова без воодушевления. Он понимал, что поход на медеплавильный завод закончится неудачей, Крутилин попросту выставит его за дверь, даже не выслушает просьбы. Закатов доказывал, что к Крутилину и ходить незачем, всеми материалами на заводе распоряжается Шишкин, неужели к этому человеку не подобрать ключей. Лесков с сомнением качал головой.

— Директор, конечно, не дурак, но самодур, — сказал он невесело. — А завхоз у него идиот. Лучше идти к Крутилину, там хоть можно какие-то аргументы выставить, а что аргументы для Шишкина?

Он, однако, пошел к Шишкину. Закатов упросил Лескова не рисковать: вдруг как-нибудь он не так заговорит с Крутилиным, и тот сразу откажет.

Шишкин принял Лескова строго, но снисходительно, в своей любимой административной позе: стоя, с рукой, положенной на трубку телефона. Он не отрицал, что супермаллой у него есть.

— И еще многое иное, — веско добавил он. — Все, чего надо и сколько надо. Слушаю дальше.

Лесков перешел к сути. Им, лаборатории, требуется некоторое количество супермаллоя, граммов пятьсот, не больше. На мясистом лице Шишкина последовательно сменились выражения удивления, испуга, оскорбленности, негодования. Он непроизвольно поднял трубку и положил ее на рычат.

— Пятьсот граммов? — переспросил он, потрясенный. — Да ты в своем уме, товарищ Лесков? Известно ли тебе, что это дефицит? Дефицитом не разбрасываемся.

— Вы все-таки выслушайте меня внимательно, — попросил Лесков.

— Ну!

— У нас разрабатываются новые приборы, вы понимаете?

— Ну!

— Вот мы и просим помочь нашей исследовательской работе.

— Ну!

— Я не понимаю вас, товарищ Шишкин.

— Ну, говорю. Ну, чего тебе надо?

— Я же сказал: граммов пятьсот...

— Слушай, мил друг, — внушительно проговорил Шишкин. — Не в ту дверь стучишься. Здесь охраняют, а не разбазаривают государственное добро... Сколько трудов потратили, пока добыли! Думаешь, для того, чтобы ты свои эксперименты налаживал? Забудь об этом, и расстанемся друзьями.

— Да ведь он у вас без дела лежит, — возмутился Лесков. — А мы пользу получим.

Шишкин усмехнулся.

— Польза для вас, конечно, будет, это ты точно: от чужого дяди попользоваться. А знаешь ли ты, что я вообще не имею права передавать на сторону материалы, отпущенные заводу? Официально запрещено, товарищ Лесков.

Лесков попытался зайти с другой стороны:

— Мы закажем материал в Москве и столько, что сами сможем выдавать всякому, кому понадобится. Месяца через два я возвращу вам все, что брал, даже с лихвой.

Шишкин вдруг разгневался. Он вспомнил, что Галан, тоже автоматчик, выманил у него контрольный кабель и трубы. Тот подъезжал еще хитрее, наобещал златые горы, а получился пшик. Крутилин по-дружески советовал: не лезь в изобретатели, не по тебе это занятие. А он поверил Галану, отнес заявление по инстанции. Делопут же, хоть и приятель Шишкина, докопался, что штатное расписание года за два до этого составлял тот же Шишкин. «Вот как у нас получается, товарищи! — кричал Делопут на совещании. — Сами раздуваем штаты, а потом требуем премии за рационализаторское сокращение того, что перед этим раздували, хотя по инструкции премия за это не полагается». Шишкину поставили на вид недостойное поведение, а штаты урезали сверх того, что он предлагал по галановскому наущению. В результате он остался без славы и — что еще хуже — без премии, на которую так крепко рассчитывал, что и деньги под нее занимал, и Людмилу Павловну порадовал в письме: скоро, мол, отвалю вам с Сашей такую сумму, что затанцуете. Людмила Павловна теперь в каждом послании допытывается, как же с обещанием, а что ей ответить?

Предложение Лескова оживило все эти обиды.

— Слушай, товарищ Лесков, — проговорил Шишкин важно. — Ты человек с дипломом, неужели не понимаешь, что говоришь? А ведь вроде и мальчишке ясно. Ты что у нас берешь? Дефицит. А что возвращаешь? Нормальный товар возвращаешь, вот какая штука, сам говоришь, будет его сколько угодно. А где дефицит, что от нас получил? Куда делся дефицит, я тебя спрашиваю?

Лесков не устоял перед искушением выложить Шишкину все, что он о нем думал. И только когда розоватая лысина Шишкина потемнела от прихлынувшей крови, Лесков прекратил излияния и вышел, оглушительно хлопнув дверью.

Шишкин, оправившись от потрясения, кинулся к Крутилину. Крутилин с трудом разобрал в его путаной жалобе, что Шишкин не выдал Лескову какого-то материала и Лесков пригрозил дойти до Кабакова. Крутилин нахмурился. Поведение Лескова было непонятно... Крутилин, отдавая должное энергии Шишкина, в остальном сам невысоко ценил своего снабженца и, бывало, строгими взысканиями, словно дубиной, выгонял из него дурь. Когда Шишкин с кем-нибудь спорил, Крутилин, еще не зная сути, заранее становился на сторону его противников, выслушивал их внимательней. Но товарообмен между предприятиями запрещался. Если и приходили просить о такой операции, то просили вежливо, понимая, что дело это хоть и широко распространенное, но все же не совсем законное. И Крутилин знал, что к загребущим ладоням Шишкина прилипали порою вовсе не нужные заводу материалы. В таких случаях Крутилин не стеснялся: материалы отдавал в другие цеха, а Шишкина выгонял за дверь.

— Не ори! — сурово приказал Крутилин. — Сейчас узнаем у Жариковского, куда у нас идет твой дурацкий материал.

— Да пойми же, Тимофей Петрович, — с жаром заговорил Шишкин, — шагу без него нельзя, ведь сколько трудов положено!..

Крутилин покосился на него с такой угрюмой насмешкой, что Шишкин сразу осёкся.

Появился перепуганный Жариковский — этот всегда пугался при вызове к директору. Крутилин иным его, кроме как перепуганным, не видел и даже не подозревал, что лицо Жариковского может иметь другое выражение.

Крутилин сказал:

— Нашему Шишкину от трудов его праведных отломилось немного супермаллоя. Так вот, нужна эта штука в приборном хозяйстве завода?

Жариковский видел, что Крутилин чем-то недоволен, а Шишкин сидит красный и взволнованный. Улучив секунду, Шишкин состроил Жариковскому умоляющую гримасу. Жариковский поспешно ответил:

— Конечно, Тимофей Петрович, это вещь полезная.

— А сколько этой полезной вещи требуется на твою плохо работающую службу, чтоб от чужого дяди не зависеть? Килограммы, тонны?

— Ну, сколько... — Жариковский запнулся. — Килограммов десять пока хватит.

Шишкин пришел в ужас:

— Да что ты, что ты, и половины нет!

Крутилин спокойно вынес решение:

— Сегодня же забирай все, что имеется на складе. А то Лесков на наши богатства рот разинул. — Увидев, что Шишкин, ошеломленный неожиданным поворотом, готовится протестовать, Крутилин нетерпеливо оборвал его: — Ладно, все! Жалобы адресуй в ООН.

Но Шишкин еще продолжал бороться. В коридоре он остановил Жариковского. Лицо его стало умильным.

— Товарищ Жариковский, зачем тебе такая уйма первоклассного дефицита? — Он сделает так: требование оформит на весь запас, а выдаст он только треть. Остальное пусть лежит на полке: так надежнее.

Однако Жариковский имел свои представления о надежности. Он твердо знал, что сильнее Крутилина начальника нет.

— Не выдашь полняком, директору доложу! — пригрозил он.

Шишкин покорился горькой судьбе и поплелся на склад; сердце его разрывалось от скорби.

Лесков, вернувшись в лабораторию, с отвращением сказал Закатову:

— Вот вам результат: обругали — и ничего не достал. Век не ходил к этому дураку просить и еще бы век не ходить.

Закатов был подавлен. Испытания новых приборов шли трудно. Надежда на улучшение конструкции провалилась. Он обиженно пробормотал, что его участок самый сиротский в лаборатории: ни внимания, ни помощи. Был у него надежный помощник — Селиков, но и того угнали неизвестно куда, как только немного наладили регуляторы.

Лесков почувствовал, что Закатова необходимо успокоить.

— Ладно, позвоните Селикову по телефону, чтоб он явился к вам.

Селиков пришел в тот же день. Закатов так обрадовался его возвращению, что чуть не расцеловал. Селиков, открыто этого не показывая, тоже любил своего раздражительного и увлекающегося начальника. Он ознакомился с новыми приборами, прикинул на стенде, как они себя ведут. Приборы ему понравились. Услышав об истории с Шишкиным, он презрительно заметил, что Лесков и Закатов — дундуки.

— Почему дундуки? — возмутился Закатов. — Слушай, Сережа, сколько раз я тебе говорил: придержи язык. Доведет он тебя до горя.

— Дундуки! — настаивал Селиков, распаляясь. — От Шишкина добром вздумали получить дефицитный материал! А почему вы не потребовали, чтоб он с вами отражательной печью поделился? Эффект был бы тот же. Я считаю, что дело проваливается из-за отсутствия у вас технико-дипломатических способностей.

— У тебя имеются технико-дипломатические способности! — фыркнул Закатов. — Хватит говорни, Сережа, придется как-то изворачиваться.

— И не подумаю, — упрямо сказал Селиков. — В общем, так: поручите это дело мне.

Закатов с надеждой смотрел на Селикова. Он знал, что тот, входя в раж, способен горы перевернуть. — Ты это серьезно, Сережа?

— Точно, говорю вам.

— А каким способом?

— Пока секрет. По совершении акции опубликую все относящиеся к делу материалы с приложением чертежей. Что мне нужно? На два дня забудьте о моем существовании. Идет, что ли?

— Идет, конечно!

На третий день Селиков явился к Закатову и бросил на стол справку, что за эти два дня затратил четыре человеко-смены на обследование контрольно-измерительного хозяйства медеплавильного завода. Потом, священнодействуя, он вытащил из кармана рулон листового супермаллоя. Закатов с воплем восторга вцепился в бесценный рулон и потребовал объяснений.

— А ничего особенного, — сообщил Селиков с горделивой скромностью. — Пришел на завод, схватил Жариковского за горло и выжал из него потребное количество материала. Такова техническая сторона дела. Технике предшествовала дипломатия: ходил по цехам и вписывал в блокнот замеченные неполадки с аппаратурой. Пока я оформлял акт обследования, Жариковский дышал, как паровозный котел. Потом он осведомился слабым голосом, чем этот акт пахнет. Я не скрыл: рублей триста нового штрафа, строгач в приказе, а возможно, и снятие с работы. Он взмолился: как, почему? Он, мол, хороший! Я, конечно: «Не в ту сторону гнете, дорогие товарищи. Высокими исследованиями увлекаетесь, а собственную работу забросили». Он мне тут же выдал две трети своих запасов, а я обещал, что до Крутилина это не дойдет, чтоб не подводить. Вы бы посмотрели, как он радовался, что так дешево отделался! Что теперь скажете о моих технико-дипломатических способностях?

Закатов, вскочив, облобызал Селикова в обе щеки.

10

Работа кипела на всех переделах обогатительного процесса. Вся цепочка операций, от завалки руды до выдачи концентрата, представляла теперь единую автоматическую линию, и ею управлял главный регулятор, командовавший мельницей. Всюду стояли опытные приборы, они проверялись и переделывались, в конце испытаний каждый приобретал иной вид, чем вначале Лубянский для опытов отвел вторую мельницу в третьей секции, она так и называлась — «экспериментальная». Мельница эта была усыпана приборами, как старое дерево гнездами. Тут всегда толкались люди, лаборанты таскали пробы, насыпали в ведра руду, дежурили у щита: все учитывалось, все анализировалось, все записывалось. Для Закатова, руководившего испытанием, был поставлен против мельницы стол, но он не мог усидеть на одном месте, он метался от автомата к автомату, пробегая в день, по подсчетам более спокойного Селикова, больше сорока километров.

Часто наведывался Лесков. Больше всего его интересовал главный регулятор, звукомер, записывающий шум мельницы, — электроухо, как его называли еще. Этот прибор делался по книжным схемам, он не являлся новинкой. Закатов относился к нему с некоторым пренебрежением, но Лесков считал, что все автоматы подчиняются звукомеру, ни один из них не исследовался с такой тщательностью. Неделя тревог и терзаний многому научила Лескова. Он знал, что плохая работа мельницы может быстро вывести из строя всю технологическую цепочку и что неполадки на мельницах — вовсе не редкое явление. Закатов как-то сказал Лескову с раздражением:

— Удивляюсь, что за открытие вы нашли в этом дурацком звукомере! Еще дедушка Крылов описал его принцип — пустая бочка гремит громче, вот и вся мудрость.

Лесков улыбался, он уже привык к тому, что свои приборы значительно больше увлекали Закатова, чем чужие. И была правда в его остроте: пустая мельница гремела громче, чем полная. Но это была не вся правда. Шум, издаваемый мельницей, являлся самым тонким и самым верным признаком ее работы. Это знал каждый рабочий-измельчитель, он ходил вокруг мельницы и вслушивался, ухо было главным его помощником, прибор только воспроизводил — более точно и объективно — слух человека. Но прибор мог работать и лучше, чем человек, в это Лесков верил.

Многое в успехе задуманного опыта зависело от измельчителя, обслуживающего экспериментальную мельницу. Лубянский выделил двух лучших рабочих: Николая Сухова и Алексея Фесекина. Лысому Николаю Лесков не порадовался: тот не являлся другом автоматики. Алексей Лескову нравился, он был восприимчивей к новому.

В первый же день испытаний Алексей подошел к Лескову, улыбаясь самой широкой из своих улыбок. Он кивнул головой на прибор, выполнявший с сегодняшнего дня главные из его функций.

— Слышит мельницу.

— Не только слышит, ведет мельницу, — поправил Лесков. Он спросил: — Нравится тебе наш регулятор? Как ты считаешь, справится автоматика сама, без человека?

— По сегодняшней руде производительности маловато, я бы добавил, — ответил Алексей.

— Завтра сам настроишь процесс на максимальную производительность. А регулятор будет ее держать.

— Нельзя все время по максимуму работать, — объяснил Алексей, снисходительно улыбаясь. — Руда пойдет крупная — забьем мельницу.

— Ты настрой, остальное — дело автомата, — возразил Лесков.

Он пришел на другое утро к началу смены. Алексей вручную отрегулировал подачу руды. Он с разных сторон подбегал к мельнице и слушал, как она гремит, словно выслушивал больное сердце. Три раза он менял нагрузку, потом объявил: «Максимум пятьдесят три тонны». Лесков настроил автомат на тот шум, что представлялся Алексею наилучшим. Измельчитель насмешливо улыбался, он уважал приборы, но себе верил больше. Затем он побежал наверх, посмотрел, сколько руды в бункерах, и крикнул, радостно посмеиваясь:

— Держись, товарищ Лесков, скоро новая руда, пойдет, покрупнее!

Лесков приказал каждые десять минут анализировать крупность руды. Пробу — ведро руды — отбирали с транспортера две работницы фабричной лаборатории: пожилая женщина и Маша, раньше работавшая на классификаторе. Пожилая трудилась молча и уверенно, Маша на все разевала рот, руда сыпалась у нее из ведра и сита.

Лесков, зная характер Маши, предупредил:

— Ни на что сейчас не отвлекаться, Машенька!

Руда менялась на глазах, среди мелочи уже попадались куски величиною с кулак и больше. Крупную руду было труднее молоть. Когда она шла, измельчители торопились прикрыть заслонку. Ироническая улыбка Алексея стала озадаченной, потом изумленной: мельница шумела по-прежнему, это был максимум того, что она могла перерабатывать, но тоннаж плавно снижался. Ни при каких условиях сам он не сумел бы так ровно держать наилучший режим измельчения. Но он еще не хотел сдаваться. Он быстро сказал:

— Ладно, сейчас насыплем мелочи, посмотрим, как тогда...

Он понесся на самую верхотуру, на площадку главных бункеров, где ходила транспортерная тележка, распределявшая руду по отдельным мельницам. Спустившись вниз, Алексей сообщил:

— Скоро мелочишку дадут.

Мелочь появилась через час. Теперь на транспортере кусков почти не было, шла щебенка, обильно перемешанная с пылью, — такую руду молоть было совсем легко. И, послушный командам чуткого регулятора, исполнительный механизм спешно открывал заслонку — тоннаж подаваемой в мельницу руды возрос до шестидесяти тонн в час, перевалил за шестьдесят, добирался к семидесяти. Лесков весело глядел на восхищенного измельчителя: он гордился своим умным прибором. Улыбка Алексея стала ликующей: он был покорен.

— Здорово! — сказал он. — Ну, здорово! На самой крыше ведет, ничего не скажу!

Но Лесков возразил, он лучше знал возможности регулятора:

— Нет, не на крыше, еще выше можно лезть. Настраивал ты по своему умению, завтра попробуем умение регулятора. Сам увидишь, какая разница.

В это утро мельницу настраивал тоже Алексей. Он принял ее от Сухова на стандартном ходу — сорок пять тонн в час — и снова поднял переработку до пятидесяти трех. А Лесков спокойно поставил задание на малый шум, на тот самый, которого боялись все измельчители, ибо он свидетельствовал о начинающемся «завале». Мощная масса, целая река руды, неслась по транспортеру в горло мельницы. Мельница работала тяжело — в нее из двух кранов хлестали струи воды толщиной в руку. Лесков неподвижно стоял перед щитом, он не видел, что около него скапливается толпа — из диспетчерской, передав телефон оператору, выскочила Катя, подошел Лубянский, появился Савчук. Пробоотборщица Маша, забыв о своих ситах, толкалась у самого щита. Не много было в жизни Лескова таких минут, решался самый важный вопрос: только ли заменяет человека автоматика или идет дальше человека, лучше работает, чем человек? Алексей, не вынеся напряжения и взглядов начальника, заметался, бросился к песковому желобу и возвратился встревоженный.

— Опасно, — сказал он хмуро. Впервые он даже не улыбался. — Скоро выхлестнут на пол пески, а мельницу завалит.

Лубянский тронул Лескова за локоть и озабоченно прошептал:

— Чуть пониже нагрузку, Александр Яковлевич, не хочется оскандалиться у всех на глазах.

Лесков не повернулся в его сторону, не ответил. Рядом с ним; такой же молчаливый и сосредоточенный, стоял Савчук, сзади на них напирал Закатов. Все они не спускали глаз с кривой песковой нагрузки — все больше возвращалось обратно плохо измельченной руды, мельницу забивало песками. Если их станет слишком много, мельница будет вращаться с тою же неистовой быстротой, но стальные шары, завязнувшие в песке, беспомощные, как детские игрушки, потеряют свою размольную способность — все, что по транспортерам загонят в мельницу, будет выброшено ею назад. Тут была грозная грань, отделявшая нормальную работу от аварийного состояния; самый опытный измельчитель боялся подойти к этой грани, чтобы не перейти ее. В цехе сознательно недогружали мельницы. «Держи агрегат впроголодь!» — требовали технологи. Жесткий режим Лубянского был прежде всего голодным режимом: все мельницы работали с твердо заданной недогрузкой, они могли давать больше, но этого не разрешали, не веря мастерству измельчителя. Сам измельчитель себе не верил: слишком уж серьезны были последствия любого маленького просчета. Если мельница и вырывалась в область высокой производительности, ее поспешно уводили назад, ниже, спокойнее... А бесстрашный и точный автомат Лескова вел процесс на самой грани, в точке перелома: он не боялся грозящей аварии, выговоров в приказе, понижения в должности. И Лесков с молчаливым ликованием видел, что регулятор безошибочно улавливает в грохоте, наполнявшем цех, малейшие признаки начинающегося «завала»; он искусно маневрировал, не давая мельнице заглохнуть, шарам — завязнуть. Пески росли все медленнее, скоро они перестали расти, песковая нагрузка была неслыханно огромной, но стабильной — ровная линия змеилась по самому краю диаграммы.

— Черт возьми! — выругался Савчук, облегченно улыбаясь. — Не прибор, индусский фокусник — на лезвии ножа танцует. Невероятный режим!

Лесков поправил, не отрываясь от диаграммы: — Нормальный режим, такой и надо теперь держать.

Внезапно крупность руды еще упала: из бункера шла новая партия материала. Песковая нагрузка стала быстро уменьшаться, она возвращалась к обычной. Мельница загремела громче, подъедая свои запасы. Алексей покинул площадку у пескового желоба — он больше часа не решался отсюда отойти — и радостно объявил:

— Ну, порядок, норма будет!

Но регулятор не признавал его норму, у него было свое задание. Глухо зарычал исполнительный механизм, заслонка с визгом оттянулась в предельное положение, до самых краев транспортера насыпалась теперь руда, рудная река выплескивалась через берега — куски падали с ленты на пол. И опять громовой грохот почувствовавшей временное облегчение мельницы становился глухим, опять росли пески, подбираясь к краю диаграммы и там застывая, — регулятор упрямо возвращал процесс на «лезвие ножа»; отныне это был нормальный ход.

Лесков подвел итоги испытанию:

— Я думаю, мы можем спокойно уходить от приборов: режим принят, и регулятор поведет его сам. — Он обратился к Лубянскому: — Разрешите испытывать мельницу недели две на этом максимальном режиме?

— Конечно, испытывайте! — воскликнул Лубянский. Он почувствовал огромное облегчение оттого, что регуляторы не оскандалились в присутствии Савчука. Он заметил директору с почтительной иронией: — Вероятно, другие мельницы этой секции придется немного придержать: флотация наша не справится с таким количеством пульпы. Или, может, вы нажмете на флотацию?

Савчук добродушно отмахнулся от ехидного вопроса Лубянского. Шумно смеясь, директор ударил по плечу раскрасневшегося, довольного Алексея. Он пригрозил измельчителю:

— Смотри, Алексей, снимем тебя с Николаем с доски почета: автомат вас переплюнул. Помнишь, как ты на нас нападал, что мало новой техники внедряем? А сегодня аж побледнел: страшноватой показалась техника.

Алексей ответил с уважением:

— Хороша штука — неслыханно идет!

Когда начальство разошлось, Лесков сказал измельчителю:

— Парад кончился, Алексей, начинается работа. Ты видел автомат в действии, я крепко надеюсь на твою помощь. Не мешай ему регулировать, следи, чтобы всё время была руда.

Алексей ответил, по-прежнему с восхищением глядя на регулятор:

— Не сомневайся, товарищ Лесков, в моей смене порядок обеспечен. Только расскажи, что и как, хочу сам настраивать по прибору.

Лесков раскрыл регулятор и показал, как он действует.

— Устроим для рабочих курсы по автоматике, там изучим основательней, — пообещал он.

Лесков с Закатовым отправились в лабораторию, оставив Селикова дежурить. Селиков сейчас же ушел во флотационное отделение, он не любил без дела стоять у налаженных приборов.

Алексей теперь не отрывался от самописцев. Он изучал кривые, покачивая утвердительно головой, — не нужно было больше бегать вокруг мельницы и выслушивать ее, все было видно на диаграмме. Прибор видел лучше человека; глаз еще не замечал перемен, пески росли где-то в корыте под бурлящей водой; много времени должно было пройти, пока они доберутся до горла мельницы, а на диаграмме уже поднималась вверх тоненькая черточка — безошибочный знак происшедших изменений.

Досыта насладившись великолепным зрелищем диаграммных кривых, Алексей подошел к пробоотборщицам. Сегодняшнее торжество регуляторов бросило отблеск и на него. Впервые за много дней Маша отнеслась к нему без обычного пренебрежения. Она даже не рассердилась на его самоуверенную — шире лица — улыбку.

— Хоть бы помог! — упрекнула она его, показывая на тяжелые сита с рудой, которые приходилось раскачивать на весу. — Руки отломило.

— Помочь можно, — согласился он с готовностью и, отстранив обеих работниц, принялся ловко перебрасывать руду на ситах. — А ты не верила, что все в профессора перейдем, — говорил он, грохоча и поднимая пыль. — Меньше профессора никого в цеху не останется, а кто постарше, тот в академики уйдет.

Этого она не стерпела.

— Уходи! — сказала она, в запальчивости пытаясь отнять у него сита. — А я здесь останусь. Слова от тебя серьезного не услышишь! Отдай сита и проваливай в академики, слышишь!

Алексей не отдал сита, пока полностью не обработал пробу. После того как руда была взвешена, он снова заговорил о том же:

— А чего тебя, Маша, это злит, насчет профессоров?. Неужто век тебе руду разделывать? По-моему, надо только радоваться, что так поворачивается дело.

Еще ни разу он так смело и свободно и, главное, продолжительно не разговаривал с ней, и она это оценила. Кроме того, и в улыбке его появилось что-то новое — решительное и неоспоримое, как приказ. Поражало и то, что он не оглядывался испуганно на мельницу, не бежал к ней сломя голову, обрывая разговор на полуслове, как бывало уже не раз. Она напомнила, что он на работе. Алексей пренебрежительно отмахнулся.

— Успею, — пробормотал он и прихвастнул:. — Не видала разве? Машине отдал распоряжение, чтобы сама командовала. Надежная штука!

И это она выслушала с уважением. А когда он, сделав крутой переход, предложил Маше вечером пойти в кино, она не воспротивилась.

— Только раньше времени не приходи! — сказала она. — Не выношу, когда ты сидишь без дела в женском общежитии.

— Приду точно вовремя, — заверил он. — Как автомат, не сомневайся!

11

Для Галана наступила широкая полоса невезений: мелкий недочет превращался в провал, провал приводил с собой беду, беда тащила за ручку несчастье. Галан был терпелив. Он знал, что неудачи похожи на псов: сбегаются все сразу. Следовало вобрать голову в плечи, тянуть время, то отругиваться, то отшучиваться, а там все снова устроится. В первый раз в этом году он существенно провалил месячный план, и электромонтаж помянули среди отстающих цехов. Еще хуже было то, что Лесков наконец установил свои новые приборы, и они действительно оказались лучше галановских. Галан долго не хотел этого признавать, часами наблюдал за ними, находил в них десятки мелких упущений. Все это не меняло главного — регуляторы лаборатории были настоящими приборами. И наступил день, когда Галан должен был это признать.

— Вас ослепляет самолюбие, — сказал ему Лесков. — Вы, старый приборист, не можете не понимать, что ваше творение — кустарное рукомесло, а наш вариант — произведение науки. Наука выше ремесла — так было, так будет.

— Ну, хорошо, — начал отступать Галан, — может быть, кое в чем ваши приборы и лучше. Да почему? Изготовлены аккуратней. У вас заводские детали, а у нас все самодельное. Если пустить мой прибор в массовое производство, он будет лучше вашего.

Лесков рассмеялся.

— Никогда, Александр Ипполитович! Дело не в деталях, конструкция нашего прибора точней рассчитана. — И, спохватившись, что Галану, вероятно, неприятны эти слова «наш» и «ваш», Лесков поправился: — Собственно, тут ничего нашего нет. Идея принадлежит вам. Мы только удачнее ее оформили.

Но Галан услышал в словах Лескова не признание своих заслуг, а желание подсластить горькую пилюлю. Рассуждение о науке и ремесле его не убедило: его прибор тоже не лапоть.

И Галан уверенно пообещал:

— Я еще немного поработаю над моей конструкцией, тогда посмотрим, что вы скажете!

И вскоре на письменном столе в кабинете Галана появилась модель изготовленного в его мастерских пневматического регулятора. Он поступил, как хороший часовщик с плохими часами, — рассыпал регулятор на составные части. Вооруженный лупой, пинцетами, ручными тисочками, полировочными камнями «арканзас» и «индия» и другими инструментами точной механики, он сидел перед бесформенной грудой деталей и поочередно вынимал то одну, то другую. Это была не обычная сборка прибора, даже не «доводка» его, а то, что механики называют «облизыванием». Галан подгонял размеры деталей до сотых миллиметра, сглаживал неровности, выпрямлял кривые, шлифовку превращал в полировку, полировку доводил до зеркального сияния. Это была не только трудная, но и умная работа: три четверти деталей возвращались в мастерскую на переделку или заменялись новыми сразу после первого осмотра — Галан не хотел тратить попусту время. И мало-помалу на его рабочем столе возникал новый прибор: это была та же конструкция, собранная из тех же составных частей, но она отличалась от старой так же, как убогая мазня ремесленника отличается от произведения мастера.

В цехе все знали, что начальник «колдует» над своими неудавшимися приборами: Галан не откликался на телефонные звонки, производство полностью передоверил помощникам. И — что было самое удивительное — через час после официального окончания рабочего дня он опять появлялся в своем кабинете и сидел в нем, запершись, далеко за полночь; возиться с прибором было притягательней, чем играть с сыном. Сотрудники оценивали состояние Галана очень просто: «А наш-то премию из рук выпускать не хочет». Но дело было вовсе не в одной корысти: огромные, широко разветвленные корни питали нынешнее усердие Галана. Сначала, точно, это была жадность, страх потерять заветные тысячи, потом — ущемленное самолюбие, гнев на Лескова, опорочившего его конструкцию и высокомерно предложившего свою непрошеную помощь, и под конец наряду со всем этим и выше всего этого — страсть художника, подлинное вдохновение, горячее удовлетворение своим трудом. И все то мелкое, чем жил Галан и чем он был известен другим, стиралось и пропадало, мастер оставался наедине со своим созданием, мастер творил. И он уже не думал о том, во что практическое и узкоматериальное выльется его работа: в нем самом росли и крепли, словно ребенок в теле матери, великолепные замыслы и властно исторгались наружу, требуя осуществления. Захватывающе радостным было их осуществление в металле и пластмассе.

Так бежали часы, заполненные мыслями и трудом; часы составляли дни, дни складывались в недели. А потом внезапно пришло успокоение и усталость. Два до последней кнопки отработанных образца были готовы к монтажу. Галан сидел в своем обширном кресле, закрыв глаза, и мечтал. Перед ним стоял Лесков, и он высмеивал Лескова. «Ну, как оно, получается, Александр Яковлевич? — спрашивал он язвительно. — Вроде не ожидали, не правда ли?» И Лесков терялся, лицо его морщилось, он жалко бормотал оправдания. Еще до того, как победа пришла, Галан полностью пережил ее сладость. Вслед за этим ему захотелось спать, впервые хорошо поспать за многие дни. Он склонил голову на стол и задремал, обхватив руками один из приборов. Сон его был прерван, знакомый голос звал: «Папа, папа!» Галан тревожно поднял голову, протер мутные глаза: никого не было подле него, никто не кричал. Он посмотрел на часы — шел двенадцатый час ночи. Вызванная к телефону домработница сообщила, что сын давно спит, а Анюта еще не возвращалась с работы. Галан, укоризненно качая головой, вылез из кресла. «Ах, доча, доча, бить тебя некому! Ну разве можно так? Никто ведь спасибо не скажет, за сверхурочные не заплатят! Пользуешься тем, что контроль над тобой потерял!» Он вспомнил, что в эти дни даже словом не всегда с ней перекидывался: когда он приходил, Анюта уже спала, а утром уезжала раньше него. Чувство вины перед женой мучило Галана. Нельзя так, нельзя, ведь что получается у нее — и муж есть, а вроде вдова: ни поговорить, ни в кино сходить, ни прочее...

Он неторопливо оделся и, радостно ухмыляясь, побрел в лабораторию. Галан не предупредил Анюту, готовил жене сюрприз. Он войдет в наладочную, крепко расцелует Анюту и объявит: «Ну, доча, радуйся, вышло у твоего муженька, что хотелось». Жаль, поднять ее на руки и потанцевать по комнате, как раньше это делал, сейчас не — удастся: и он уже не тот и она после родов отяжелела.

Галан прошел мимо заснувшего вахтера, и, осторожно подойдя к двери наладочной, широко ее распахнул. И тут судьба; уже давно подбиравшаяся к нему, свирепо схватила его за горло.

Он увидел испуганное лицо Закатова, полные ужаса глаза Анюты. Она, словно окаменев, даже не сняла рук с шеи Закатова, не соскочила с его колен. Он первый опомнился и поднялся, отталкивая Анюту. Бледные, трепещущие, они молча стояли перед растерянным, как и они, Галаном. И только когда молчание стало непереносимым. Закатов беспомощно пробормотал, обращаясь к Анюте:

— Ну, как же?.. Как же теперь?

Анюта не слышала его, она смотрела на мужа округленными глазами, сразу ставшими большими. Галан шагнул вперед и хрипло проговорил чужим, трудно повиновавшимся ему голосом:

— Поздно, Анюта... Пошли домой!.

Она надевала трясущимися руками пальто, и ни один из мужчин не пошевелился, чтобы помочь ей. Когда она пошла к двери, Закатов очнулся от оцепенения и проговорил, сделав шаг к Галану:

— Слушай, Александр Ипполитович. Нужно бы нам поговорить, ты не так понял!

Галан ответил все тем же чужим, охрипшим голосом:

— А незачем... Все ясно, по-моему.

Тогда Закатов в отчаянии протянул руку, чтобы остановить Анюту.

— Анна Петровна! Я вас очень прошу...

Она прошептала, не поворачивая головы:

— Оставьте, оставьте меня все!

Она спускалась по лестнице, пошатываясь и останавливаясь, словно пьяная. Галан тяжело шагал за ней. На улице они шли рядом, изредка касаясь плечами, бесконечно далекие один от другого, с болью чувствующие всю силу соединявшей их близости. Галан ничего не спрашивал, она ни о чем не говорила. Они не замечали, как шли, сколько времени шли — пробило двенадцать, когда Анюта быстрым, словно рыдающим стуком заколотила в дверь квартиры. Домработница, заспанная и недовольная, открыла им и поплелась в свою комнату. Больше всего Галан боялся пересудов о своей семье. Собрав все силы, он весело проговорил вслед домработнице:

— Задержались мы, Трофимовна. Ты ложись, я сам об ужине похлопочу.

Анюта, как была одетая, повалилась на диван. Галан видел: у нее начинается истерика. Поспешно сбросив пальто, он встал между ней и кроваткой мальчика: приходя в неистовство, Анюта ничего не помнила и, бросая вещи, могла ушибить ребенка. Галан проговорил почти весело:

— Ужинать будешь? Я соберу.

Она взглянула на него бессмысленными, нестерпимо сиявшими глазами и заговорила быстро, захлебываясь словами и слезами:

— Почему ты меня не спрашиваешь? Я хочу знать: почему ты меня не спрашиваешь?

Он ответил с тревогой за нее:

— Потом, Анюта, потом, успокойся, поспи, успеем поговорить!

Но она схватилась за голову руками и стала раскачиваться в непереносимом отчаянии, душившем ее, словно наброшенная на горло петля.

— Нет, ты спрашивай! Слышишь, спрашивай! Я требую, чтобы ты спросил!

И, рыдая все громче, сдирая с себя пальто, разрывая платье, она сползла с дивана на пол. Он хватал ее руки, то гневно кричал на нее, успокаивая, то умолял не плакать и встать, пытался поднять ее и положить на постель. На шум выскочила домработница и проворно принялась стаскивать с Анюты платье и расшнуровывать боты, а Галан трясущейся рукой подносил ко рту Анюты стакан с водой и бормотал то единственное, что следовало сейчас шептать, говорить и кричать:

— Да успокойся же! Пойми, доча, сына разбудишь! Ну, какая ты глупая, верю же я тебе, верю... Глупости все это — что я тебя не знаю!

А она, хватаясь за эти слова, все страстней, все исступленней твердила:

— Ничего не было, всем клянусь — ничего! Я сама не знаю, как вышло... Просто обняла его... Ничего больше не было, вот пусть Филик не встанет с постели! Неужели ты мне не веришь! Скажи, не веришь?

— Верю, верю! — отвечал он и старался уложить ее. В кровати, раздетая и измученная, она притихла.

Галан сказал домработнице, улыбаясь бледными губами:

— Ну и народ эти женщины: из мухи слона раздуют. Не женись, Трофимовна, без жены спокойней.

Но с Трофимовны полностью слетело сонное одурение, она не приняла шутки — слишком уж необычно это было в семье Галанов, чтобы Анюта ползала на коленях перед мужем. Трофимовна поставила на стол воду, валерьяновые капли и крепкий чай, любимый напиток Галана, и удалилась. Галан прибрал разбросанную одежду, разделся и потушил свет. Анюта, приподняв голову, со страхом ждала, куда он ляжет — на кровать или на диван. Когда его большое тело грузно опустилось рядом с ней, она горячо и благодарно обхватила мужа и снова залилась слезами. Она шептала все, что приходило ей на ум — и то, что можно было говорить, и то, о чем следовало забыть, — только чтобы не молчать, чтобы не услышать его молчания, так измучившего ее по дороге от лаборатории к дому. А он гладил ее волосы, вытирал ладонью слезы и отвечал на все грубовато и ласково: «Ладно, доча, ладно, глупости все это, спи!» Потом она, истерзанная и поверившая в его искренность, уснула и долго еще вздрагивала во сне и всхлипывала. А он лежал с открытыми глазами и видел удивительные сны наяву — свою жизнь, чужие жизни. Одно он знал твердо и окончательно: никогда еще у него не было никого такого дорогого, такого близкого, как она, Анюта. Он верит каждому ее слову, не смеет не верить. Он шептал в темноту, словно творя заклинания: «Верю, доча, верю, говорю!» — и такая мука терзала его, словно в груди вместо сердца бился огромный ком окровавленного горя. Он вспоминал, как впервые увидел Анюту, как объяснился ей в любви, как пять лет они были счастливы. Да, не думал, не думал он, что все так обернется. Полно, себе-то нечего врать: точно ли не думал, что это случится? Думал и боялся — так оно будет вернее.

И вот оно случилось, неизбежное. Что ж, Анюта права: женщина в двадцать девять лет еще не пережила себя. Она еще прислушивается к нежным словам, еще вспыхивает от нежных взглядов, еще вздрагивает от прикосновения ласковых, зовущих рук. Он ли не знает этого: сколько раз применял эти неотразимые способы, чтоб покорить других женщин! Не он первый, не она последняя, жизнь на земле не кончается с его жизнью. — А могло ничего не быть, могло! Анюта ведь любит его, больше всех любит, глубже всех — это он знает. Как она затряслась, когда он открыл дверь, какими отчаянными глазами смотрела на него!.. Ей казалось, что она навсегда его теряет!.. Что они все, Закатовы и Лесковы, перед тем, что спаяло их навсегда в одно неразделимое целое? Милая, добрая, хорошая доча моя, разве я не понимаю? Сам виноват, сам: оставлял одну, уходил на целые вечера, ночами пропадал. Что тебе оставалось делать, горячей женщине, не выносящей одиночества? У тебя только я, а у меня и ты и работа моя, сжигающая душу. Вот он, новый регулятор, встал между нами и разделил нас на время. А ведь я делал его для тебя, доча, — погордиться перед тобой успехом, накупить новых платьев, повезти на курорты, — для тебя делал и чуть не потерял тебя из-за этого. Закатов, Закатов, сколько раз я бил тебя в открытом, честном споре, а ты подобрался с черного хода! Лев сражает врага когтями, скунс отравляет дурным запахом. Дурно, дурно пахнут слова, которыми ты мутил ей голову, не любовь это была, нет! Как же тебе отомстить? Чем же расплатиться сполна за все? Да и можно ли расплатиться?..

Галан задыхался. Ненависть, страстная, безграничная ненависть палила его. Он встал, подошел к форточке и высунул голову на холодный воздух. Он чувствовал голод, но не стал есть, налил стакан водки и запил ее холодным чаем. Быстрое, желанное опьянение мутило, успокаивало боль в сердце. Ненависть превращалась в горечь, острое страдание — в тихое отчаяние. Правильно, не он первый, не он последний. И не ему бросать камни в Анюту: сколько он грешен бывал в своей жизни, она никогда не будет! Он не винит ее, нет, сам виноват: лучше нужно было оберегать свое добро. Одно его возмущает, только одно. Зачем он узнал об этом? Зачем увидел? Ну и пусть бы все совершилось так, как неизбежно должно было совершиться. Но ведь он мог не знать ничего, как не знают другие, такие же, как он! Он мог, он ведь мог ничего не видеть!

12

А утром нахлынули тысячи недоумений, неотложные, мучительные вопросы, их нужно было решать немедленно и так, чтобы больше к ним не возвращаться. С Анютой, пожалуй, было всего проще: она боялась говорить, он ни о чем не спрашивал, словно и не было вчерашнего потрясения. Галан рассказал, что прибор закончен доводкой, «будем утирать нос Лескову». Анюта не осмелилась ни рассердиться за предстоящее посрамление лаборатории, ни шумно порадоваться за мужа: она только робко поздравила его. Но Трофимовну было труднее обмануть, чем жену, всей душой требовавшую обмана; подозрительные глаза Трофимовны видели насквозь и Анюту и Галана. Галан ушел из дома с ощущением, что несчастья скрыть не удастся.

В цеху он несколько отвлекся. Утро пришлось отвести на распутывание производственных конфликтов и неполадок — дел много накопилось за время его работы с приборами. Потом он отправил регуляторы на фабрику и сам пошел туда же — проследить, чтоб их смонтировали как следует.

Через несколько дней Галан позвонил в лабораторию — пригласить Лескова на испытание новых регуляторов. Ему ответили, что Лесков уже ушел на фабрику. Галан отправился в измельчительное отделение. Лесков с Закатовым находились на опытной мельнице. Лесков с удивлением поднял голову, его поразила перемена в Галане: тот был бледен и хмур.

— Вы не здоровы? — спросил Лесков.

— Здоров, здоров! — недовольно ответил Галан. — Регуляторы мои установлены, можете сравнивать работу старых и новых.

— Пойдемте, — пригласил Лесков Закатова.

— Не пойду! — ответил тот раздраженно. — Это — ваше творчество, вы и сравнивайте. Мое мнение вам известно: в наш век электричества — пневматика — отсталость.

Галан тяжелым взглядом уперся в опустившего голову Закатова. Лесков дружески взял Галана под руку.

— Пойдемте сами, — сказал он. — Михаил Ефимович, видимо, никогда не примирится с тем, что мы раскритиковали его электротехнику.

На второй секции работали регуляторы Галана — два старых и два «доведенных». Лесков сравнивал их между собой, ходил от одного к другому, раскрывал дверцы приборов и лез вовнутрь. Он, Лесков, был, конечно, прав: наука выше ремесла, техника не терпит кустарничества. Приборы, разработанные лабораторией, как были, так и остались лучше по конструкции. Но то, что он видел сейчас, не было кустарщиной. Это было вдохновенное искусство, высокое мастерство. «Удивительно, просто удивительно!» — бормотал Лесков, поглаживая отполированные детали. Галан бесстрастно, словно это не радовало его, следил за Лесковым.

— Как же теперь? — спросил Галан. — Какие будем устанавливать: ваши или эти?

Этот вопрос вернул Лескова на землю. Он вспомнил, что в мастерских лаборатории лежат заготовки на добрый десяток приборов. Ну и что же, если два образца доведены до совершенства? Приборы эти золотые, столько в них вложено высококвалифицированного труда, мысли, старания! Техника не может ориентироваться на созданное руками мастера чудо, ее путь стандартный образец, но такой конструкции, чтоб он не уступал никакому другому ручной работы. Сегодня он, Лесков, признает, что напрасно разрабатывал лабораторные модели, завтра его ославят бракоделом, освистят за новый провал производственной программы. Пойти на это нельзя.

Галан потухшим взглядом смотрел на свои приборы. Он знал, что скажет Лесков. Он сам сказал бы то же самое на месте Лескова. Ну какой же дурак признает свою кровную вещь никуда не годной только потому, что кто-то придумал немного лучшую? Разве люди выбрасывают свои дорогие новые костюмы, когда сосед приобретает другой, более удачный по покрою? Работа Галана, его муки, его увлечение идут прахом. Что он приобрел своей борьбой? Полуироническое уважение недругов: «Знаете, у этого Галана с расчетами неважно, а руки все же золотые!» А что потерял? Не только деньги — то, что деньгами не измерить, за деньги не приобрести: уважение к себе, друга своего, любовь свою, спокойствие свое!

— Как же решим? — повторил свой вопрос Галан. Порядок оставался порядком: он должен был услышать приговор.

Но в Лескове заговорила совесть. Он был прежде всего инженер, только потом администратор. Неужели он с черствой душой плюнет в лицо человеку, совершившему то, чего он, Лесков, никогда не сумеет совершить, плюнет только потому, что ему это создание сейчас невыгодно, хоть и приводит его в восторг? И, подчиняясь чувству восхищения и признательности мастеру за его мастерство, Лесков проговорил:

— В принципе наши приборы лучше, вы сами это понимаете не меньше моего. Но два эти образца — такое совершенство, что преступлением будет их не принять. Давайте договоримся так. В массовое производство я буду рекомендовать нашу модель, она больше для этого подходит. А тут, на фабрике, ставьте ваши образцы. Но только условие: я оставляю для контроля один наш прибор. Каждый новый, который вы смонтируете, должен работать не хуже, чем наш контрольный. А когда монтаж будет закончен, я напишу официальное, благоприятное для вас заключение. Подходит, что ли?

Внешне все происходило так, как должно было произойти. Галан радостно улыбался, жал Лескову руку, благодарил. Но лед, сидевший в нем, не таял. Когда Лесков, налюбовавшись новыми приборами, ушел на мельницы, Галан прислонился к помосту спиной. Его затуманенный взгляд был направлен на блестящие, четко работающие без человека регуляторы, но он не видел их. Ну, вот, все получилось, как было задумано. Вместо электрических регуляторов Закатова процесс поведут галановские воздушные автоматы. Будут благодарности, будет слава, будут деньги: все эти благодарности, эту славу, эти деньги он отдал бы за одно — не знать того, что он знал.

13

Крутилин, расстроенный и, угрюмый, стоял у окна. В окне виднелся знакомый пейзаж: плавильный цех, электролизное отделение, склады. Между зданиями ходили люди, они заметали, что директор их рассматривает, невольно ускоряли шаг. Но Крутилин размышлял о только что закончившемся разговоре с Бадигиным. Если бы Крутилин знал, во что неожиданно выльется эта беседа, он бы ее не начинал. Тихоня Бадигин наконец показал свой истинный характер.

Вначале все шло по-хорошему. Бадигин принес наметку плана партийно-технической конференции: какие проблемы вынести на обсуждение, кого пригласить со стороны, кому подготовить речи. Наметка была деловой, и рассматривали ее по-деловому: кое-что вычеркнули, кое-что вписали.

Потом Крутилин усмехнулся и сказал:

— Будем обсуждать мировые проблемы, раз уж такое поветрие. Как бы только производственный план не потопить в этой высокой болтовне!

Бадигин нахмурился и негромко спросил:

— По-твоему, значит, это болтовня?

Крутилин подтвердил:

— Болтовня, разумеется. Поверь, хороший ремонт основного оборудования имеет для выдачи металла в сто раз большее значение, чем любой регулятор. Работает он или вместо него рабочий сам вертит ручку — для выполнения программы это не так существенно.

Тут Крутилин заметил, что Бадигин волнуется. Эго было странно и непохоже на Бадигина. Крутилин удивился.

— Тебе, разумеется, это кажется кощунством? — спросил он.

Бадигин, собирая бумаги, передернул плечами.

— Нет, почему кощунством? — сказал он сдержанно. — Кощунства тут никакого нет. Мы не икону воздвигаем, молиться не обязательно.

Крутилин откинулся в кресле и насмешливо посмотрел на Бадигина.

— Ну и очень хорошо, Борис Леонтьевич, что ты меня в еретики не производишь. Тогда кто же я такой в твоих глазах? Отсталый практик, потерявший всякую перспективу? Консерватор, отмахивающийся от всего нового? Очень бы желательно знать!

Бадигин сказал очень тихо и внятно:

— Раз тебе этого хочется, вот мое мнение... Мне кажется, Тимофей Петрович, что ты человек, потерявший веру в коммунизм.

Всего мог ожидать Крутилин, к любому обвинению был готов, только не к этому. Озадаченный, он вглядывался в лицо Бадигина: нет, Бадигин был серьезен, на глупую шутку это не похоже. Крутилин даже не рассердился, настолько все это было нелепо и недопустимо.

Справившись с изумлением, он воскликнул:.

— Да ты понимаешь, что говоришь, товарищ секретарь?

Тот ответил твердо:

— Понимаю, Тимофей Петрович.

Если бы он хоть как-нибудь по-другому, не так спокойно и уверенно это сказал, Крутилин взорвался бы бешено и безобразно. Сдерживая ярость, Крутилин потребовал:

— Объяснись!..

Бадигин хотел объяснить, но Крутилин гневно прервал его, все более возбуждаясь:

— Ты мальчик, позже революции родился и осмеливаешься сказать это мне, солдату революции, потомственному рабочему!.. Да как ты смеешь? Что ты знаешь? Что видел? Вся твоя биография — одно слово: учился!.. А я жизнь отдавал строительству социализма, вот этими руками коммунизм приближал, тот самый, с котором тебе легко теперь болтать!.. Мне, мне такое — не верю!..

Задохнувшись, он замолчал на секунду. Бадигин спокойно ждал, пока он выкричится. Крутилин проговорил грозно и непререкаемо:

— И хорошо объясняй, Борис Леонтьевич, чтоб и я убедился... Иначе трудно нам будет вместе!..

— Объясниться нужно, — ответил Бадигин. — В противном случае путаница выйдет большая. Я тебя, конечно, не в том обвиняю, что ты коммунизм не признаешь, или не веришь, что он будет, или не хочешь работать для его приближения. Нет, все правильно: и жизнь свою ты отдавал для коммунизма и всем сердцем веришь в него как в лучший общественный строй.

— Спасибо и на этом, — усмехнулся Крутилин.

— Но ведь голое отрицание коммунизма, — продолжал Бадигин, — это капиталистическое отрицание. Оно встречается за рубежам, а у нас, может, попадается только как пережиток, скрыто, на виду его не заметишь. — Зато есть у нас другое, совсем особое неверие; раньше оно, пожалуй, было естественно, а сейчас жизнь так круто махнула вперед, что и оно стало крупной ошибкой, помехой на пути...

Крутилин язвительно возразил, успокаиваясь после вспышки:

Выходит, существует капиталистическое и коммунистическое неверие в коммунизм. Так, что ли?

— Не будем наклеивать ярлыки, — уклонился от прямого ответа Бадигин. — Так вот, в чем суть этого неверия в коммунизм? Да в том, что и признают его, и восхваляют, и работают для его приближения, но только не понимают, что он уже рядом, а не в далеком будущем, что ростки его в нашей сегодняшней жизни, что самих себя мы уже должны расценивать и судить по коммунистическим нормам. Коммунизм, говорят, это для наших внуков, а мы пока как-нибудь, по-старому. Вот оно где, это неверие!

— Короче, это неверие в то, что ваши регуляторы — скачок в будущее? И что хоть они неэффективны и мешают вместо помощи, а внедрять их надо, потому — ростки?..

— Да, и регуляторы и многое другое! — с вызовом отозвался Бадигин.

Крутилин встал, показывая, что больше спорить не намерен.

— Ладно, поговорили... По существу, нового ты ничего не сказал, и раньше об этом было... Но формулировку крепкую придумал — оглушает!

— Иной раз оглушить — значит прояснить! — заметил Бадигин, тоже подымаясь.

После его ухода Крутилин никого не вызывал, хотя дел было много. Стоя у окна, он невесело качал головой, бормоча: «Формулировочки, формулировочки!..»

В таком настроении его застал Шишкин, опрометчиво проникший в кабинет. Если бы Шишкин был в нормальном состоянии, то узнав, что Крутилин почти час сидит в одиночестве, о чем-то размышляя, он не осмелился бы показаться директору на глаза. Но Шишкина терзало отчаяние. Людмила Павловна прислала письмо, самое скверное из всех ее писем. Она опять раньше всего хвасталась своими успехами. Новый ее знакомый, художник Игорь Сергеев, повел атаку на ее сердце, он показывал заявление о разводе со своей старой молодой женой. «Для тебя, Людочка, я весь мир переверну!» — так он клялся ей на пляже. Тут же она извещала, как умело распорядилась очередной получкой и внеочередным переводом: ей удалось достать великолепное платье, и недорогое, всего за девятьсот рублей. Когда она гуляет в парке, на нее оглядываются даже мужчины, идущие под руку с дамами. Но денег у нее совсем не осталось, и ждать до следующей получки она не может: Сашенька третий день не получает куриного бульона, он хнычет, что голоден, хотя черного хлеба вдоволь. Она, конечно, может обратиться к Игорю, тот не остановится перед затратой нескольких сотен рублей, но тогда она от него не отвяжется, а этого ей пока не хочется, она еще не решила, как будет устраивать свою дальнейшую жизнь. Рублей семьсот сверх того, что будет выслано в очередь, ей вполне бы хватило: платья без модельных туфель вида не имеют, а старые туфли уже не годятся для парадных выходов.

Письмо это ввергло Шишкина в панику. Ресурсы были полностью исчерпаны, заем в кассе взаимопомощи не удался. Сейчас Шишкин бегал по знакомым, выклянчивая по сотне рублей.

Крутилин по смятенному виду Шишкина сразу догадался, зачем тот явился.

— Людоедка твоя, что ли? — определил он безошибочно. — Профукала все на наряды, теперь опять с тебя тянет?

— Людочка, — прогудел Шишкин, пряча глаза, — без денег сидит. Сашеньке на обед не хватает.

— Ну и что тебе надо от меня?

— Тимофей Петрович, — взмолился Шишкин. — Выручи еще разок! Я тебе восемьсот должен, добавь еще семьсот для ровного счета.

— Чтоб счет был ровнее, ничего не дам! — жестко ответил Крутилин.

Шишкин опустил голову. Через минуту он с удивлением снова ее поднял. Крутилин отошел от окна и неожиданно разразился гневной речью:

— Наряды! Вот я бы ввел закон: женам, вроде твоей, не то, чтобы каждый месяц по платью, а пять лет ничего нового не покупать — пакостишь, так и ходи пакостно. Или, ты думаешь, она там на пляжах свой идейный уровень повышает? Будь покоен, плохого платья она побоится больше, чем плохой славы.

— Значит, не дашь? — печально спросил Шишкин. — Твердо не дашь?

— Твердо! Тебя жалею, Федор. С подобными расходами попадешь в беду..

Шишкин вышел от Крутилина с таким убитым видом, что повстречавшиеся в дверях Пустыхин с Бачулиным остановились и удивленно посмотрели ему вслед.

— Разносил его, что ли! — догадался Пустыхин, здороваясь с Крутилиным.

— Вправлял мозги, — усмехнулся Крутилин.

— А что? Проштрафился по снабжению?

— Хуже. Авария по душевной части.

И Крутилин вкратце рассказал Пустыхину о семейных неурядицах Шишкина.

— Теперь кругом о ростках нового толкуют, — закончил он сердито. — А Людмила Павловна эта — здоровенный корень старого. Хитра, беззастенчива и жадна. Время проводит, конечно, в свое удовольствие, адреса не сообщает, чтоб он от соседей не узнал, как она развлекается, — так ей до востребования и пишет. К нему она, видимо, не вернется, а он, дурак, во всем ей верит и души в ней не чает.

Пустыхин имел обширный опыт не только в производственно-технических, но и в житейских делах.

— Людмила эта, по всем данным, нахалка, — сказал он уверенно. — Нахалов следует учить дубиной. Хорошего человека лупить — он ожесточится, плохого вздуть — сделается шелковым. Это один из величайших законов психологии, жаль, что его не преподают в школах..

Даже на улице, закончив дела с Крутилиным, Пустыхин продолжал думать о семейной драме Шишкина. Пустыхин не мог проходить равнодушно мимо терпящего бедствие человека. Кроме того, счастливой развязки всей этой затянувшейся неурядицы можно было достичь простыми средствами: требовалось лишь использовать твердо установленные законы психологии и истратить пятерку.

— Слушай, Василий, — сказал Пустыхин, вдруг останавливаясь среди быстрой ходьбы, как всегда это делал, когда ему приходили в голову важные мысли, — Шишкина нужно выручить.

— Нужно, — согласился добрый Бачулин. И, потянув Пустыхина за собой, он высказал предположение: — Порекомендуем ему жениться на другой. Скажем, чем плоха Мегера? Очень для него подходит.

— Вздор, Мегера! — категорически отверг эту мысль Пустыхин; — Мы сделаем по-иному: заставим Людмилу упасть Шишкину в ноги.

— Да как ты это сделаешь? — изумился Бачулин. — Судя по всему, бес баба. И далеко она, даже встретиться с ней не удастся, чтоб потолковать.

— Через неделю встретимся, — предсказал Пустыхин и повернул к почтовому отделению. — Нам сюда.

Взяв у телеграфистки бланк и набрасывая короткую, энергичную телеграмму, Пустыхин сказал с сожалением:

— Порядки на телеграфе отнюдь не способствуют психологическим экспериментам. Хорошие слова не в почете. Даже до чертовой бабушки не добраться, а на то, что покрепче черта, нельзя и намекать. Эффект от этого снижается по крайней мере процентов на двадцать пять.

Бачулин, пораженный, читал: «Сочи. До востребования. Шишкиной Людмиле. Предлагаю прекратить вымогательства. Собираюсь ближайшее время устроить личную жизнь заново. Целую бедного Сашу. Шишкин».

— Ну как? — осведомился Пустыхин. — Подействует?

— Как тебе сказать? — замялся Бачулин. — Телеграмма сильная, слов нет, вроде обухом по голове. Да ведь это подлог! И откуда ты знаешь, что он подписывается, «Шишкин», а не «Федор».

— Не подлог, а товарищеская помощь, — возразил Пустыхин. — А если он Федором подписывается, так даже лучше — одно официальное словечко «Шишкин» покажет ей, как серьезно оборачиваются события.

И, выходя из почтового отделения, Пустыхин уверенно сказал:

— Говорю тебе, через неделю она примчится в Черный Бор. Если ошибусь, считай — с меня две бутылки шампанского.

— А если не ошибешься? — на всякий случай осведомился Бачулин, любивший определенность в таких важных делах, как выпивка за чужой счет.

— Тогда шампанское поставит Шишкин, — пообещал Пустыхин.

14

Сомнения Юлии наконец закончились, метания оборвались: она придумала, как не расставаться с братом. Лесков подозревал, что сестра что-то вынашивает: она была очень рассеяна последние дни, домой возвращалась поздно. Когда он спросил, где она пропадает, Юлия ответила небрежно:

— Да нигде, Санечка, просто так, гуляю по городу.

— Одна? — удивился брат. Юлия вздохнула:

— А с кем же? Ты знаешь, и здесь, как в Ленинграде, никто мною особенно не интересуется. И потом все вы на работе.

Она не сказала брату о том, что успела познакомиться со всеми городскими библиотеками, побывала в больницах и лабораториях, разговаривала с врачами. Потом она торжественно и радостно объявила Лескову о своем решении. Она не сомневалась, что брат кинется ей на шею, расцелует и поздравит. Лесков ошеломленно уставился на нее. Он до того растерялся, что какую-то минуту не мог найти возражения.

— Ты с ума сошла, Юлька! — воскликнул он, справившись с изумлением. — Это немыслимо!

Юлия обиделась.

— Не понимаю, Саня. Ты работаешь в Черном Бору, почему я не могу? — Она прибегла к самому сильному средству, какое у нее было: — Может, ты просто не хочешь жить со мною? Тогда скажи прямо, и я уеду.

Он нежно обнял ее.

— Не дури, Юлечка, ты знаешь, ближе тебя у меня никого не было и нет. Дело в твоей работе. Я могу жить в любом месте, где трудятся люди и где труд их можно облегчить. Но ты только в своем институте сумеешь довести до конца докторскую диссертацию.

— Вовсе нет! — спорила Юлия. — Санечка, ты меня не слушал. Мне предлагают заведовать самой крупной из ваших клинических лабораторий.

И, рассказав, какое современное оборудование в этой лаборатории, какие умные, приветливые сотрудники, настоящие специалисты будут с ней работать, она закончила с торжеством:

— Выходит, я вовсе не забрасываю свои исследования. Конечно, года на два завершение их оттянется: Черный Бор все-таки не Ленинград, это я понимаю. А куда мне спешить? И потом я вовсе не считаю, что докторская диссертация является священной целью моей жизни.

Но он не мог с нею согласиться. Он выискивал все новые возражения. Он упрекнул ее, что она бросает их ленинградскую квартиру. Квартиры на улице не валяются, разве она этого не знает? Года через три захочется возвратиться в родные места, куда ему тогда толкнуться?

Я возьму бронь на нашу квартиру, тебе тоже достану бронь, — успокаивала его Юлия. — Я узнавала, это можно. Все это несерьезно, Саня.

Он начинал сердиться. В конце концов он просто не хочет, чтобы его сестра погибала на Севере. Он мужчина, ему на всякие там климаты наплевать, а ее подкосит первая же пурга. Пусть Юлия вспомнит, сколько раз она болела ангиной, гриппом, насморком и прочей мелкой пакостью. Здесь мелочами не отделаться, здесь все серьезно: и морозы, и ветры, и болезни — кому-кому, ей здесь достанется.

— Короче, Юлька. — решительно закончил Лесков, — если ты спрашиваешь моего совета, так я решительно против.

Юлия больше не спорила. Она сидела, огорченная, увядшая и жалкая. Лескову до слез хотелось обнять ее и утешить, но он знал, что этого нельзя, она немедленно воспрянет духом и снова примется за свое. Чтоб не вступать в новые споры, он ушел на весь вечер в лабораторию. Утром встать раньше Юлии ему не удалось, он наскоро проглотил стакан чая и удрал. А вечером его перехватил в коридоре Пустыхин. Не слушая нерешительных возражений Лескова, он с гиком и гоготом потащил его в свой номер. Там уже находились заарканенные ранее Павлов и Лубянский.

Василий! — орал Пустыхин на всю гостиницу. — Вручаю задержанных без расписки. За сохранность отвечаешь собственной головешкой. Стань у двери и бей клыками каждого, кто осмелится удирать. Я ухожу на новую охоту.

Бачулин прислонился к двери и зловеще оскалился. Лубянский повалился на диван и хохотал, брыкая ногами. Лесков поинтересовался: что случилось, почему крик? Павлов ответил, что вероятно так надо, раз люди хватают знакомых за шиворот, и снова впал в состояние сосредоточенности — ему было все равно, где размышлять.

Пустыхин появился под ручку с принарядившейся Юлией. Остановись посредине комнаты, он громогласно объявил причину сбора. С сегодняшнего дня он твердо решил идти по новой жизненной тропе и приглашает приятелей следовать за собою. Жаль, Шура нет: ему одному удалось улизнуть.

— Лето в разгаре, дорогие товарищи, а кто из вас загорал? — гремел Пустыхин. — Кто из вас на травке валялся? Теоретической говорне отныне крышка! В ближайшее ясное воскресенье вылазка в лес. Сейчас под моим командованием атакуем клуб. Вопросы будут? Деловые предложения? Предупреждаю, возражения не принимаются, бунт подавлю самыми жестокими мерами.

И, потрясая в воздухе заранее купленными билетами, он свирепо добавил:

— И пусть все знают: Юлия Яковлевна — моя боевая добыча. Кто захочет словечком с ней перемолвиться или в танце пройтись, раньше поваляйся минут пять у меня в ногах!

Его настроение передалось другим. Веселая компания с таким грохотом пронеслась по лестнице, что на всех этажах повыскакивали в коридоры перепуганные жильцы, а Мегера Михайловна весь вечер не могла оправиться от нервного потрясения.

Так Лесков попал в клуб, впервые в Черном Бору... Концерт самодеятельности ему не понравился. Он не любил ни песен, ни плясок, ни шуток. Он вообще ничего не любил и не понимал, кроме своего непосредственного дела: ему казалось странным, что люди теряют драгоценные часы на такое странное занятие, как рассматривание кривляющихся или танцующих актеров. Немного утешило его, что Юлия, сидевшая между Пустыхиным и Павловым, весело смеялась и громче всех хлопала в ладоши.

Важнейшей частью концерта оказались антракты — их было три, и они — каждый до последнего звонка заполнялись смехом, танцами и толкотней. Лесков не умел танцевать, он отошел к окну. Мимо него раза два проходила Надя, промчался Пустыхин, кружа Юлию. Даже Бачулин, топоча ногами, как копытами, проскакал один круг с Катей. Катя бросила его у двери и подлетела к Лескову.

— Слушайте, — сказала она дружески, — можно вас пригласить на вальс? Очень хочется с вами потанцевать.

Он засмеялся.

— Пригласить вы можете, Катя, но я не танцую.

— Ну просто беда! — протянула она капризно. Ни один интересный мужчина не умеет двигать ногам, под музыку, костыли какие-то! Чему вас учили в институте?

Она понеслась дальше и с разбегу влетела в объятия Лубянского. Он пошатнулся, закрутился и так — с маху — ворвался с ней в толкотню танцующих пар.

— Опять приглашения? — спросила он мстительно. — Как вам не надоест — то в кино, то на танцы! А результат один — отказ!

— Не вас же приглашать! — отрезала она. — Вы и так должны за счастье считать, что я ваши приглашения принимаю. И вообще молчите, у вас это лучше получается.

К скучающему Лескову подошел Бачулин.

— Брось, Саня, не жалей, что вечерок потерял, — посоветовал он. — Все равно, хоть всю жизнь ухлопай на размышления, до сути не доберешься.

Лесков презрительно кивнул головой на танцующих.

— В этом ли суть?

— И в этом, а как же? Все же ритм — основа искусства, а к нему лирическая болтовня под музыку и выкаблучивание — нет, очень неплохо. Ты не говори. Душе изредка требуется подобный моральный душ и гимнастика чувств.

— Моей не нужно, — мрачно ответил Лесков. — И никто не требует от нее, чтобы она переменилась.

— Ну, это ты не скажи. Думаешь, я не вижу? Просто ты скрытничаешь очень, Саня, а это с друзьями нехорошо. Тут одна девушка — и собой ничего, просто хорошенькая — глаз с тебя не сводила: куда ты повернешься, туда и она. Везет тебе, Саня, льнут к тебе женщины! И с чего? Вроде ты их не балуешь ухаживанием.

Лесков небрежно показал глазами на Катю.

— Она?

Бачулин возмутился:

— Ну, вот еще! Эта за Лубянским числится, все знают. Постой, куда она девалась? — Бачулин долго присматривался к толпе, потом показал на Надю: — Вот она. Что, не правда?

Злость и ожесточение поднялись в Лескове. Он побледнел и сжал губы. Пораженный Бачулин с удивлением смотрел на него.

— Вздор это! — проговорил Лесков с горечью. — Тебе померещилось, Василий.

— Да нет же! — защищался Бачулин, обиженный, что и сейчас ему не верят. — Что я слепой? Говорю тебе, столько раз поворачивала голову в твою сторону! И как еще смотрела!

— Чепуха! — твердил Лесков. — Не было этого. А если и было, так по-другому смотрела, чем ты вообразил. Не спорь, я лучше знаю. — И, обрывая дальнейшие возражения Бачулина, он предложил: — Пойдем на воздух, от этого шума голова болит.

Бачулин был человек дисциплинированный. Он протолкался к Пустыхину и дернул его за рукав?

— Петя, какие установки насчет дальнейшего? Мы с Саней прогуляться хотим.

— Действуйте, — разрешил Пустыхин. — Уходить по двое. Женщин на прощанье целовать можно.

Сам он не осуществил последнего пункта своей программы. Заспорив с кем-то, он умчался на балкон заканчивать дискуссию и сдал на это время Юлию под надзор Павлова. Павлов сумрачно сидел около Юлии на диване, поджимая ноги, чтобы не мешать танцующим. Юлия уже начала терять надежду, что он заговорит, когда Павлов надумал:

— Еще одно отделение, Юлия Яковлевна, и самое неинтересное. Может, погуляем на воздухе? Вы не видели Черного Бора летней ночью?

Юлия с охотой согласилась. Они оделись и вышли на улицу. Была удивительная ночь, типичная июльская ночь в Заполярье. Незаходящее яркое, но холодное полуночное солнце заливало дома и площади, склоны гор и трубы заводов; все сверкало, пылало и отблескивало красноватым светом. Павлов повел Юлию через скверик, составленный из гипсовых статуй, плакатов, щитов и затейливо украшенных, сейчас закрытых будочек с прохладительными напитками. Единственной зеленью в этом тундровом скверике были газоны со всходами ячменя. На гравии дорожек, изломанные щитами и статуями, лежали те же красноватые солнечные пятна, до того живые, что и Павлов и Юлия обходили их, боясь затоптать. Павлов поднял голову.

— Ни одной тучки, — сказал он. — В умеренном климате ночи облачные, а днем солнце разгоняет тучи. Здесь все наоборот: днем небо пасмурное, а к ночи расходится.

— Как красиво! — воскликнула Юлия. — Никогда не думала, что в мире бывают такие праздничные ночи!

Они вышли на крутой бережок узкого озера, питавшего водой электростанцию, и присели против водокачки. Отсюда были хорошо видны южные горы с шахтами, рудниками, обогатительной фабрикой и поселками. Горы не знали сна, по склонам мчались электропоезда, автомашины, вздымались и опускались стрелы экскаваторов и кранов, вспыхивали голубые звезды электросварок.

— Удивительно хорошо! — сказала Юлия грустно. — Через неделю мне все это придется покинуть. Так не хочется, если бы вы знали!

Павлов поделился своими новостями:

— Я тоже, вероятно, скоро уеду. И знаете, куда? К вам, в Ленинград. Если разрешите, зайду, когда приеду.

— Заходите, — ответила она, думая о своем. — Обязательно заходите.

Павлов пробормотал благодарность. Ему хотелось поговорить подробней об изменениях, намечавшихся в его жизни, но он был связан обещанием Пустыхину и видел, что Юлии не до него.

Юлия проговорила с горечью:

— Не понимаю я людей, самых близких не понимаю. Казалось бы, хотят тебе только хорошего, а делают плохое.

Павлов встрепенулся.

— Вы о ком, Юлия Яковлевна? Надеюсь, я...

Она поспешно успокоила его:

— Нет, нет, Николай Николаевич, вы тут ни при чем. Я о Сане.

Павлов осторожно спросил:

— А что он?

Тогда Юлию прорвало. Она заговорила горячо, несвязно и несдержанно. Еще ни перед кем, даже перед братом, она не раскрывалась так, как перед этим малознакомым, хмурым и необщительным человеком. Вся ее жизнь вдруг встала перед ней, и Юлия печалилась, что жизнь эта так неудачна. Ей уже казалось, что радость ни разу не озаряла эту нелепую удивительно ненужную жизнь, она так прямо и сказала — «никому не нужную, ни мне, ни другим», и тут же оборвала несмелые протесты Павлова. Одно было у нее настоящее утешение, один друг — брат, теперь вот приходится по его желанию и с братом навсегда расставаться.

Павлов с сочувствием слушал Юлию. Он сказал:

— Неужели Александр Яковлевич может быть таким жестоким? Он ведь знает, как вы его любите.

Юлия уже остывала после вспышки.

— Все он знает, — сказала она устало. — Ему кажется, что я без научной работы не проживу, и не верит, что я сумею ее здесь продолжить. Ах, все это так запутано! Давайте о другом, Николай Николаевич, о более веселом. Смотрите, еще нет двух часов ночи, а солнце поднимается, было красное, а превращается в золотое.

Но Павлов не мог думать ни о чем другом. Он рассеянно глядел на поднимающееся солнце и был равнодушен к тому, что, красное, оно превращается в золотое. Юлия встала и пошла по бережку назад. Павлов поплелся за нею. Она оборачивалась, ее тонкое печальное лицо, озаренное ночным солнцем, светилось золотистым сиянием. Павлов вдруг решительно сказал:

— Юлия Яковлевна, разрешите, я поговорю с вашим братом.

Юлия остановилась, удивленная.

— Вы, Николай Николаевич? Что же вы ему скажете?

Павлов продолжал, волнуясь. Все! Все, что надо сказать, он скажет, не постесняется. И если Александр Яковлевич не изменит своего отношения к сестре, то значит у него нет сердца, другой вывод невозможен. Нет, нет, пусть Юлия Яковлевна не сомневается, он, Павлов, грубить не станет, для этого он слишком уважает и ее и самого Александра Яковлевича. Хотя, если по всей правде, тот в данном случае поступает по-свински, иного выражения не подберешь.

Обрадованная Юлия протянула Павлову руку.

— Поговорите, Николай Николаевич, я буду очень, очень благодарна. Может быть, Саня уступит, он ведь уважает и ценит вас, он сам мне не раз это говорил.

15

Теперь Павлов мог думать только о предстоящем трудном разговоре. С мыслью о нем он уснул, с мыслью о нем проснулся. Он разговаривал с собою — за себя и за Лескова. Он спорил, нападал, защищал и опровергал. Он перебрал сто вариантов предстоящей жестокой дискуссии, они все кончались его победой — Лесков, растроганный, признавал свою неправоту. Даже проверяя на логарифмической линейке расчеты технологической записки, механически внося в нее исправления, Павлов думал не о ней, а о Юлии и ее брате. В этом состоянии его застал влетевший в отдел Пустыхин.

— Николай Николаевич, немедленно сюда! — закричал он, как на пожаре. — Да торопитесь, живой труп, — одна нога здесь, другая там!

В коридоре Пустыхин ошеломил Павлова давно ожидаемым известием:

— Ваш перевод утвержден. Приказ министерства передан по телеграфу. Укладывайте барахлишко. Лететь не позже конца недели.

Павлов не сразу взвесил все значение этой новости. Он забыл поблагодарить Пустыхина. Пустыхин нетерпеливо воскликнул:

— Да что с вами, Николай Николаевич? Вы что, не понимаете? Перевод утвержден!

— Я понимаю, — ответил Павлов наконец. — Надо ехать. Я очень рад.

— А если рады, — возразил Пустыхин ворчливо, — так радуйтесь пояснее, чтобы у ваших собеседников не создавалось впечатления, будто вы вот-вот заплачете. Над чем вы, кстати, так горестно размышляете?

Павлов не нашел лучшего ответа:

— Да вот... Кому сдавать дела? Расчеты по схеме не закончены.

Пустыхин пренебрежительно махнул рукой.

— Ерунда! Это не вашего ума горе. Начальство найдет, кому заканчивать расчеты. Думайте о другом — что будете делать в Ленинграде. Поверьте, это важнее! Идемте!

Он потянул Павлова в его комнату, сам уселся за его стол, Павлова усадил сбоку. Вытащив из папки чертеж и не глядя, нужен он или нет, Пустыхин стал набрасывать на оборотной стороне свои соображения, задания и вопросы. И уже через несколько минут Павлов забыл обо всем другом, внимательно слушал, быстро соображал, обгонял Пустыхина, перебивал его. Павлов мгновенно менялся, как только переступал порог, отделявший обычную жизнь от его специальных интересов. Насколько в том, житейском мире Павлов был неповоротлив, косноязычен и тугодумен, настолько в этом своем специальном мирке он был проницателен, решителен и точен. Пустыхин в первый же вечер знакомства с Павловым открыл и оценил это его качество, он дополнил его собственной своей энергией, широтой кругозора и смелостью; вместе они составляли неплохое целое, Пустыхин ощущал это с удовольствием.

Пустыхин оборвал себя на половине обсуждаемой программы действий, бросил карандаш и вскочил.

— На сегодня хватит. Подработайте эту часть задания. Завтра посмотрим, что получается, и продвинемся дальше. И помните, Николай Николаевич, все ученые — от природы кустари, при всех своих самых глубоких изысканиях. Вы не лучше других: и вас настоящий масштаб пугает. А современное производство немыслимо без масштабов. К начальству пока не ходите, я сам поговорю.

Он умчался, а Павлов, отставив в сторону теперь уже ненужную текущую работу, погрузился головой и сердцем в новые расчеты. Так продолжалось до шести часов, а в шесть он очнулся и перепугался: рабочий день кончался, все расходились. Вероятно, и Лесков собирается уходить из своей лаборатории, а он, Павлов, даже не предупредил, что хочет с ним поговорить. Павлов схватился за трубку и сразу напал на Лескова.

— Саня, — сказал Павлов. — Разреши мне пойти с тобой вместе. Надо кое-что обсудить.

Они условились встретиться на улице.

При виде унылого Павлова Лесков встревожился.

— Что с тобой? — спросил он. — Технологическая записка не утверждена?

— С запиской все в порядке, — ответил Павлов. — Я ею больше не занимаюсь. Меня перебрасывают на другую работу. Буду трудиться в твоей бывшей ленинградской конторе, у Пустыхина. И знаешь, над чем? Над автоклавами для переработки руд. На той неделе уезжать.

Лесков, как незадолго перед тем Пустыхин, возмутился:

— Так какого же шута у тебя погребальный вид? Человек плясать должен, а он повесил нос! Вот уж не думал, что ты способен огорчаться от успеха.

— Да я не огорчаюсь, — оправдывался Павлов. — Я страшно рад. Только я не об этом хотел с тобой...

— О чем же?

— О тебе, Саня.

Лесков удивился.

— Обо мне! Это новость. До сих пор ты даже толком не удосужился выслушать, чем я по-настоящему занимаюсь. Давай посидим на скамейке. Итак, в чем же дело?

Они проходили через скверик, где ночью Павлов гулял с Юлией. Вместо пятен вчерашнего красного солнца на гравии лежали лужи: с утра лил дождь, только к вечеру он прекратился. Несмотря на июль было пронзительно сыро и холодно, как в позднюю осень. Павлов распахнул пальто, снял шляпу: его томил внутренний жар.

— Прости, что вторгаюсь в твою личную жизнь, — сказал Павлов сумрачно. — Если что-нибудь не так, ты меня прерви... Юлия Яковлевна уезжает, Саня.

— Уезжает, — подтвердил Лесков. — Через несколько дней. — Он тронул приятеля за рукав. — Слушай, может, вы вместе поедете? Вот было бы для нее чудесно — такой попутчик!

Но до Павлова не дошло предложение Лескова. Он, как всегда, погрузился в свои думы.

— Если она уедет, значит, вы навсегда расстанетесь... Тебе это все равно, Саня. А Юлии Яковлевне трудно. Она только тобой живет, Саня.

Он говорил так серьезно и грустно, словно заранее старался оправдать Лескова, и теперь сообщал окончательный вывод из долгих размышлений — нет, оправдания быть не может. Лесков был уязвлен. Разговор был неожидан и нелеп. Лесков ответил сухо, стараясь пока не показывать, как его возмущает эта беседа:

— Ну, знаешь, Николай, и с матерями расстаются, не только с сестрами. Моя жизнь не цепями к ней прикована.

Он поспешно добавил, почувствовав, что так о Юлии говорить нельзя:

— И пойми, чудак, для нее же это лучше, настоящая ее жизнь в работе. Я-то знаю, что значит для нее наука. Она тоскует без меня, но без своей лаборатории будет тосковать еще больше. Эти ее планы о продолжении начатых исследований в Черном Бору — химеры, неужели тебе не ясно?

Но Павлов упрямо и печально твердил одно и то же:

— Нет, не говори, перед сестрой ты неправ. Ты о ней не заботишься.

Лесков не сдержал злости. Павлов знал Юлию без году неделю, был человек во всех отношениях посторонний, а сейчас читал Лескову нотации, словно имел на это право. Лесков грубо крикнул, стараясь больнее уязвить Павлова:

— Да тебе-то какое дело, в конце концов? Вот женись на Юлии и заботься о ней, если тебя огорчает, что она остается одна!

Он проговорил это сгоряча, не думая о содержании слов, чтобы только сразу оборвать раздражавший его спор. — Бледный и хмурый, Павлов вдруг стал красным и взволнованным. В его сумрачных глазах появились смятение и растерянность.

— Саня, — сказал он тихо и умоляюще. — Нет, только правду, ты пошутил?

А Лесков неожиданно увидел то, на что он недавно втайне надеялся и что потом показалось ему неосуществимым, — Павлов любил Юлию. Правда, он этого не сказал, но Лескову не нужны были признания, он чувствовал это. И с горячей радостью Лесков припомнил, как и Юлия и он были огорчены невниманием Павлова, как и Юлия совсем упала духом после запоздалой попытки понравиться. Ничего Лесков теперь не желал, как того, чтобы все это оказалось правдой — то, что ему представилось. Все слилось в этом нетерпеливом ожидании: и его любовь к Юлии, и понимание того, что она в самом деле одинока, и сознание своей вины перед ней, и дружеское отношение к Павлову. Лесков ответил горячо и убежденно:

— Разве можно так шутить о Юлии? Если хочешь знать, лучше ее никого не может быть. Я вполне серьезно.

Павлов взволнованно заговорил. Да, это правильно, Юлия Яковлевна хорошая, она, точно, самая лучшая из всех женщин, какие ему встречались. Он давно решил, Юлия Яковлевна была бы чудесной женой. Но он не может закрывать глаза на печальный факт. Она его не любит. Она равнодушна к нему.

Лесков прервал его:

— Да откуда ты знаешь? Ты ведь не спрашивал ее прямо?

Нет, он прямо ничего не спрашивал. Он исходит из того, что Юлия Яковлевна ни на одного мужчину не смотрит. Она пренебрегает всякими ухаживаниями. В конце концов, он, Павлов, хуже любого мужчины: некрасив, немолод, язык у него плохо подвешен. За что любить такого человека?? Может ли он составить ее счастье?

— Да ты спроси ее! — настаивал Лесков. — И что до счастья, — уверен, только ты и можешь сделать ее счастливой. Нет, нет, не спорь, твердо это знаю! — Ему явилась великолепная мысль, все неясности можно было мгновенно разрешить. — Хочешь, я сам поговорю, с Юлией? И, чтоб не откладывать, сейчас же.

Павлов глядел на него округленными, испуганными глазами. Он спросил тихо и страдающе:

— Санечка, как друга... Советуешь прямо?

Лесков ответил решительно:

— Советую. От души!

Павлов глубоко вздохнул. Глаза его потухли, лицо сжалось. Он был похож на человека, собирающегося в трудный путь. Он машинально застегнул пальто, потом сказал, стараясь говорить спокойно:

— Не надо, Саня... Я сам. Пойдем, Саня.

16

В коридоре перед номером Лескова Павлов остановился. Он побледнел от тревоги.

— Знаешь, Саня, лучше, если ты нас оставишь одних. Войдем вместе, а ты потом уйди... На время, конечно...

— Разумеется, — поспешно согласился Лесков. Он медлил открывать двери. — Слушай, Николай, а ты не струсишь? Юлия ведь странная... Вдруг что-нибудь ей не так покажется... Ты меня понимаешь?

Павлов не понимал. Он слушал с большим напряжением.

— Что это, не так? Не поверит мне? Или ты думаешь, Юлия Яковлевна...

Лесков оборвал его:

— Ничего я не думаю. Пойдем!

Юлия сразу поняла, что Павлов исполнил свое обещание и говорил с братом. Она с надеждой переводила взгляд с одного на другого. Торжественный вид брата и волнение Павлова поразили ее. Предупреждая ее вопросы, Лесков сказал:

— Юлечка, ты меня извини, Срочный разговор с фабрикой. Я на полчасика выпадаю. Николай Николаевич хочет сказать тебе нечто очень важное, прошу, отнестись со всей серьезностью.

Выходя, Лесков успел услышать тревожный голос. Юлии:

— Я вас слушаю, Николай Николаевич.

Лесков сел в холле на диван и привалился головой к спинке. Ему в самом деле нужно было поговорить с фабрикой — там опять начались непонятные неполадки. Но он не мог заставить себя потянуться к трубке стоявшего на столике телефона. Теперь он волновался не за Павлова: тому уже некуда отступать, он выскажет все, что полагается, — по-своему, конечно, без высоких фраз, а, впрочем, так, может, и лучше. Его беспокоила Юлия, она не была избалована признаниями в любви, еще неизвестно, как она все это примет. Лесков вдруг рассердился на Павлова — вот увалень, что стоило ему прийти с такими чувствами раньше, как бы Юлия обрадовалась! А может, он ей уже и не нравится? Она совсем холодна с ним. Нет, нет, она огорчена, а не холодна, он-то хорошо ее знает!

«Но она может отказать ему от одной досады, что он вовремя не заметил ее чувства, — с тревогой думал Лесков. — Юлька ведь такая!»

Лесков все более досадовал, что не может вмешаться в их объяснение, если оно пойдет нехорошо, и направить его по верному пути. Что за дурацкий обычай! Судьба Юлии касается его ничуть не меньше, чем Павлова, это часть его собственной судьбы — нет же, только им дозволено ее обсуждать!

Не вынеся ожидания, Лесков вскочил и направился обратно. Тихонько приоткрыв дверь, он помедлил — может, послышится оживленный разговор и смех — верные признаки удачно законченного объяснения. Но за портьерой простиралась тяжкая, унылая тишина. Лесков громко крикнул: «Можно?» — и вошел.

Юлия стояла у окна, замкнутая, раздраженная, с красными пятнами на лице. Павлов сидел на своем любимом стуле, убито опустив голову. Он отчаянными глазами посмотрел на Лескова.

— Одну минуту, — сказал Лесков быстро. — Разреши. Николай. — Павлов только мотнул головой, — Юлечка, выйди со мной.

В коридоре Лесков сердито накинулся на сестру:

— Юлька, что это такое? Почему ты так приняла?

Она отозвалась с негодованием:

— А как я должна была принимать? Я о чем его просила? Чтоб он уговорил тебя не мешать мне остаться! А он руку и сердце предлагает!

Лесков сказал очень серьезно:

— Ну и что же, Юлька? Разве это преступление — предлагать руку и сердце?

Она воскликнула:

— Да ведь это нелепо, Саня! Как ты не понимаешь? Я просила его совсем о другом! Не могу поверить, что он серьезно!..

Лесков ласково притянул ее к себе.

— Никто не сомневался, что ты просила его о другом. Ни одна женщина не попросит мужчину: пожалуйста, сделайте мне предложение. Мужчины, однако, такие предложения делают без официальных просьб. Может, это плохо, но уж таков обычай, ничего не поделаешь. Раньше, правда, чтоб самим не путаться в объяснениях, прибегали к сватам; тоже нескверный порядок. Думаю, и сейчас временами можно его возобновлять. Если ты с этим соглашаешься, я от всей души буду сватом Николая.

Лесков говорил снисходительно и иронически, как взрослый человек беседует с подростком. Он улыбался доброй и наставительной улыбкой. Он неожиданно открыл удивительную истину: Юлия вовсе не старшая сестра, заменившая ему мать, а маленькая девчонка, сам он бесконечно старше ее и опытней. Она возразила, взволнованная, страшась того, что ее слова — правда:

— Нет-нет, несерьезно, Саня! Мне тридцать восемь, я почти старуха. Это он из жалости ко мне: видит, что остаюсь совсем одна.

Она тихо заплакала. Лесков поспешно опроверг и это:

— Ничего ты не понимаешь, Юлька! Дурацкая привычка — придумывать за других, что они должны чувствовать. Николай чувствует по-своему, а не по-твоему. Вытри глаза, Юлечка, вот тебе платочек. Николай любит тебя, пойми, по-хорошему, по-настоящему любит. Глупая, посмотри в зеркало: если кто даст тебе больше двадцати восьми, того надо убить, как зловредного клеветника. Вот еще здесь вытри, под глазами.

Минут через десять Лесков объявил сестре с глубоким убеждением:

— И ты его любишь, Юлька! Теперь я это ясно вижу. Если раньше на капельку сомневался, то сейчас нет.

— Ну, вот еще! — защищалась она, вспыхнув. — Я, конечно, к нему отношусь с уважением; он человек порядочный и умный.

Лесков стоял на своем:

— Любишь, Юлька! Он тебе с самого начала понравился, ты только обиделась, что он держался бирюком. Мне со стороны видней. И будешь с ним счастлива! Знаю это и заранее радуюсь за тебя. А еще больше радуюсь за него. Человеку повезло — нашел такую чудесную жену!

Она говорила растерянно:

— Ах, я ничего не понимаю — как с неба свалилось!. Все я могла подумать, только не это!..

Он продолжал убеждать:

— А теперь подумай и об этом. Помнишь, как ты огорчалась, что он и внимания на тебя не обращает? Ага, вот видишь, значит, ты этого хотела! Ну, как же не любишь?

А еще немного погодя Лесков втолкнул в комнату похорошевшую, смятенную Юлию и весело сказал Павлову.

— Принимай невесту, Николай, — из рук в руки!

Павлов потерянно вскочил со своего стула. Он судорожно схватил Юлию за руку, сказал хрипло: — Юлия Яковлевна, поверьте!..

Лесков командовал:

— Теперь поцелуйтесь! Правильно! Еще разок. Крепче! А сейчас потолкуем, как отпраздновать наш сговор. Через три минуты иду за вином и устрою шум на всю гостиницу.

Павлов испуганно попросил: — Не надо шума, Саня!

— Зверский шум! — кричал Лесков. — Вызову Пустыхина — пусть бьет стаканы! И Лубянского разыщу по телефону — чтобы произнес речь по всем правилам. И Шура — чтоб тряс космами! И Бачулина — чтоб вино в бокалах не просыхало. На снисхождение не надейтесь!

Юлия смеялась радости брата. Потом она ужаснулась и заметалась по комнате:

— Санечка, у нас не хватит еды на гостей. Я сейчас быстренько что-нибудь приготовлю, а ты купи консервов, сыру и хлеба.

Павлов, сдаваясь, сказал:

— Я пойду с тобой, Саня. Помогу нести покупки. Лескову показалось, что Павлов боится остаться с Юлией наедине, и он не стал спорить.

17

И эти три дня наконец кончились, как и все кончается, — бесконечные, бурные и трогательные дни. Лескова, рано пришедшего с работы, встретила уже одетая сестра. Они присели на койку, крепко обнялись и некоторое время молчали, обмениваясь теплом объятия, словно нежными словами. В немногие остающиеся часы нужно было собрать последние, самые важные мысли, высказать последние, самые важные пожелания. Лесков с испугом проговорил:

— Где Николай? Неужели он и сегодня пошел на работу?

Юлия успокоила брата:

— Нет, он еще вчера все закончил. Они с Бачулиным пошли за такси.

Лесков снова заговорил:

— Юлька, ты будешь мне писать? Обо всем: о себе, о Николае, о бабе-яге, как ты с ней ладишь. Ну, словом, обо всем!

Она шепнула, прижимаясь к нему:

— Обязательно буду! И ты пиши, Саня!

Потом она сказала с нежным упреком:

— И не будь скрытным. Ты обещал мне показать девушку, которая тебе нравится, и не показал. Так я и не узнала, кто затронул твое сердце.

Он ответил, улыбаясь:

— Мое сердце на месте, Юлечка. И эта девушка мне давно уже не нравится. Как говорится, вышла небольшая описка.

В дверь ввалились Бачулин с Павловым.

— Товарищи, что же вы прохлаждаетесь? — испуганно закричал Бачулин. — Самолет не будет вас ждать!

Ревниво не давая никому подойти к вещам, Бачулин схватил в обе руки три чемодана и потащил их вниз. В такси на начальственном месте — рядом с шофером — уже сидел Пустыхин, сзади поместился Шур. Пустыхин протянул обе руки Юлии и Павлову, шумно их приветствовал.

— Не торопитесь! — предупредил он шофера. — Дайте отъезжающим насладиться в последний разок видом заполярной природы.

Наслаждался видом, однако, он один. Юлия и Павлов даже не смотрели в окно. Юлия с ужасом припоминала, что забыла снабдить брата крайне нужными предписаниями и советами, без них он пропадет. Он утешил ее, что все это можно будет переслать по почте, до первого письма он продержится. Павлов слушал их шутливый спор молчаливо и серьезно. Бачулин вздыхал и горестно бормотал, что после отъезда Юлии негде теперь будет выпить в Черном Бору настоящего чая, это, несомненно, скажется на выполнении производственной программы местного пивного заводика. Шур держался лучше всех — он дружески улыбался молодым.

Все благоприятствовало отлету: погода, хорошее настроение летчиков, даже то, что в столовую аэропорта не привезли свежих продуктов, и только своевременная отправка машины гарантировала от неприятных записей в жалобной книге. Уже через час Юлия с Павловым поднимались по трапу в самолет. Лесков показал Павлову на Юлию, нежно улыбнулся, погладил себя по голове, потом сделал испуганное лицо и прочертил в воздухе зигзаг со стрелой. Это означало: люби Юлию, заботься о ней; а если случится какое-нибудь несчастье, немедленно телеграфируй — приеду. И Юлия, и Павлов поняли его знаки. Юлия послала поцелуй, а Павлов обнял ее и решительно закивал головой. Это означало: буду любить, буду заботиться, а несчастья не допущу, можешь быть уверен.

Когда самолет, ковыляя и подпрыгивая, как огромная неуклюжая птица, неторопливо пошел на взлетную дорожку, опечаленный Лесков сказал Пустыхину:

— Как много хорошего увозят они с собой!

Пустыхин ответил загадочно и весело:

— Немало хорошего еще возвратится назад!

18

Лесков направил Бахметьева — дядю Федю — на фабрику дежурным по автоматике: он числился теперь наладчиком. Дядя Федя собрал в цеху старых знакомых и важно поделился с ними: «Мы, автоматчики, планируем совсем человеку труд усовершенствовать». Работы ему было немного: вести журнал указывающих приборов; их стояло еще больше, чем самописцев. Дядя Федя, не торопясь, обходил точки, с опаской по три раза всматривался в шкалы и тетрадку — те ли цифры. Он уважал числа, веря, что в каждом из них таится важное значение. Лесков полагался на его записи больше, чем на свои или закатовские, — тот «по запарке» мог и явную ошибку занести.

Дядя Федя вернулся в плохое время: после первого успеха открылся длительный период неудач. Три дня опытная мельница работала с неслыханной на фабрике производительностью, на четвертый производительность упала. Лескову принесли диаграммы шума мельницы. Он изучал их, встревоженный: мельница гремела тем же низким звуком, ровная кривая шума не показывала ни пиков, ни падения. Но сейчас эта ровная линия, такая же точно, как вчера и позавчера, обозначала не пятьдесят восемь тонн в час, а пятьдесят три, и почему, неизвестно. Прошел еще день, и производительность вновь упала — теперь больше сорока восьми тонн в час мельница не перерабатывала.

Лесков позвонил Лубянскому. Они вместе стояли у приборов и обсуждали положение. В стороне прохаживался лысый Николай; он был в дневной смене — Алексей ушел в ночь.

Лесков подозвал измельчителя — тот легче, чем они, мог объяснить загадку.

— Помогите нам, товарищ Сухов, — попросил Лесков. — Может, регулятор неправильно записывает шум? Как, по-вашему, мельница гремит так же, как прежде, или по-другому?

Но Николай не был похож на Алексея. Не постеснявшись Лубянского, он сердито блеснул глазами.

— Мне шума от старухи моей хватает, буду я еще над мельницей задумываться! — ответил он ворчливо.

Чтобы больше к нему не приставали, он пошел на другую мельницу, — та тоже была у него под присмотром.

— Крепко вы его обидели, — проговорил Лубянский. — Не вы, конечно, а ваша автоматика. Вероятно, его злит, что вы во всем советуетесь с Алексеем, — они ведь не ладят.

— А мне все равно, кто с кем не ладит, — с раздражением ответил Лесков. — Терпеть не могу, когда личные дрязги примешиваются к производственным отношениям.

Прошло еще два дня — производительность опять упала. Теперь опытная мельница перерабатывала столько же руды, сколько и любая другая, на ручном управлении. Загадка становилась все загадочней. Закатов, увлекавшийся темными вопросами, с пылом исследовал работу регулятора, забрасывая свой пескомер. Он каждый час создавал новую теорию, блестяще объясняющую все странности, и спешил поделиться ею с Селиковым. Тот высмеивал все теории, а когда Закатов слишком настаивал, грубо огрызался.

— Совсем слетел парень с точки, — жаловался Закатов Лескову. — Не говорит, а лает. И не исполняет распоряжений, все делает по-своему и плохо. Три года я его знаю, а таким не видел. Прошу вас вмешаться.

Лесков считал, что дело не в плохом характере Селикова, а в отсутствии ясного представления, где искать причину неполадок. Успех сплачивает людей, неудачи разобщают: каждому кажется, что только он один нашел настоящий выход, а остальные заблуждаются. Меньше нервничать, больше наблюдать — ничего другого он рекомендовать не собирается.

И Лесков сам искал. Он часами сидел над диаграммами шума и сравнивал их. Закатов убеждал его не ломать голову попусту. Ну, и пусть при том же шуме производительность меняется! В ответ на это они будут каждый день менять задание: сегодня регулятор держит процесс на одном шуме, завтра на другом, что особенного? Подкрутить стрелку вверх или вниз — пустяки! С этим самый неквалифицированный рабочий справится.

— Не выход это, — говорил Лесков задумчиво. — Нет, так не пойдет. Автоматизация останется пустым словом, если держать штат людей, чтобы каждый регулятор настраивать на особый режим, а потом еще поминутно следить, выполняется ли он.

Лесков решил посоветоваться с Алексеем. В час ночи он отправился на фабрику. Едва Лесков начал говорить, Алексей прервал его:

— Врет регулятор, — сказал он уверенно. — Голову даю — по-старому гремит мельница.

Они вместе прошли к приборам. Закатов с Селиковым десяток раз за это время проверяли и самописцы, и измерительные линии, и регулирующее устройство. Оставалось непроверенным только само электроухо, смонтированное под мельницей. Если запись шума была неверна, врало электроухо, все остальное после тщательных проверок исключалось.

— Давай вниз, Алексей, — предложил Лесков.

Они спустились под мельницу. Здесь на кронштейне, вделанном в опору, размещался главный элемент всей схемы, то, что называлось электроухом, — обыкновенный динамик, почти вплотную приставленный раструбом к вращающейся стенке. Именно тут, внутри мельницы, рушились на ее броню взметаемые вращением стальные шары, грохот здесь был самый сильный. Лесков с Закатовым уже много раз приходили сюда и издали рассматривали динамик: на нем не было никаких внешних повреждений. Приблизиться вплотную было невозможно: между динамиком и мельницей оставалось только несколько сантиметров пространства, огромная, ощеренная головками болтов стенка бешено вращалась — малейшая неосторожность, ошибка на сантиметр грозили несчастьем.

— Только здесь неполадки, — убежденно указал Алексей, когда они выбрались наверх. — Неправильно эта штука слышит шум.

Лесков раздумывал. Для осмотра динамика нужно было останавливать мельницу. Трудности это не представляло, мельницу часто останавливали на мелкие ремонты и подтяжку болтов. Лесков предложил сейчас же, ночью, заняться этим. Алексей засмеялся над такой торопливостью.

— Днем надо, — сказал он рассудительно. — При начальстве. А то найдем чего — не поверят. Я сам приду часам к трем — интересно мне.

Лесков уступил. Они условились, что к концу дневной смены произведут ревизию динамика. Первую половину следующего дня Лесков провел в лаборатории, на фабрику пришел только в третьем часу. Он сделал это сознательно, чтобы зря не раздражаться в ожидании. Алексей уже был на месте; он весело слушал хмурого Николая, тот ругался. Лесков подошел к самописцу — сегодняшняя кривая шума точно ложилась на вчерашнюю, регулятор без отклонений держал предписанный ему процесс. Но производительность мельницы снова упала, она была уже ниже среднего цехового режима.

Лесков позвонил из диспетчерской Лубянскому.

— Прошу вас прийти, — попросил Лесков. — Думаю на полчаса остановить мельницу.

— Сейчас занят, приду попозже, — торопливо ответил Лубянский. — Распорядитесь сами.

Лесков вышел в цех и приказал Сухову: — Остановите, пожалуйста, мельницу, будем ревизовать динамик.

— И не думаю, — сказал Сухов грубо. — Сдам смену, тогда хоть танцуй на мельнице для пользы науки. С такой наукой, как ваша, последние штаны растеряешь.

Лесков пригрозил:

— Пожалуюсь на тебя Лубянскому, все равно придется останавливать.

Измельчитель ответил, удаляясь:

— Хоть митрополиту Новгородскому! Я свои права знаю.

Он, точно, знал свои права: никто не мог останавливать без него агрегат. Лесков вбежал в диспетчерскую взбешенный и снова потребовал Лубянского. Лубянского в кабинете не оказалось. Удивленная Катя спросила, что случилось. Она тут же позвонила начальнику смены. Сделав запись в оперативном журнале, Катя вызвала Николая.

— Распишись!. — сказала она строго. — Письменный приказ начальника смены. И не волынь, Николай, я этого не люблю. Немедленно останавливай!

Николай дерзил самому Савчуку, не всегда считался с Лубянским, начальники смен побаивались своенравного мастера. А сам Николай терялся перед решительной девушкой-диспетчером, хотя она и не имела над ним формальной власти. Сердито расписавшись в журнале, он бросил Лескову:

— Пошли останавливать!

Лесков поблагодарил Катю кивком головы; она лукаво подмигнула на разозленного Николая.

Через две минуты мельница была остановлена. Селиков первый протиснулся под нее и ухватился за динамик. Когда он вытащил его наружу, все ахнули. Внутренняя поверхность динамика была густо залеплена засохшей пульпой. И тут Лесков впервые за все время пребывания в Черном Бору «сорвался с точки». Разъяренный, он метнулся с кулаками к измельчителю. Испуганный Закатов отскочил назад — он побаивался драк, — а Селиков с Алексеем схватили Лескова за плечи.

— Охота вам пачкать руки, Александр Яковлевич! — сказал Селиков презрительно. — Кулаком его не прошибить, а срок вполне заработаете.

Лесков кричал:

— Нет, какие мерзавцы! Мы старались научно объяснить загадочное явление, а всей его загадочности — грязи потихоньку день за днем подливали в динамик.

Ничуть не струсивший Сухов дерзко ответил Лескову:

— За руку ты меня не поймал, чем докажешь, что я подливал? Три смены у нас; в ночной сделать это способнее, чем днем. — Он метнул злой взгляд на взволнованного, но по-прежнему улыбающегося Алексея. — Рожа моя не понравилась, поэтому под статью подводишь? Ладно, не подведешь!

Закатов старался успокоить Лескова:

— Возможно, пульпа сама по стенке мельницы натекла.

Злость еще бушевала в Лескове.

— У начальства встретимся, — пригрозил он, — там по-другому поговорим.

— Встретимся, встретимся! — бесстрашно ответил измельчитель. — Не ты меня вызовешь, а я тебя к ответу потяну. Ты не князь я не холоп — орать не позволю. Тут свидетели слышали, как ты меня честил.

Селиков потащил динамик наверх — отмывать. Мрачный Лесков отошел от мельницы.

— По-твоему вышло, — сказал он Алексею. — Динамик врал. Ни минуты не сомневаюсь — лысого работа.

— Брось это, Александр Яковлевич, — посоветовал Алексей. — Я Николая давно знаю, — хоть лысый, но отчаянный. А что он, не докажешь, может, и вправду по стенке грязь натекла.

Он улыбнулся самой доброй из своих улыбок. Лесков, понимая, что молодой рабочий говорит искренне, спросил:

— А ты не боишься, что Николай на тебя подумает, что это твоя подсказка — динамик ревизовать?

Алексей рассмеялся.

— Он сразу заподозрил плохое, как я не в смену пришел. Ничего — сколько раз ругались, столько и мирились!

Через полчаса промытый, высушенный и проверенный динамик был установлен на место, и Сухов запустил мельницу. Диаграммное перо на самописце сразу прыгнуло вверх. Мельница гремела полным звуком, и прибор записывал полный звук. Закатов поспешно изменил задание, и перо возвратилось к тому месту на диаграмме, где находилось раньше, до появления ненормальностей, — регулятор снова повел мельницу на режиме максимальной производительности. Загадки кончились.

К Лескову подошел курьер и попросил немедленно идти к Лубянскому. Алексей помогал Маше относить ведра и сита в лабораторию. На помост к Сухову поднялся дядя Федя. Во время ссоры дядя Федя стоял в стороне, у приборов, показания которых он записывал. Сухов повернул к нему хмурое лицо. Дядя Федя сказал внушительно:

— Я тебе не враг, Николай. А только дело это нечистое.

Измельчитель засопел, потом сказал горько:

— Сейчас, конечно, оно удобнее — все валить на маленького человека. А между прочим, мы за себя постоим и правду докажем.

— Дура ты! — сказал дядя Федя сердито. — Не понимаешь, где настоящая правда. Думаешь, Лесков ради своих интересов бьется? Ему помогать надо, вот что.

— Эту песню мы слышали. — Измельчитель презрительно покривился. — И ты сам пел ее, дядя Федя. И труда тебе облегчение, и зарплаты прибавка, и отдыху невпроворот. А кончилось чем? Тебя за шкирку да на улицу, остальных — с производства на строительство. Теперь и к нам подбираются, думаешь, не видим? Мы им поможем, а они нам коленкой под зад. Согласия моего, к примеру, на это нету; я не Алексей, чтобы пятки лизать.

— А чем строительство хуже фабрики? — возразил дядя Федя. — Я вчера Сашку встретил, помнишь, рыжего? Ничего, говорит, не жалуюсь, не хуже, чем на старом месте.

Они некоторое время молчали, облокотившись о перила помоста, потом измельчитель засмеялся.

— Этот высокий, худой, Закатов, что ли, — смех один! Ничего толком не понимает, даром что инженер. Я, конечно, давно видел, что грязь в динамик натекает, да молчал: меня не спросили, без меня и расхлебывайте. А он, знаешь, бегает, то за провод ухватится, то в прибор полезет, то обеими руками в волосы вцепится. И бормочет: «Все ясно! Все ясно!» А что ему ясно? Как в темной ночи плутал. За того, приятеля твоего, не скажу — толковый мужичок. Как он на меня налетел — молодец! Думал, по шее кулаком огреет. Ну, я бы ему сдачи дал! Так и решил: полезет в драку, — я его ключом газовым!

— Хвастайся! — сурово сказал дядя Федя. — Душа, небось, в пятки ушла!

— Слово даю, дядя Федя! Ты не смотри, что я худой, дело не в жире. И другой, толстый, Галан, тоже с понятием человек. Настоящего работягу мы понимаем.

— Приборов вы не понимаете, — вздохнул дядя Федя. — Куда сегодняшний день идет, не видите.

— Очень даже видим, — возразил уязвленный измельчитель. Больше всего ему хотелось теперь оправдаться от обвинения в отсталости. — Возьмите этот пескомер — никто против него слова не скажет. Толковая штучка! Посмотришь на него — и сразу видишь, сколько у тебя песков крутится; не нужно на классификатор бегать. Или звукомер. То же ухо, только побольше, мы понимаем. Вот я тебе скажу: оборудуйте нам все мельницы звукомерами и пескомерами, спасибо скажем. А автоматика, точно, лишнее — и без нее работа идет, никто не жалуется.

19

Лубянский представил Лескова трем пожилым людям, сидевшим в кабинете. Это была бригада специалистов, присланная из министерства, — профессор Шрамов, кандидат наук Тройкин, руководитель сектора производственной автоматики Гронберг. Приезд бригады был неприятен Лескову вообще, особенно неприятно ее сегодняшнее появление: приходилось забрасывать наблюдение над работой исправленного регулятора и идти парадом по фабрике — хвастаться будущими достижениями, скрывать нынешние затруднения. Он с облегчением узнал, что предварительная беседа уже состоялась. Лубянский ознакомил бригаду с историей работ по автоматизации фабрики, не забыл упомянуть и о бурном партийном собрании. («Только после того, как было сломлено сопротивление маловеров и ленивцев, не желающих переходить на новые методы работы, удалось по-настоящему развернуться!»). Теперь оставалось показать бригаде регуляторы в действии, для этого и пригласили Лескова.

Выходя из кабинета, Лубянский шепотом спросил:

— Выяснили, что случилось с этим чертовым регулятором?

— Выяснили, ничего, — ответил Лесков. Лубянский так удивился, что заговорил громко:

— Как ничего? Ведь он немыслимо барахлит!

Лесков нетерпеливо отмахнулся.

— Ничего, все в порядке. Потом объясню.

Они шли из цеха в цех, осматривали новую аппаратуру, проходившую испытания. Объяснения давал Закатов; он развернулся, каждый прибор лаборатории в его изложении представал как открытие в технике.

Лубянский шепнул Лескову, посмеиваясь от возбуждения:

— Знаете, Александр Яковлевич, как Савчук принял комиссию? Вот уж мамонтово обхождение! Даже не понимает, что сегодня он им нагрубит, а завтра они его в официальном докладе разнесут. Вначале все шло честь честью: улыбался, руки жал, даже погордился немного: первая все-таки фабрика в стране, которая переходит на автоматику. Он не дурак, понимает, что немалый капитал можно на этом нажить. А потом его вдруг прорвало. Профессор Шрамов просит: «Не могли бы вы пройти с нами по цеху, очень интересно узнать ваше мнение о каждом регуляторе». Он отваливает все с тою же улыбкой: «Не до автоматов, товарищи, у меня план по концентратам проваливается, пусть этими пустяками товарищ Лубянский занимается — его начинание!»

Лесков знал, что в этом месяце фабрика плана не выполнит, один измельчительный цех со своими мощными резервами шел в норме. Одолевавшие Савчука заботы были Лескову понятны.

— Прав он, все эти показные обходы — пустяки, я их иначе не расцениваю, — ответил Лесков.

Лубянский возразил, уязвленный:

— Боюсь, он имел в виду не обходы, а саму автоматизацию — москвичи так его и поняли.

Через час профессор Шрамов в кабинете Лубянского подводил итоги первым впечатлениям. Он был объективен, это Лесков сразу признал — многое москвичам понравилось, со многим они не соглашались.

— Вам было бы легче, если бы вы связались с центральными институтами, — указал он. — Во всех лабораториях Союза сейчас бьются над сходными задачами, а к чему такая разобщенность? Вы слишком громоздкую ношу навалили себе на плечи, если и вытянете ее, то не очень скоро. Мы, конечно, широко оповестим о вашем опыте другие заводы министерства.

Это было резонно, Лесков не возражал против любой помощи, готов был и сам оказать ее. Он согласился представить москвичам письменную информацию о своих работах.

Он шепнул Закатову:

— Писать будете вы: что-что, а расписывать вы умеете.

Закатов был так обрадован похвальным отзывом московских специалистов о его приборах, что даже не рассердился.

На другое утро Лесков явился на фабрику раньше всех: он страшился новых неожиданностей. Регулирование шло исправно, мельница показывала максимальную производительность. Сухов встретил его злобным взглядом — норовистый измельчитель не скрывал своих чувств. Еще вчера Лесков серьезно подумывал о рапорте Савчуку; он не оставил мысли убрать Николая Сухова подальше от опытной мельницы. Повинуясь внезапному порыву, Лесков поступил совсем по-иному. Он дотронулся рукой до плеча отвернувшегося измельчителя и сказал:

— Товарищ Сухов, послушай, это же глупо: чего ради мы враждуем?

Измельчитель мрачно слушал, он не уходил, но и не поворачивался лицом, Лесков продолжал еще горячее:

— Чепуха какая-то! Должны бы помогать один другому, а не наскакивать с кулаками.

Сухов угрюмо отозвался:

— Я, к примеру, кулаками не машу, хотя сдачи всегда могу... А помощника ты уже нашел — Алексея. Видать, оттого, что он за мной не угонится, ты в нем великого специалиста открыл. Твое дело, конечно. Я скажу прямо: Николай Сухов только тебе как мастер неизвестен, другие о нем наслышаны. Без автоматики проживу, своими руками.

Он протянул Лескову ладони, глаза его гордо глянули в лицо Лескову. И тут Лесков вдруг нашел единственные слова, способные тронуть душу этого человека:

— Нет, Николай, неправда — я о тебе тоже слышал. И, как все, одно хорошее. Скажу по-честному: надеялся, что подружимся. А почему-то не выходит — или я к тебе не подошел, или ты не понимаешь наших задач.

Сухов глядел по-прежнему замкнуто и высокомерно, но Лесков знал, что лед сломан. Измельчитель сказал ворчливо, без прежней вражды:

— Задачи, говоришь?. Задачи я понимаю, может, лучше твоего. Вон расхвастались: максимальная производительность, лезвие ножа! Смех — столько крику. А где он, максимум? С собственной автоматикой не справляетесь!

Лесков с изумлением слушал его.

— Позволь, разве ты считаешь, что у нас не максимальный режим? Ты берешься поднять его выше?

Измельчитель кивнул головой.

— Берусь. На твоих глазах, чтоб сам увидел, кто таков Николай Сухов. В руки настоящие взять твои приборы — тогда они чего-нибудь будут стоить.

Лесков сейчас же решился:

— Ладно, отдаю автоматику в твои руки, показывай, что еще можно сделать.

Они шли к щиту. Измельчитель хмурился. У щита он потребовал:

— Только так: раньше растолкуй мне все рычажки и стрелки, что к чему. Я мнение свое составил, теперь надо проверить.

Лесков тут же убедился, что «мнение» Сухова было правильно — он хорошо знал, как действует регулятор. И не торопился, повторял в уме показанные ему операции, передвигал рычаги так осторожно, словно мог сломать их поспешным движением: он уважал эти хрупкие и могущественные в своем действии части прибора. Потом Сухов пошел настраивать процесс. И это делал иначе, чем Лесков или Закатов, даже не так, как Алексей. Лесков залюбовался его движениями. Николай словно рисовал картину, а не регулировал мельницу: он, подбегал к ней, вслушивался и всматривался, потом подходил к щиту и передвигал рычаги на миллиметр, на полмиллиметра, касался пальцами, словно мазки клал. И на каждое прикосновение его пальцев механизмы отвечали невидным глазу изменением подачи руды, мельница — неслышным уху изменением шума. Пораженный Лесков видел, что Николай уходит за признанную границу; та самая заветная область — «лезвие ножа» — была у него дальше, они, оказывается, не достигали ее. Мельница работала тяжело, на низком, рычащем басе, гигантские массы песков вздымались из классификатора — мощный, уверенный ход, ровный ход, подлинный максимум был и в этом глухом грохоте мельницы и в песках, что наполняли ее, не забивая, — нужно было удивительно знать процесс, удивительно владеть им, чтобы так его вести.

Николай глядел то на прибор, то на собравшихся возле людей. Он наслаждался своим успехом, теперь все видели его мастерство.

— Толкуй, дядя Федя! — сказал он строптиво: он заканчивал давно начатый спор. — Теперь она, точно, автоматика, когда я ею командую!

Дядя Федя отозвался с уважением:

— Как тебе сказать, Николай? Невредно — одно слово!

Но Николаю не хватало еще одной похвалы его искусству. Он повернулся к Лескову, он улыбался:

— Ну как, начальник, берешь меня взамен своих инженеров? Хороши у тебя помощники, да вот с мельницей не справляются.

Лесков засмеялся и с силой ударил Сухова по плечу — недавний противник превратился в друга.

— Взамен не возьму, зачем — мои инженеры в другом месте понадобятся. А здесь ты первый командир, спорить не буду.

В этот день он не отходил от мельницы — его и появившегося позже Закатова поражал необыкновенный процесс. Когда Лесков наконец ушел, на него в дверях налетела грудью Маша. Он прижал ее к себе, чтоб она не упала. Она не спешила оторваться — он сам оттолкнул ее.

— Простите, я не ушибла вас, Александр Яковлевич? — спросила она радостно. — Я ведь ну просто бомба!

Он ответил, улыбаясь:

— Ну что вы, Маша! А куда вы спешите?

Он с удивлением смотрел на нее. Маша неузнаваемо преобразилась. Она сбросила свою грязную мужскую спецовку, умылась и переоделась. Перед ним стояла невысокая девушка с крепкой и стройной фигурой, в цветастом шелковом платье: — вовсе не девчонка, какой она казалась в цеху. Столкновение взбудоражило ее, она раскраснелась. Поймав взгляд Лескова, Маша сконфуженно рассмеялась; впервые Лесков посмотрел на нее, как полагается мужчине; раньше он разглядывал ее равнодушно, как вещь. Она пояснила:

— Я сумочку забыла на столике у щита.

Он сделал движение уйти, она поспешно воскликнула:

— Вы в город? Подождите меня, я тоже туда!

Он сказал, досадуя, что придется идти не одному:

— Минуту подожду, не больше.

Она крикнула, уносясь вихрем:

— Меньше минуты, вот увидите!

Она и вправду возвратилась быстро. Лесков продолжал удивляться: сбросив спецовку, Маша словно и характер свой оставила в цеху. Она шла рядом с Лесковым непринужденно, весело болтала — ей, очевидно, прогулки с мужчинами были не в новинку. И разговор ее был иной: она не задавала наивных вопросов, не глядела широко раскрытыми глазами, какими в цехе всматривалась в приборы. Лесков ожидал, что будет стеснение оттого, что она идет рядом, он сердился на глупую прогулку. Но стеснения не было, рядом с ним бодро шагала, стараясь попасть в его шаг, женщина, как все другие, к тому же разговорчивая и смешливая. На уклоне он взял Машу под руку, она прижалась к нему. Так они и шли: ему было неудобно отнять руку. Скоро Лескову стала нравиться эта прогулка. Они вышли в пустое время — дневная смена ушла, час служащих еще не наступил, — на дороге им никто не встречался.

— Знаете, я вас боялась вначале, просто ужасно, вы не поверите! — болтала она. — Вы такой невероятный!

— Почему невероятный?

Невероятный! Вы нигде не бываете — ни в клубе, на в кино. Девушки на вас обижаются.

— По-моему, я никого не обижал.

— Ну прямо! Ни на одну не смотрите — разве не обида?

— Характер такой — люблю одиночество.

— Значит, характер обидный. Нет, правда, вам не скучно всегда одному? Я бы умерла, если бы мне всю жизнь только с собой. Что вы делаете, когда вы один?

— Думаю.

— Ужас — столько думать! Откуда так много мыслей взять? А на воскресную экскурсию вы поедете? У нас много с фабрики будет, с медеплавильного тоже.

— На экскурсию поеду.

— И никого не пригласите? Так один и поедете?

Лесков вспомнил, что еще недавно носился с мыслью пригласить на экскурсию Надю. Он проговорил грубо:

— Вас приглашаю — пойдете?

Маша не обратила внимания на невежливый тон приглашения. Она прижалась к Лескову еще тесней, сказала благодарно и радостно:

— Конечно, пойду, обязательно!

Они подошли к стоянке автобуса. Лесков извинился — ему нужно идти в лабораторию. Он уточнил приглашение:

— Встретимся на месте, Маша, в машине. Она проговорила с сожалением:

— Ах, как жалко, что вы на работу: можно бы в кино сходить, пока народу немного!

20

Селиков про себя не раз определял состояние, в котором находился, грустной и выразительной формулой: «Попал в непонятное». Его не отвергали, не высмеивали — только терпели. Селиков растерялся: все испытанные методы обращения с женщинами вдруг отказали. Он на людях тихонько жал Наде руку, она не вспыхивала, как следовало бы, но снисходительно улыбалась и отнимала руку. Селиков победно встряхивал кудрями, она советовала: «Сережа, почему вы не подстрижетесь, зачем вам столько волос?» Провожая домой, он пытался поцеловать ее, она не в шутку сердилась: «Перестаньте, Сережа, я этого не люблю!» Посылая ее мысленно к черту, он решал не замечать ее, но больше, чем на день, выдержки не хватало — Надя при встрече так дружески улыбалась, что он мгновенно таял и забывал о всех неудачах.

Закатову в минуты откровенности — Селиков и раньше делился со своим начальником сердечными делами — он мрачно сказал:

— Черт знает, кто из нас мужик, кто баба. Если судить по одежде, мужчина я, а если по поведению — так она. Удивительно ловко увиливает от прямого ответа! Поверите: до сих пор ничего не добился.

Закатов имел обширные теоретические познания в проблемах любви. Он рассудительно заметил:

— А может, кто-то ножку тебе подставляет, Сережа? Как в смысле соперника? Не поверю, чтобы у свободной девушки твои кудри не котировались!

Селиков промолчал. У него были неясные подозрения. Он несколько раз перехватывал взгляд Нади, бросаемый на Лескова, но признаться, что кто-то, не стараясь особенно, добился у Нади большего успеха, он не мог.

Закатов, увлекаясь, развивал вариант за вариантом:

— Возможно, впрочем, что кокетничает. Есть такая форма завлекания — отталкивать. Безошибочное средство. Требует только терпения и крепких нервов.

Селиков отверг и этот вариант:

— Скажете тоже — кокетничанье! На кого другого, а на Надю это не похоже.

Закатов окончательно остановился на том, что виноват во всем сам Селиков.

— Неправильный у тебя подход, Сережа. Обветшалые методы: пустая болтовня ни о чем, дешевые комплименты, одни и те же прогулки под ручку. Все это, знаешь, безошибочно действовало до пара и электричества. Сейчас даже малообразованные девушки интересуются не только платьями и прическами... Не уважаешь ты ее диплома, Сережа.

Селиков обозлился.

— Что же, прикажете креститься на ее диплом?

Закатов разъяснил:

— Креститься не следует, а учитывать нужно. Умно поговори с ней, увлеки высокой мыслью — вот настоящий метод.

Селиков запомнил. Он не только запомнил, но и вспомнил. Он видел теперь собственные промахи и оплошности. Нет, он с самого начала повел себя неудачно — легкое ухаживание не выходило, нужно было прямо рубануть: «Жить без вас не могу!» А как это сделать теперь, после стольких встреч, пустого смеха и зубоскальства, легкомысленной болтовни? Ну, и проклятая эта штука, настоящая любовь, выдернуть бы ее с корнем, как больной зуб, насколько стало бы проще!

Селиков надумал откровенно объясниться с Надей. Нужно было побыть с ней часок наедине. Почему-то и этого не получалось — на фабрике не до разговоров, после работы то у Нади не было времени, то Катя, вредный человек, мешала. И встретив как-то Надю, одну в фойе фабричного клуба, Селиков от неожиданности растерялся.

Надя пришла на доклад профессора Шрамова о новых веяниях в организации производства. До начала лекции оставалось много времени. Надя присела у столика, перелистывая журналы. Селиков задержался в дверях. Надя приветливо ему улыбнулась.

— Входите, Сережа. Вы тоже на лекцию?

Он сразу бухнул:

— К вам, Надя.

Она удивилась.

— Ко мне? Мы ведь только что виделись в цеху!

Он уже обрел обычную самоуверенность.

— Виделись, да не так. Надеюсь, не будете возражать, если посижу около вас на диване? Не стесню?

Она поспешно сказала:

— Конечно, садитесь! Что вы сегодня такой церемонный — на вас вовсе не похоже!

— Ничего особенного, — возразил он. — Замучился с регуляторами, в последние дни у нас ни днем, ни ночью нет покоя...

— По-моему, у вас всегда так, беспокойная профессия, — заметила Надя. — Сейчас впрочем, дела пошли лучше, не правда ли?

Селиков, несмотря на внушения Закатова, не считал, однако, что автоматика годится для разговора с девушками. Он сказал:

— Знаете, что мне от вас надо, Надя? Хочу пригласить на завтрашнюю экскурсию.

Она с сожалением покачала головой.

— Ничего не получится, Сережа. Масса дел дома. Даже в кино никак не выберусь. — Он насупился, она ласково коснулась его руки. — Не сердитесь, честное слово, правда!

Он отозвался со вздохом:

— Что-то теперь у вас одна правда: не хочу, не могу, не сумею. Все начинается на «не». Я больше люблю правду, которая начинается с «да»: да, пойду, да, согласна, да, свободна.

Она рассмеялась:

— Ну, это неинтересно — во всем соглашаться.

— Конечно, дразнить интересней, — продолжал он с досадой. — Между прочим, раньше вы были не такая неприкасаемая — тоже словечко на «не». И гуляли мы с вами, и в кино ходили, и болтали.

— Раньше и вы были другой. Ну... не такой настойчивый, что ли. Сейчас я вас побаиваюсь, правда.

Он презрительно покривился:

— Бросьте, Надя. Я не такой дурак, чтобы поверить. С вами не то, что я, тигр превратится в теленка — умеете ставить людей на место. Просто вас не устраивает, что я вам неровня.

Надя удивилась:

— Как это — неровня? Я не понимаю вас, Сережа.

Он сказал сердито:

— А так. Обыкновенное неравенство: вы инженер, я техник.

Она возмутилась:

— Ну, что вы, Сережа! Какое это имеет значение в наше время? Странно вы понимаете равноправие людей.

— Не я, а вы, — ответил Селиков сумрачно. — То есть не вы, в частности, а вообще все женщины. Вот уж народ — никакого равноправия не признает, хотя говорит о нем часто. Нет, не смейтесь, я берусь это доказать.

Надя была заинтересована. Еще ни разу у них не завязывалось такого странного разговора. Она сказала, улыбаясь:

— Неужели вы будете отрицать, что нередки браки между инженерами, даже профессорами, и простыми, малообразованными людьми? С вашей теорией это плохо вяжется.

Воодушевленный ее вниманием, Селиков пустился в разглагольствования, которых обычно избегал, предпочитая слову дело. Все отлично вяжется. Подобные браки встречаются сплошь и рядом, только при одном условии: если ваш инженер или профессор мужчина, а простой, малообразованный человек — женщина. Мужчина охотно примирится с тем, что жена ниже его по образованию и умственному развитию. Он не возражает, если она подымется и выше его на ступень, он будет гордиться такой женой. А вот женщина против этого возражает. Она признает один шаблон — мужчина или равен ей умственно, или выше нее. Такая штука ее устраивает. Сколько их, этих профессоров, у которых жены в домашних работницах ходят! А что-то не слышно о женщине-профессоре, у которой муж в домашнее хозяйство определен. Равенство! Теперь любая десятиклассница нос воротит, когда у парня выше семи классов душа не поднялась, или вообще судьба устроила ему подножку на тропке образования. В этом животрепещущем вопросе женщины — безжалостные и высокомерные педанты, никаких снисхождений они не признают. Что, разве не так?

— Не совсем, — ответила Надя с живостью. — Вы страшно все преувеличиваете. Между прочим, знаете, какой я вывод сделала из вашего рассуждения? Горжусь тем, что я женщина, а не мужчина!

Он озадаченно пробормотал:

— Это еще почему?

Она засмеялась.

— А потому! По вашей теории, женщина — истинный двигатель человеческого прогресса. Сами вы говорите, что ваш брат, мужчина, примиряется со всем, а женщина неустанно вас же подталкивает — будьте лучше, будьте умнее, будьте развитее! В первый раз слышу от мужчины такое честное признание заслуг женщины.

Селиков уже жалел, что залез в дебри. Он поднялся и грубовато сказал:

— Ладно, Надя, вас не переспорить. Извините, мне надо в цех.

Надя тоже поднялась.

— Мы еще поспорим, Сережа. А пока я хочу доказать, что дело не в мнимом нашем неравенстве. Я поеду с вами на экскурсию.

Он удалился довольный, разговор сошел благополучно — Закатов, выходит, кругом был прав. Надя тоже была довольна. Она улыбалась, вспоминая парадоксальные суждения Селикова.

В этот вечер у Нади состоялась еще одна важная беседа. Она пробралась в зале к Лубянскому и дружески взяла его под руку. Лубянский был безмерно удивлен — если бы Надя без видимой причины обругала его, он счел бы это более естественным. После минутного дружеского разговора он успокоился. Любезно улыбаясь, он закивал головой:

— Конечно, конечно, Надежда Осиповна! Можете не сомневаться!

21

Пустыхин обещание свое сдержал и в один из воскресных дней устроил экскурсию в лес. По масштабу приведенных в действие материальных ресурсов она скорее напоминала генеральное наступление на природу, чем скромную вылазку за город. Дня за четыре до похода Пустыхин обнародовал свою программу: «Истинное слияние с природой требует хорошей организации — оно немыслимо без передвижного буфета, двух бочек пива и духового оркестра». Программа была осуществлена с блеском — экскурсию занесли в план массовых мероприятий, черноборский пищеторг выделил фургон и продукты, Крутилин согласился оплатить музыкантов, три грузовика для переброски отдыхающих на лесные полянки выпросили у него же и у Савчука. Пустыхин решительно провел в жизнь самый трудный раздел программы — ранний выезд за город, чтоб восход солнца встретить в лесу. В пять утра гудки грузовиков разорвали сонную тишину города, в половине шестого битком набитые машины покатили по лесной дороге. Чтобы поднять настроение у экскурсантов, а также повеселить, — он говорил «побесить» — мирных жителей, Пустыхин затянул песню, и тихие улицы наполнились смехом и дружным громом плясового мотива. Испуганные горожане в одном белье лезли на подоконники, а псы исходили яростью за воротами домов.

— А ну еще! А ну, чтоб стекла дрожали! — командовал Пустыхин своим неслаженным, но готовым на все хором и успокоился только тогда, когда по сторонам потянулись лиственницы и ели.

Одним из поставленных Пустыхиным условий было — являться парами, «чтобы не было дефицита в нежных взглядах». Он спросил Лескова:

— Как у вас, Александр Яковлевич, с этим пунктом? Лесков ответил, стараясь не смотреть ему в глаза:

— Пригласил одну, зовут Маша.

Пустыхин одобрил:

— Имя хорошее, это очень важно. Представляете, если бы вашу подругу звали Элпедифора? Как с такой обращаться?

В назначенное время Маша, сонная и дрожащая, в легком платье, ходила по улице вместе с другими экскурсантами. Лесков пришел за минуту до появления машины и помог Маше взобраться в кузов. Она радостно схватила его под руку и тут же прижалась к нему, сказав: «Ах, очень холодно!» Когда машина понеслась сквозь лес, Маша положила голову Лескову на плечо — так было теплее. Он старался отодвинуться: не следовало перед другими показывать близости, тем более, что близости не было. Никто, впрочем, не смотрел на него, все были заняты своим. На второй машине Лесков заметил Надю; она стояла к нему спиной, рядом с Селиковым и Лубянским. Верный Бачулин, ни на шаг не отступавший от Лескова, пробормотал:

— А я думал, Саня...

Он не досказал, что думал, но Лесков понимал и так: Бачулин удивился, что рядом с ним Маша. Впрочем, Маша ему понравилась, он так и сказал с одобрением на ухо Лескову:

— А знаешь, она собой очень ничего.

Машины вырвались из города и покатили навстречу утру. Сонный лес постепенно поднимался по обеим сторонам дороги. Сперва это были пни; дурная трава, мертвые березки, похожие на ноги рахитика, спутанные кусты ольхи — все темными тенями проносилось мимо. Это была область сернистого газа, поле отчаянной битвы между неотвратимо оседавшей кислотой и побежденным, приникшим к земле лесом. Машины мчались сквозь это пепелище сраженного лесного народа, как по темному кладбищу. А затем в лесу стала разгораться заря и вместе с зарей оживал и сам лес: уже не жалкая трава, не пни, не мертвые стволы, но высокие лиственницы, стройные ели, крепкие березы, ольха и тальник распространялись кругом, взбирались на холмы, сгущались в долинах. На машинах само собой установилось полное восторга молчание — великое древнее торжество совершилось в лесу, нарядный праздник утренней зари: в том месте, куда неслись машины, стало светлеть, словно от далекого пожара в неясном свету выступили вдруг отдельные лиственницы — дальние виднелись лучше, чем темные ближние. Это не было сияние — венцом золотые лучи, — скорее светящийся туман; он, словно дым от огня, исходил от невидимой точки за холмами, и нарастал, и расширялся, и становился ярче и глубже. А потом этот светящийся туман пронизало золотом и кровью, лес вспыхнул ярчайшими красками осени — лимонно-желтые лиственницы соседствовали с багрово-красными березами, бурая ольха перемежалась синеватыми елями. Метнулся ветер, и сонный лес ожил, и забормотал, и зашелестел, и протягивал ветви навстречу торопившемуся в мир солнцу. И снова была тишина и пышное торжество красок, словно все в лесу с молчаливым нетерпением ожидало приближающееся великое событие. Оно совершилось в секунды — над холмом показался красный, неправдоподобно большой блин и покатился вверх от земли, на верхушки лиственниц; глаз смотрел на него, не моргая. И в ответ на явление солнца лес снова зашумел, закачался верхушками и ветвями, зазвенел ожившими птичьими голосами. А с машин неслись крики, махали руками, взлетали в воздух шапки. Солнце все поднималось, из красного становилось золотым, уменьшалось, делалось ярким и горячим. И опять все в лесу менялось, рождалось заново и оборачивалось иным — сияние между деревьями пропадало, они смыкались, становились тесней и темней, одна зубчатая стена простиралась под солнцем, качаясь, шумя, попискивая и вереща.

— Нет, это прелесть! Саня! — кричал Бачулин, тряся Лескова. — Записываюсь в солнцепоклонники; не знаешь, где здесь дежурное отделение секты?

— На березовой полянке, — со смехом отвечал Лесков, — у мшистого пня с боровиками, а записывает дятел — секретарь-референт. Расписываться собственной кровью на бересте и скреплять печатью у паука-крестовика!

Он чувствовал себя так, словно выпил пьяного вина. Все в нем ликовало и пело, и рвалось наружу криком, взмахами рук. Он схватил Машу за плечи, чуть не поцеловал при всех, а она вся потянулась к нему. «Дурак! Дурак! — подумал Лесков. — Третий десяток доживаешь, а настоящего восхода солнца не видел. Из-за крыши пятиэтажного дома выглянет, ты говоришь: „Ну, встало солнышко!“ А оно вон какое! Нет, очень хорошо, просто великолепно!» — все снова твердил он, словно не солнце встало, а с ним, Лесковым, случилось большое и неожиданное счастье.

А затем в просвете леса сверкнул холодной прозрачностью простор — неширокая река извивалась в крутых берегах. Машины затормозили на обрыве — и люди посыпались в траву. Лесков видел, как Лубянский и Селиков разом протянули руки, и Надя, смеясь, спрыгнула вниз. «Когда это Лубянский начал приударять за ней? Они всегда ссорились!» — с неприязнью подумал Лесков и повернулся к Маше — она склонилась над бортом, ожидая его помощи.

— Все на песок! — командовал Пустыхин. — Коллективное омовение в речке! Разрешается купаться и сталкивать соседей в воду!

Все, хватаясь за кусты, поползли с обрыва. Лесков не то сам прыгнул, не то покатился по глинистому обнажению. И сейчас же на него свалился гогочущий Бачулин, а на них с визгом упала Маша. Бачулин был искренним доброжелателем Лескова, но, поднимая Машу, не удержался, тиснул ее; она весело шлепнула его, по спине. Пример Лескова пошел в науку — все один за другим катились по обрыву на песок. Новыми криками встретили прыжок Селикова в воду. «Не заплывать, — сердито кричал ему Пустыхин. — Течение зверское, не вытянешь!» У Лескова заныло тело от желания кинуться в реку. Он попробовал воду рукой — вода была холодная, градусов одиннадцать. У берега Надя махала платком проплывавшему мимо нее Селикову. Лескову показалось, что она с насмешкой поглядела на него; он сразу остановился. Бачулин облапил его и оттащил от берега.

— До водки не разрешу! — объявил он категорически. — И не проси, Саня. Юлия наказывала охранять тебя. Разожги в животе огонь, тогда хоть к черту на рога. Простудная бацилла спирта не терпит, точно!

Селиков выскочил из воды и под общий хохот встряхивался как собака, — во все стороны летели брызги.

— Чудная штука, — хвастливо объявил он, натягивая брюки. — Рекомендую каждому!

Последователей у него, однако, не оказалось. Пустыхин предложил сделать зарядку, пока приедет запоздавший грузовик со «съестным и пивным». Зарядка вышла длинной, за ней последовали игры; обещанный грузовик все не появлялся. В компании оказалось два мяча, на краю пляжа завязалась игра в волейбол, на широкой середине — футбольное состязание. Импровизированные команды количеством игроков не стеснялись — восемнадцать футболистов лихо атаковали два камня — неприятельские ворота, защищаемые восемью игроками. Была ли забита «штука» или нет, никто не видел: после первой же хорошей подачи мяч полетел в реку и, уносимый течением, быстро скрылся из глаз.

Бачулин, не находивший себе места, когда начались игры, требовавшие бега и прыжков, приплелся к Пустыхину и пожаловался:

— Петя, зубы чешутся — пожевать бы колбаски. Душа пива требует. Войди в положение.

Пустыхин пожал плечами.

— А что я могу, Василий? Современный человек теряет три четверти своих способностей, когда нет телефона под руками. Одно могу посоветовать — держи себя вроде наших предков, они к природе были приспособлены: разожги костер, попляши у огня.

— На пустой желудок? — возмутился Бачулин. — Последнюю крошку совести затерял, Петя. Нет, серьезно, от имени голодающей массы взываю. Трагедия, пойми: солнце печет, а в животе мрак и холод. Пошли навстречу грузовик «скорой помощи».

Просьба Бачулина оказала свое действие на Пустыхина. Он поднял по тревоге отдыхающих на пляже шоферов, и через минуту одна машина, обнадеживающе зарычав, помчалась обратно к городу. Прошло, однако, еще с час, пока из лесу выплыл красный пищеторговский фургон, эскортируемый грузовиком «скорой помощи». Раздевшийся до пояса Бачулин с криком «Едут! Едут!» кинулся к фургону, чтобы быть первым в очереди.

— Ты не ходи, Саня! — увлеченно крикнул он. — Я возьму на всех. Подай мне ведерко, что захватили из дому.

Лесков перебросил ему ведро и деньги и уселся с Машей на песке. К ним примостился Закатов. Бачулин застрял у фургона. На каждого человека, честно стоявшего в хвосте, приходилось десять безочередных, и они, согласно обычаю, получали в первую очередь. Бачулин ругался и отпихивал наседающих. Занятый этим, он все не успевал получить свою долю. Потом он приковылял к приятелям, величественный, как идол, — на шее висело тройное ожерелье из сосисок, локоть обвивало колбасное кольцо, одна рука тащила ведро, до края полное пивной пены, другая прижимала к груди буханку хлеба и две бутылки портвейна. Еще два человека подсело к компании — пир пошел горой.

Солнце уже прошло полдень, когда гуляющие покончили с едой. День был на редкость хорош для осени. На небе голубовато-серого, северного оттенка не было ни тучки, солнце не скупилось на тепло. Многие, разомлев от особого, пляжного чувства, всегда охватывающего человека около воды, валились на песок и загорали — не столько физически, сколько психологически. Бачулин, единолично выпив бутылку портвейна, вздумал объясняться Маше в любви.

— Нет, ты не серчай, Саня! — говорил он весело. — А вкус твой хорош, особенно, знаешь, это носик, цветочки на платье и прочее. Прямо тебе скажу: одобряю!

Маша хохотала.

— Одни цветочки хороши? — подзадоривала она Бачулина. — Больше ничего?

— Я же сказал: прочее! — шутил Бачулин. — Прочее — самое лучшее!

К ним подошел Пустыхин, сгибавшийся под тяжестью аккордеона.

— Горька участь популярного музыканта, — вздохнул он. — Таскайся теперь с этим переносным роялем. Не пугайтесь, мучить ваш слух не буду, это Сережин. Он цветочки в кустах собирает со своей девушкой, а мне поручил охрану музыкальной техники.

Пустыхин тоже был навеселе. Он завязал ученый спор с Закатовым. По пляжу ходили девушки в венках из розового кипрея и красных березовых листьев. Кое-где заводили хороводы и играли в кошку и мышку.

— Пойдемте за цветами, — попросила Маша. — Что это мы приросли к одному месту, словно пни!

Лесков стал карабкаться на обрыв, поддерживая Машу. В лесу кипрея было мало, и Лесков предложил выйти на холмы — на открытых полянках этого добра вдоволь. Но Маша не торопилась уходить из чащи. Он потянул ее за собой. Она прижалась к нему и, закрыв глаза, коснулась его губами. Лесков приник к ним и не слышал, как раздвинулись кусты. Из лесу вышли Лубянский, Селиков и Надя с ворохами цветов в руках.

— Автомат безопасности не срабатывает начальник! — громко сказал Селиков. — Так и до аварии недалеко.

Он нагло подмигнул Лескову. Лесков еще не видел Селикова таким — красный, с расстегнутым воротом, с блестящими глазами, он дерзко посматривал то на своего начальника, то на Машу и, видимо, собирался подшучивать дальше. Маша, взвизгнув, проворно убежала в кусты. Селиков захохотал. У Лескова сжались кулаки.

— Слушайте, Селиков, — сказал он сквозь зубы. — Выберите для острот другую мишень. И впредь так плоско не острите — можете нарваться на неприятность!

— А вы для поцелуев выбирайте уголок подальше, — грубо отрубил Селиков. — И вообще здесь вы не начальник, а я не подчиненный — как хочу, так и острю.

— Тогда не обижайтесь на ответ, — проговорил взбешенный Лесков. Он вплотную подошел к Селикову, сгорая от желания ударить его по лицу. Лубянский, испуганный, встал между ними.

— Возьмите себя в руки, Александр Яковлевич! — проговорил он, волнуясь. — Ну, что это такое? Выпили бутылку вина и лезут в драку.

Селиков, сразу став серьезным, хмуро следил за Лесковым. Ярость еще клокотала в Лескове. Он сознавал уже, что не бутылка вина и не глупый поцелуй так неудержимо толкали его на Селикова. И тот тоже понимал это. За спиной Лескова послышался треск сучьев — Надя уходила в чащу. Селиков посмотрел ей вслед.

— Дракой спора не решишь, — сказал он неожиданно спокойно. — А между прочим, я не против драки. Если надо, ищите на бережку, пока же прошу извиненьица — важное дело!

Лубянский взял Лескова под руку и вывел его на полянку.

— Честное слово, не думал, что вы можете быть таким разъяренным, — говорил он. — Если бы я не помешал, вы кинулись бы на него.

— И кинулся бы! — гневно сказал Лесков. — Какое ему дело, с кем и как я провожу время? Вот вы с ним оба ухаживаете за этой Надей, никто вам не собирается мешать. И я, как хочу, так и буду себя вести.

Лубянский вдруг сильно обиделся.

— Прежде всего за Надеждой Осиповной я не ухаживаю, — указал он. — Я не враг своему спокойствию, чтобы влюбляться в таких особ. Я приглашал Катю, но она сегодня заменяет заболевшего сменщика. Если хотите знать, Надежда Осиповна сама просила меня сопровождать ее на прогулке, чтобы не быть одной — только и всего. — И, с удивлением посмотрев на изменившееся лицо Лескова, Лубянский продолжал: — Вся эта ссора выеденного яйца не стоит, пойдемте пить пиво. Кстати, эта Маша... Сколько раз я видел ее в цеху, и ни разу не замечал, что она хорошенькая. Вот что значит для женщины красивое платье! Прямо по Гегелю — форма как существенное в содержании, а не только внешнее.

Но Лесков сейчас даже на пари не мог бы припомнить, какое у Маши платье. Перед ним стояло презрительное лицо Нади, он слышал ее шаги по траве, треск сучьев.

Селиков, догнав Надю, остановил ее.

— Зачем вы гонитесь за мной! — крикнула она раздраженно. — Не смейте подходить ко мне!

— Наденька! — сказал он заискивающе. — Ну, ей-богу, зачем вы? Сами же согласились поехать?.. Поймите, я для вас на все...

Он протянул к ней руку, Надя с ожесточением оттолкнула ее.

— Знаю ваше «все»! Зачем вы повели нас в кусты? Чтобы показать, как Лесков обнимается? Меня ни он, ни вы не интересуете! Ну, чего вы стоите? Я сказала: нам вместе делать нечего!

Он долго молчал, набираясь, словно воздуха перед прыжком, нужных слов. Но слова, приходившие на ум, как на подбор, не годились для разговора с Надей.

— Вижу, вижу, как вас Лесков не интересует! — проговорил он наконец, с отчаянием сознавая, что говорит не то, что нужно. — Вы на него одного смотрите, а когда он говорит, никого больше не слышите. А ему начхать на вас — возится со своей девкой и доволен.

Бледная, с искаженным лицом, Надя подошла к Селикову вплотную.

— Ненавижу! — сказала она звенящим шепотом. — Вас ненавижу, его ненавижу, всех ненавижу!

Она сбежала по обрыву вниз и скрылась за выступом берега. К подавленному Селикову подошел Закатов.

— Сережка! — весело крикнул он, распахивая руки. — Приди, голубь, и прими братский поцелуй! Ну, не вешай носа, знаю, о наших регуляторах скорбишь, что легко не налаживаются. Пустяки все, смотри, какой день, какое солнце, к черту все приборы! — И он с чувством проговорил, мешая стихи двух поэтов: — От черного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены. Довольно, пора мне забыть этот вздор, пора мне вернуться к рассудку!

— День хороший, — мрачно согласился Селиков. — В такой день нужно вино пить, музыка найдется — танцевать до упаду, а раздразнит какая-нибудь рожа — бить эту рожу!

— Это программа! — обрадовался Закатов. — Все по науке, не подкопаешься. Пойдем, там у нас на донышке литра три пива осталось, ведерко в воду поставили, чтоб не нагрелось. Сегодня гуляем, завтра напущусь на тебя, как лис на куропатку: кончай волынку с наладкой, хватит, Сережа, лентяйничать! Вот так, брат. — И, обнаруживая неожиданную для пьяного человека проницательность, Закатов взял Селикова под руку и, как ему показалось, приглушенным голосом проговорил: — А может, ты оттого скуксился, что твоя стрекозель убежала? Я все видел: мчалась, как заяц от пожара. Не отвечай, понятно! Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои. А между прочим, глупо молчать: ходишь, вроде котел под давлением. У меня тоже, Сережа, горе. Ты, правда, не знаешь, но горе. Любимого человека вырывают из рук. И кто — законный муж! Никаких аргументов не слушает, вот что страшно! Впервые такое у меня, душа на части, не знаю просто, как быть! Ты понимаешь трагедию?

— Тоже мне трагедия! — злобно захохотал Селиков. — Весь город смеется над ней. И чего ты прибедняешься, Михаил Ефимович? Чего требовалось, ведь всего добился, где же здесь горе? Пустили козла в огород, он капусту изгадил — вот и вся твоя трагедия!

Закатов покачал головой.

— Не говори так, не надо, Сережа. Я же тебе как человеку...

22

Лубянский, конечно, не подозревал, какое действие оказал его ответ на Лескова. Это были три слова, всего три слова: «Чтобы не быть одной», — но они разом все перевернули в Лескове: ярость перешла в умиление, терзание превратилось в восторг, недовольство — в ликование. Лескову хотелось всех обнимать, всем говорить ласковые слова. Вместо этого он сбежал от Бачулина, удивленно посмотрел на радостно улыбнувшуюся ему Машу. Он искал Надю. Нади нигде не было. Он сел на камень, ликование сразу погасло. Надя, очевидно, вернулась в город. Он дурак, трижды дурак, дураком и умрет. Ему нужно бы бежать за ней, не оставлять наедине с Селиковым. Неужели так-таки ничего у нее с Сережей нет? Он, конечно, знает, куда она подевалась. Лескова поманил Пустыхин.

— Идите к нам! — крикнул он. — Сережа обещает пропеть частушки о вашем брате-автоматчике!

Бачулин тоже звал Лескова. Лесков подошел к кучке людей. В центре сидел Селиков с аккордеоном. У него был вид разозленного человека, готового скорее к драке, чем к веселью. Пробежавшись по клавишам, он оглядел собравшихся насмешливыми глазами.

— Песня — это слова, а слова — вода, а вода — течет, — сказал он негромко. — Если в кого брызнет холодной струей, пусть не обижается.

— Давай! — кричали слушатели. — Оправдываться будешь в милиции!

Из-под пальцев Селикова вырвался разухабистый плясовой мотив. Селиков запел высоким горловым баритоном:

Чтобы ты в беду не влип

В обращенье с людом,

Оборудуй личный КИП

И таскай повсюду!

Начало песни было встречено смехом и криками: «Здорово! Неплохо придумано — личный КИП! Даешь личные контрольно-измерительные приборы!» К кучке, услышав пение, стали собираться другие гуляющие. Селиков продолжал, перебирая клавиши:

Соблюдая точность мер

В выпиванье водки,

Электронный спиртомер

Установь на глотке.

Говорят тебе, старик, —

Это не спроста ведь  —

Автоматерный язык

Следует оставить!

У Лескова с самого начала, когда Селиков скользнул по нему злобным взглядом, появилось неясное впечатление, что в частушках должно быть что-то о нем. Эта догадка превратилась в уверенность, когда Селиков пропел:

Чтоб в начальственных кругах

Не прослыть проклятым,

Ты смонтируй на мозгах

Словорегулятор!

Теперь Лесков понимал, что Селиков пел, собираясь вызвать ссору. Еще полчаса назад Лесков пошел бы на прямой скандал. Но сейчас, после слов Лубянского, ссора была немыслимой, а сам Селиков из задиры и нахала вдруг превратился в глазах Лескова в огорченного человека, высказывающего свои обиды тем способом, какой был ему доступен. И Лесков улыбался доброй, прощающей улыбкой в ответ на оскорбительные намеки и ядовитые советы.

А Селиков все пел, напрягая голос, чтоб его слышало больше людей; куплеты его становились все наглее и неприличнее.

Кое-кто уже догадывался, что частушки имеют точный адрес. Другим тоже стало казаться, что в них не общее зубоскальство, а злобные личные намеки. А Лескову самые обидные и грубые строфы говорили все о том же: ничего у Селикова с Надей нет, и она, Надя, хорошо, очень хорошо относится к Лескову, хотя, конечно, и не заглядывается на него, как думал Селиков. Бачулин продрался к Лескову и взял его за локоть.

— Саня! — шепнул он. — Уж не о тебе ли он распелся? Что-то, по-моему, хамовато!

Лесков ответил таким радостным взглядом, что Бачулин в недоумении замолчал.

Селиков встал и передал соседу аккордеон. Глаза его настороженно обегали слушателей.

— Что же, товарищи, возражений вроде не имеется? — спросил он.

— Никаких возражений! — кричали из толпы. — Даешь личный КИП! В рассрочку на каждую живую единицу!

Тогда Селиков обратился к Лескову:

— А вы, уважаемый начальник, не против?

— А зачем мне быть против хорошего? — ответил Лесков благожелательно. — Например, электронный спиртомер — очень неплохо!

Селиков короткое время хмуро раздумывал, потом снова заиграл, уже без слов. Лесковым завладели Бачулин и Лубянский. Бачулин предложил пошляться по бережку: уже солнце склоняется, а они все торчат на пляже, словно другого, хорошего места и нет на свете. Лесков согласился: его все не оставляла надежда увидеть Надю. Лубянский опасался, что их заедят комары, но тоже пошел. Они перепрыгивали с камня на камень, взбирались на обрывы и спускались вниз. Лесков снова, как уже было утром, открыл, что лес по-невиданному красив. Днем, среди пива и солнечного сияния, его красота как-то потерялась: лес как лес, не до него. А сейчас, нарядный и ясный в темнеющем воздухе, он был нов и неожидан. Великая вечерняя тишина охватывала лесной наряд, яркие деревья засыпали, солнечная желтизна высоких лиственниц перемежалась синевой елей. А над ними бушевал в невысоком небе живой, как зверь, закат, отражаясь вместе с лесом в темной, быстро бегущей воде.

Даже Бачулин был поражен.

— Братцы, а ведь здорово! — сказал он.

— Неплохо! — согласился Лубянский, недоверчиво присматриваясь к деревьям, словно сомневался, так ли они красивы, как кажутся.

На небольшом мысе, вдававшемся в реку, они увидели сидящую Надю. Она веткой березы отмахивалась от комаров.

— Надежда Осиповна, зачем вы забрались в эту глушь? — удивился Лубянский.

Она небрежно ответила, не поворачивая головы:

— А здесь лучше. Мне надоели песни и ваше вечное пиво.

Бачулин развалился на бережку и жестом предложил остальным присоединиться к нему. Лесков уселся подальше от Нади. Бачулин, не найдя лучшей темы, пустился болтать о природе. Ему нравится северное лето: прохладно, круглые сутки солнце. А комаров, говорят, в этом году меньше, чем в прошлом: нежный комар не выносит сернистого газа. Закат тоже неплох. Просто удивительно, до чего ярки закаты на этих высоких широтах!

— Раз вам нравится закат, так вы любуйтесь им, — сухо посоветовала Надя. Бачулин сидел спиной к закату.

У Бачулина было чуткое сердце. Он быстро сообразил, кто тут лишний. Он потянул за собой Лубянского.

— Мы с Георгием Семеновичем еще погуляем, — сказал он. — Через часок захватим вас на обратном пути.

Лесков понял, что теперь ему удастся оправдаться перед Надей в своем глупом поведении с Машей. Он отвернулся от Бачулина, махавшего рукой из леса. Надя молчала. Потом она сердито проговорила, не глядя на Лескова.

— Между прочим, я вас не держу, мне и одной хорошо.

Он пробормотал:

— Мне некуда спешить.

Она повернула к нему вспыхнувшее лицо.

— Некуда? А эта девушка? На вас не похоже — так горячо целовать, а потом бросить...

Он смотрел на нее, чувствуя, что задуманный разговор не выйдет. В лице Нади было отвращение и вражда, оправдание не имеет смысла. Он опустил голову. Самое лучшее — уйти от нее, ото всех, пешком отмахать все двадцать пять километров, сразу свалиться на кровать и ни о чем не думать, ни с кем не говорить.

— Что же вы молчите? — крикнула она с возмущением.

Он тихо проговорил:

— Отрицать не могу, в самом деле целовал... А что я вас люблю, все о вас думаю, это вам, конечно, неинтересно!

Признание вырвалось внезапно, Лесков сгоряча сам не понял, что признается. А Надя вовсе рассердилась. Слезы заблестели на ее глазах, голос стал злым и глухим.

— Да, разумеется, так я сразу и поверю! — сказала она, не скрывая слез. — Любовь — думаете обо мне, а бегаете за другой!

Он хотел ответить, но послышался шум. Бачулин и Лубянский, громко разговаривая, возвращались обратно. Лесков все готов был вынести в эту минуту, но не беседу с приятелями. Он вскочил. Надя тоже поднялась. Не сговариваясь, они отступили в чащу и притаились за кустом тальника.

Бачулин поразился:

— Да куда они делись, мы же их здесь оставили? Лубянский равнодушно ответил:

— Станут они кормить комаров! Это мы, сумасшедшие, таскаемся по лесу!..

Когда Бачулин с Лубянским прошли, Лесков поспешно отпрянул от Нади. Только сейчас он сообразил, что все высказал и высказал глупо, совсем не так, как это полагается делать, как это делают другие люди, а самое главное — она выслушала его объяснение, с негодованием отвергла его любовь. «Бежать! Бежать! — кричал себе Лесков безмолвным криком. — Слышишь, уходи!» Взамен этого, выбравшись с Надей на открытый берег, он взглянул на нее отчаянными глазами, протянул к ней руки.

И она, сразу забыв о своих сомнениях, о своих вопросах, о своей ревности, порывисто обняла его.

23

Комаров, возможно, было меньше, чем в прошлом году, но все же много больше, чем могут вытерпеть два целующихся человека. Целое облако сгущалось, кружилось и звенело над головами Лескова и Нади. Лесков с криком: «Проклятые!» — принялся отмахиваться от них кулаками и головой. Надя со стоном хваталась то за ноги, то за щеки.

— Бежим! — крикнула она, устремляясь по тропинке. — Они отстанут от нас!

Но если эти комары вскоре и отстали, то повстречались другие: недостатка в комарах нигде в лесу не было. Едва Лесков настиг Надю, как опять образовалось новое облако, и звенящие мучители кидались даже на губы.

— Мы безумцы! — проговорила Надя, задыхаясь и отталкивая Лескова. — Они изгрызут нас! Уйдем!

На это он ответил ожесточенно и ликующе:

— Пусть! Это лучше, чем уходить!

— Глупый, глупый! — шептала она, забывая о комарах.

Было уже совсем темно, когда они выбрались на пляж, к разложенным на песке кострам. Все три машины гудели, собирая разошедшихся. Гудки подавались без всякого успеха, пока на помощь не пришли комары. Люди выскакивали из леса с платками на лице, с ветками в руках, прыгали и дергались, как одержимые. Лубянский и Закатов валили в костры сырую хвою, лили на огонь воду, чтоб шло больше дыма. Бачулин с фонариком в руках переходил от костра к костру и от машины к машине.

— Кого не хватает? — спросил Пустыхин.

— Двоих: Селикова и Маши, — ответил Бачулин и добавил: — А также бочки пива и дюжины вина.

Пустыхин ответил с досадой:

— На тебя никакого количества не хватит: емкость слоновая и мозг к градусам нечувствителен. Что меня возмущает, так это отсутствие чувства товарищества: ведь знают же, что все их ждут! Засеки на часах, Василий, не появятся через пять минут, самолично вздую!

Селиков и Маша показались на исходе последней из дарованных им минут. Маша шла с высоко поднятой головой и словно гордилась тем, что все уставились на них. Проходя мимо Лескова, она пренебрежительно отвернулась. Селиков был хмур и ни на кого не смотрел. Лесков испытывал облегчение. Он обидел Машу, она отомстила ему — они квиты.

Когда началась посадка, Лесков с Надей выбрали ту машину, где оказалось меньше знакомых. Они стояли у борта. Лесков поддерживал Надю, из-за быстрой езды и тряски говорить было трудно. Машины примчались на главную площадь города; здесь все вылезли. Лесков улизнул от Бачулина и Лубянского и пошел провожать Надю. Они стояли у ее дома, потом она проводила его до гостиницы, снова они возвратились к ее дому. Провожания продолжались долго. Они ходили по темным улицам, рассказывали о своей жизни, описывали свои переживания. И каждая мелочь, брошенное вскользь слово, случайный взгляд казались им необыкновенно значительными.

— Я сразу понял, что люблю тебя, когда ты вышла на классификаторы, — утверждал Лесков. — Ты появилась, освещенная так странно, словно возникла из света. Я сказал себе: это замечательно, она сама светится! А потом я долго мучился: какие у тебя глаза — серые или зеленые? И сейчас не знаю, хотя каждый день спрашиваю себя.

— А знаешь, — говорила она, — ты тогда все краснел: скажешь слово — и вспыхнешь. И я чаще всего это вспоминала: мне было приятно! Но как ты меня рассердил, когда отказался идти с нами! А я еще полчаса прихорашивалась, чтобы понравиться тебе! И потом чуть не ревела, просто слезы сами текли. И я заклялась: больше с тобой не разговаривать. Как видишь, заклятье не подействовало.

— Я свинья! — говорил он с раскаянием. — Ты даже не представляешь, какая я свинья! Я думал, ты прихорашивалась для Селикова.

Она ответила с обрадовавшим его возмущением:

— Ну, вот еще! Правда, Сережа мне нравился, но когда он стал приставать, я поставила его на место.

— Он способный человек! — горячо отозвался Лесков. Он собирался и дальше расхваливать своего неудачливого соперника. Но Надю не интересовали другие, она хотела говорить только о Лескове. А он ничего не знал в себе, кроме своей работы, самое близкое ему было это любимое дело. И так как ночь и любовь не располагали к изложению схем и конструкций, то он ударился в общие вопросы. Надя, не отрывая от него восторженных глаз, слушала его с волнением, с нежностью, с увлечением; в этом была его подлинная душа, он раскрывал ее всю, не прячась и не приукрашиваясь, и это раскрытие было более полным и более страстным объяснением в любви, чем все «люблю», «моя милая», «твой», «навеки», тем более полным, что эти необходимые, обычные и желанные слова уже были сказаны.

— Понимаешь, Надя, главное в нашей эпохе вовсе не то, что машин теперь больше. Сама машина становится иной, чем раньше, — вот в чем суть, — говорил Лесков. — В технике разразилась величайшая революция, и все в человеческом производстве, начиная с того времени, когда неандерталец стал выделывать свой кремневый молоток, кажется рядом с ней пустяком! Да, да, Надя! Даже великая промышленная революция XVIII века — мелочь рядом с переворотом наших дней. Машина, появившись, делала столько за час, сколько человек не мог совершить за год, она производила и работы, вообще для человека непосильные. Но могучая машина слепа, ею нужно управлять. Без человеческого, зачастую мучительного труда машина беспомощна, как ребенок. Кузнец уже не бьет кувалдой по металлу, его рука нажимает кнопки, а под ним все тот же раскаленный металл. Грузчик уже не тянет на горбу мешок, он переквалифицировался в машиниста крана и паровоза, в шофера, но он работает с напряжением, ему нелегко, нет. Сталевар уже не приготавливает сталь в тигельке на костре, он возится у конвертера или у мартена, в лицо ему бьет тот же жар, он дышит тем же ядовитым газом, умывается собственным соленым потом; ты думаешь ему легче, чем первобытному сталевару? А слесарь, а токарь, а монтажник?

— Им тоже нелегко! — воскликнула Надя. — Я никогда раньше об этом не думала, но ведь это же верно: они по-прежнему работают трудно! Конечно, на станке человек обточит больше, чем раньше мог сделать ножом, но он и сейчас действует руками... Нет, слушай, сам станок — только усовершенствованный нож в его руках, разве не так?

Лесков ответил:

— Ну, конечно, Надя, ты схватила самую суть! Кто-то давно уже сказал, что машина лишь удлиняет и усиливает человеческие органы. В этом глубокая правда, но не вся правда: машина появилась как дополнение к человеку, как его продолжение. Однако она скоро перестала быть такой.

Надя в увлечении прервала его:

— Я сказала: работают трудно... А ведь эти слова: «трудно», «трудность», — они происходят от «труда». Разве само слово не говорит о характере труда, о том, что он тяжек, горек?..

Лесков рассмеялся.

— Ты преувеличиваешь, Надя! Слово «трудно» появилось задолго до машины. Но ведь до появления машин труд тоже был не сладок, в этом ты права.

Надя сказала виновато:

— Я прервала тебя, прости, пожалуйста. Ты говорил, что машина теперь стала иной.

— Да, об этом, Надя. Машина, развиваясь, покорила человека, оседлала его. Это, конечно, гипербола, но в ней скрыт глубокий смысл. Ты понимаешь, Надя, это трагедия: машина, призванная возвеличить человека, быть его рабыней, неожиданно превратила человека в своего раба. Она начала с того, что удлинила его органы, — теперь он сам ее орган, мелкая ее часть. И выходит, что человечество бесконечно выиграло от появления машин, а отдельный человек, производитель — не очень. В каком-то смысле он даже проиграл, ибо понизилось качество его труда. Возьми средневекового кузнеца, ведь это был художник, он мог ковать топор и кольчугу, он выбивал своим молотом удивительные узоры — мы до сих пор восхищаемся ими в музеях и храмах. А что может делать машинист парового молота? Только поворачивать рукоять управления вверх и вниз. И что знает сборщик на конвейере, годами, всю жизнь механически повторяющий одну и ту же операцию! Недаром пишут, что конвейер высасывает мозг человека, оглупляет и отупляет его. Нет, могучая машина нашего времени не возвышает душу, она унижает ее, оскорбляет человеческое достоинство, отказывает человеку в праве быть творцом и не только не избавляет его от тяжелого труда, но делает труд отвратительным и однообразным. И заметь, Надя, все мы разумом превозносим машину, ибо с ней связан прогресс человечества, а наше человеческое чувство протестует против превращения человека в деталь механизма. Поэзия у всех народов вдохновлялась образом кузнеца, крестьянина, воина, моряка, садовода, строителя, о всех видах ручного человеческого труда писали поэты, но конвейер их не вдохновил, Надя, они не воспевали конвейер. И с какой горечью поэты оплакивали наступление машинного века, предвидя в нем великую трагедию человека!

Надя торжественно продекламировала:

Милый, милый смешной дуралей,

Ну, куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней

Победила стальная конница?

— Да, да! — подхватил Лесков. — Машина сеет вокруг себя унижение всего живого — такова машина, придуманная при капитализме, поэты не ошиблись в своем пророческом чутье. Но развитие идет, оно не останавливается. Человек превратился в автомат, обслуживающий машину. Следующий шаг — заменить этого человека-автомата автоматом-машиной. И это уже делается, всюду делается, широко делается. Ибо внедрение автоматов в производство — великое, непреодолимое движение современности. Автоматы взамен токарей и фрезеровщиков у станков, пилотов у руля самолета, машинистов на паровозе, бухгалтеров и сметчиков за столом, горновых и инженеров у печей, сборщиков на конвейере, конструкторов и расчетчиков... Но на этом не кончается, нет, Надя. Человек поднимает автомат до роли организатора, руководителя и командира, он заставляет машину саму искать наилучшие режимы и вести процессы. Машина продолжает и усиливает еще один, и важнейший, орган человека — его мозг; человек передает ей многие свои мыслительные и организаторские функции.

— Наступит эра, когда в цехах не будет ни одного человека! — радостно воскликнула Надя. — Как ты думаешь, будем ли мы, инженеры, тогда нужны? Не придется ли нам бросить в печку наши дипломы?

— Этого времени не будет! — убежденно сказал Лесков. — Человек останется, и останется его труд. Но это будет иной человек, и труд у него будет иной — труд творчества. Этот труд будет направлен на развитие величайших физических и духовных способностей человека, создание непреходящих ценностей, украшение жизни, превращение всей земли в огромный сад, завоевание других миров. Кто это, злобный и тупой, проклял человека, чтоб в поте лица своего добывал хлеб свой? Воздух нам также необходим, как хлеб, но ведь мы не тратим черный труд на добывание воздуха! И почему не может хлеб так же легко доставаться нам, как воздух? До сих пор не мог, верно, но скоро это станет осуществимо. И если человек потратит час в день на руководство созданием вещей, то этого в век автоматики будет достаточно, чтоб материальные блага полились на него рекой. Наша работа, наши сегодняшние искания приводят нас к этому сияющему веку автоматики, веку коммунизма!

Как ни восторженно Надя слушала Лескова, она снова прервала его. Она вспомнила их спор на совещании у Савчука. В ней вдруг ожили старые обиды. Лесков, очевидно, решил тогда, что она не разбирается в новой технике и вообще отсталый человек, у него даже на лице было написано презрение к ней, это все видели.

— Ну, вот ещё, презрение! — возмутился Лесков. — Но если сказать правду, я разозлился.

— Нет, презрение! — настаивала Надя. — Ты ведь совсем не умеешь скрытничать, совсем! Как ты посмотрел на меня в коридоре — ужасно, я не знала куда деваться!

— Прости меня, Наденька! — пробормотал он покаянно и потянулся к ней.

Надя оттолкнула его и продолжала с волнением:

— Я всю ночь не спала, плакала и ругала тебя и себя. Утром была вся красная и распухшая. Как видишь, я часто плачу. Тебя не пугает это?

— Нет, не пугает, — рассмеялся он. — Постараюсь не давать тебе новых поводов для слез.

— И вот тогда я решила тебе отомстить, — говорила Надя. — И знаешь как? Я все подробно обдумала. Прежде всего, я должна была держаться с тобой холодно, вежливо и неприступно — статуя, а не живой человек. Разве ты не заметил, что так я и держала себя потом?

— Не заметил, — признался он честно. — Вежливой ты не была, скорее наоборот.

— Но это еще не все, послушай. Я знала, что рано или поздно ты придешь к нам в отделение. И вот тут начиналась моя настоящая месть.

— Ты собиралась мешать мне налаживать регуляторы? — спросил он с любопытством.

Она воскликнула с негодованием:

— Какого ты обо мне мнения! Неужели ты в самом деле считаешь меня такой скверной? Нет, моя месть была совсем другого рода. Я решила помогать тебе больше, чем Лубянский, все, все сделать, что потребуется. А потом — и обязательно на совещании, чтоб все слышали, — объявить: «Вообще-то мы, технологи, надеялись на большую автоматизацию, но раз товарищи автоматчики на это не способны, придется примириться и с тем немногим, что они предлагают».

Лесков расхохотался.

— Да, вот это месть! Ручаюсь, я был бы поражен в самое сердце!

Удовлетворенная, Надя обняла его, потом сказала с сожалением:

— Теперь, конечно, все эти мечты придется оставить. А следовало бы, за многие твои грехи...

Он согласился, что грехов у него достаточно, человек он в принципе неважный — скучный, нетактичный, малоразговорчивый. Надя не дала ему продолжать перечисление своих недостатков и решительно возразила, что он вовсе себя не знает, ей видней.

— Лучше возвратимся к нашему разговору, — предложила она. — Ты ведь не закончил своих мыслей.

— Да, не закончил, — сказал он. Теперь он заговорил о трудностях своей работы. Все дело в том, что сумрак старого еще не рассеялся, еще сильны старые привычки и предрассудки. Черные тени ползают по земле, и правильные масштабы искажены. Лет через сто о нашем времени, может быть, станут говорить: «Это была великая эпоха, революция в промышленности, сделавшая человека свободным». А мы до обидного не понимаем грандиозного содержания своей работы и путаемся в пустяках, в раздутых тенях — служебном самолюбии, бризовских премиях, личных антипатиях, сметных графах и параграфах. Вот эти — Галан, Закатов — они поток, первый вал потока, сметающего старые формы промышленности. А что они видят в своей работе? Мечты Галана дальше крупной бризовской премии не идут, Закатов же работает, и точка. А Кабаков, твой Савчук и Крутилин, самый косный из наших руководителей? Они знают только нужды сегодняшнего дня. Кабаков честно помогает, о Савчуке и говорить нечего, а Крутилин мешает — вот уж кого я не терплю! Но знаешь, что я тебе скажу, Надя? Так странно идет развитие, так неотвратимо все дороги ведут в одну точку, что даже помехи выливаются в помощь. Крутилин видит одни недостатки в новом, ему трудно переучиваться. Но он, выпячивая недочеты, заставляет задумываться, как их устранить. Он сопротивляется — сейчас и сопротивление помогает. Трение — помеха движению, конструкторы бьются, чтоб уменьшить его. Но уничтожь совсем трение — не будет самого движения. Лубянский однажды привел слова какого-то философа: голубь заметил, что чем выше он забирается, тем легче летать. И он решил — высоко наверху, в безвоздушном пространстве, откроются наилучшие условия для полета. Но крыльям голубя там не было опоры, и он рухнул вниз. Какое-то трение должно быть, какая-то инерция необходима, но только не такое трение, при котором движение захлебывается, не такая инерция, которую не сломить.

Надя задумчиво сказала:

— Знаешь, в нашей повседневной работе мы часто забываем ее высокий смысл, это ты прав. Нужно выполнять суточный план, думаешь только об этом. Но если мы не говорим, то мы чувствуем смысл, понимаем, что он есть. Иначе было бы ужасно работать. Как по-твоему?

— Да, конечно, — ответил он. — Я хочу только сказать, что это внутреннее чувство не всегда и не у всех становится сознательным пониманием.

Так, обмениваясь мыслями, открывая друг другу души, они гуляли по сонным улицам. А потом на северо-востоке запылало небо, солнце пробивалось к горизонту. Лесков с удивлением проговорил:

— Наденька, уже утро!

— Уже давно утро! — засмеялась она. — Ты так увлекся, что ничего не видел. А я всматривалась в твое лицо, как оно постепенно светлело.

Он снова проводил Надю до дверей ее дома. Но и теперь им трудно было расстаться. Они условились встретиться днем на фабрике и провести вместе вечер. Она поднималась вверх по лестнице, а он, стоя внизу, махал рукой.

— Днем! — кричал он шепотом, чтоб не разбудить соседей. — И вечером! И всегда!

Она отвечала тоже шепотом: — Днем. Вечером. Всегда.

Лесков возвращался медленно. От дома Нади до гостиницы было триста метров, но ему потребовался час, чтобы дойти. Лубянский спал сном тяжко потрудившегося человека. На столике лежало письмо от Юлии.

Юлия сообщала о приезде в Ленинград, о том, как они устроились, как хорошо все складывается у Николая и у нее, делилась радостью: у них будет ребенок. «Николай просто удивителен, я все больше его люблю, — писала сестра, — а теперь он так за мной ухаживает, так оберегает, что мне даже совестно. Я очень счастлива, Санечка, бесконечно счастлива!»

24

События с каждым днем увеличивали темп движения. Разрешались старые драмы, рушились старые препятствия — возникали драмы новые, воздвигались новые препятствия.

Анюта ушла из лаборатории дежурной на заводскую подстанцию, Галан потребовал от нее, чтобы она переменила место работы, Анюта не посмела спорить. Закатов ходил злой и неразговорчивый. Он и раньше пропадал в наладочной, не считаясь со временем, сейчас не всегда уходил и на ночь — поспать можно было у Лескова на диване. В первые дни после перевода Анюты он пытался с ней встретиться, но Галан заходил за женой на новое место ее работы, не отпускал ее никуда одну. Закатов засел за письма: длинные рассуждения прерывались стихами, стихи выливались в признания, все заканчивалось отчаянными призывами возвратиться. Он не знал, сколько слез пролила Анюта над его признаниями, у нее хватило мужества не отвечать. Закатов совсем упал духом, забросил стихи и письма, с яростью ринулся в работу — это было действенное лекарство, живительный эликсир от всех скорбей. А дело шло, все яснее вырисовывался успех, работа захватывала и отвлекала.

Трудные минуты пережила и Маша. Несчастье ее состояло в том, что она была привязчива, добра и доверчива, она вслушивалась только в хорошие слова. А так как нравились ей к тому же люди, легко рассыпавшие эти хорошие слова, то она часто спотыкалась и на ровном месте. На Селикове Маша споткнулась — больно ушиблась: на ровное место этот человек не был похож, он и в диком кустарнике торчал бы, как неперелазный пень. Маша забыла о Лескове, не только об Алексее, готова была идти на все. Селиков быстро растолковал ей, что о любви не может быть и речи. Объяснение состоялось под мельницей, в гигантском подвальном этаже, наполненном сыростью, грохотом вращающихся наверху мельничных барабанов, густой сетью водопроводных труб и сточными желобами. Селиков забрался сюда выверять механизм, регулирующий подачу воды, а Маша примчалась с ведром пульпы. Она должна была отнести ее на анализ, но свернула в другую сторону: любящему верста не околица. Над ними нависал дощатый цеховой пол, в щели струился свет и капала вода, около Селикова тускло светила «переноска».

— Давай так, Маша, — внушительно сказал Селиков. — Вечерок провели отличный — за это благодарность. А правило общее — хорошенького понемногу.

Она не могла поверить: память сохранила ей жаркие упрашивания, льстивые обещания, она еще прикрасила их в своей памяти — слишком все это было далеко от теперешнего хмурого взгляда Селикова и его неприязненного лица. Она с обидой напомнила ему: там, под березкой, он расписывал чувства по-иному, Селиков с насмешкой покосился на нее.

— А как надо было? Давай побалуемся, а там ты в лес, я по дрова? Вроде не этого ты от меня ожидала, говорил, что тебе хотелось. Ты ведь чего желала? Лескова позлить. Мне тоже кое-кому нос следовало натянуть... Длинной любви перед этим у нас с тобой не было, сама только от других губ оторвалась. Так что давай не будем, Маша, а останемся хорошими друзьями.

Этого уже нельзя было по-другому истолковать, приукрашиванию такое объяснение не поддавалось. Маша была одинаково щедра на любовь и на ярость. Селиков сперва удивился, потом расхохотался: впервые ему приходилось слышать от женщины такую брань, ему это даже понравилось. Его веселое лицо привело ее в неистовство. Он наконец обиделся.

— Заткнись, дура! — крикнул он грубо. — У меня расправа короткая, не постесняюсь, что ты девка.

В ответ она выкрикнула новое ругательство. Он метнулся к ней с кулаками, ярость изуродовала его лицо. Она схватила ведро с пульпой, струя едкой грязи — раздробленная руда с маслянистыми реагентами — хлынула на него, потекла по груди и спине. Если бы Маша теперь попала в его руки, ей пришлось бы плохо. Но в небольшом и крепком ее теле гнездилась смелая душа. Отшатнувшись, стирая пульпу с лица, он не заметил, как она схватила висевшую на гвозде «переноску» — тяжелую палку с закованной в железную сетку лампой. И когда, зарычав, Селиков снова кинулся на Машу, на лоб его обрушился страшный удар — вспышка света ослепила его, кровь залила глаза, со звоном лопнувшая лампочка засыпала щеки раскаленными брызгами стекла. Неожиданный удар, боль и мгновенный переход от света к темноте обманули его: ему показалось, что у него выжжены глаза. С воплем он бросился к лестнице, в смятении нащупал перила, двумя прыжками вынесся наружу и, зажимая лицо руками, помчался по цеху.

Пораженная своим решительным поступком, Маша на мгновение оцепенела. Потом ярость превратилась в ликование, Маша захохотала. Последнее, что Селиков слышал, несясь в пункт «Скорой помощи», был ее пронзительный смех, раздавшийся у него под ногами. Поводов для горя было, однако, больше, чем для веселья. Маша уткнулась головой в бетонную колонну и зарыдала — о чужой жестокости, о своей доброте, о том, что она верит людям, а люди ее обманывают и что вообще жизнь — отвратительная штука, ей двадцать один год, а уже все разбито. К Маше подошел Алексей, она не услышала его тихих шагов. Он положил ей руку на плечо, только тогда она узнала его.

— Ну, чего тебе? — сердито сказала она, отталкивая Алексея. — Я не звала.

— Что с тобой, Маша? — спросил он. — Зачем сюда забралась?

Она гневно посмотрела на него, в полутьме подвала было плохо видно. Алексей улыбался виноватой улыбкой — это ее сразу взбесило. Она ответила враждебно.

— Забралась, никого не спросилась. И тебя не спрошусь. А ты иди, ты мне мешаешь.

Он ответил, голос его был мрачен и необычен:

— Ладно, знаю, куда идти.

Он не сумел избавиться от своей раздражающей улыбки, но теперь она казалась маской, взгляд его был грозен. Испуганная и негодующая, Маша воскликнула:

— Вот еще — знает! А куда пойдешь, интересно спросить?

Он пробормотал, делая шаг к лестнице:

— Одно тебе скажу: на свете ему не жить! В тюрьму сяду, а с ним посчитаюсь. Все о вас знаю!

Она схватила его за рукав спецовки.

— Нет, постой, что ты знаешь?

Он молчал, лицо его покривилось, она еще не видела его таким рассерженным. Ей стало страшно, она крикнула:

— Ну, чего ты молчишь, как стена, просто сил с тобой нет!

Он гневно проговорил:

— Все знаю, Маша! На фабрике только и говорят, как ты с ним в лесу потерялась. И сейчас он выскочил грязный и побитый, все видели. Нет у меня возможности такое вытерпеть. Пакостник он, вот что! А я не разрешу!

Она бурно запротестовала:

— Прямо не разрешишь! А чего не разрешишь? Мало что говорят, поговорят и перестанут! У нас на фабрике обо всех говорят, вот что ты к Катьке лез — сколько раз слышала! Собирали в лесу цветы, заблудились — целый трезвон вокруг пустяка!

Он колебался. Он еще не верил. Оправдания ее казались основательными, обвинения — тоже: он, вправду, до Маши пробовал подружиться с Катей, только ничего из этого не вышло.

Она продолжала нетерпеливо, ей самой казалось, что, точно, ничего не было, да и как могло быть что-нибудь у нее с таким мерзавцем, как Селиков?

— Пойми, если бы что у нас было, разве пришлось бы ему удирать?

Она опять расхохоталась, вспомнив, как Селиков с воплем отпрянул от нее. Смех больше убедил Алексея, чем все оправдания: в смехе звучало издевательство над Селиковым, на любовь это не походило. Алексей спросил:.

— А что у вас случилось?

— Понимаешь, я пришла посмотреть, что тут автоматчики устраивают, а он облапил меня, думал, раз мы в лесу погуляли, значит, все сойдет. Ну я на него ведро пульпы истратила и «переноской» хватила по лбу.

Она смеялась еще веселее, а у него исчезла от волнения его всегдашняя улыбка. Он схватил Машу за плечи, взглянул в ее глаза.

— Маша, — сказал он прерывающимся голосом, — ты меня не обманывай; Говорю: все для тебя, голову прикажешь разбить — разобью! Давно хотел тебе... Не могу без тебя, Маша! Ну, вот просто не могу!

Очарованная, молчаливая, она слушала его: наконец, он нашел нужные слова, только, их она ждала, теперь ей никого не нужно — ни Лескова, ни Селикова. Она прижалась к Алексею, оба они были невысокие, щеки их жарко соприкасались, он обхватил ее неловко и крепко ладонями, хотел поцеловать. Маша не давалась, отворачивая лицо: она любила целоваться, но здесь этого нельзя было просто, все это было страшно важно и огромно, как еще никогда в жизни, она не смела.

А когда Маша уступила, счастливая и покорная, сверху вдруг хлынула широким потоком вода и грязь. В смятении Маша и Алексей отскочили друг от друга. Сквозь щели дощатого пола в подвал рушились массы жидких песков. Алексей кинулся к лестнице, Маша за ним. Она выбежала наверх и ужаснулась: ни спецовки, ни чулок, ни туфель не было видно, все скрыла облепившая ее грязь. Алексей шел ей навстречу такой же грязный, он улыбался так радостно, словно произошло счастливое событие.

— Ну, скандал, Маша! — крикнул он, смеясь. — Руда повалила крупная, и мельница, которая без автоматов, все выбрасывает. Жуткий завал — часа три лопатой перегребать пески!

Маша испугалась, она знала, как он гордится своей работой и как страдает от любой неполадки. Она сказала тревожно:

— Лешенька, что же теперь будет?

— А ничего! — отозвался он, радуясь по-прежнему. — Выговор в приказе, ну, и с доски, само собой!

25

Галан сидел у Двоеглазова и подсчитывал рубли. Собственно, подсчеты были совершены уже давно, перепечатаны на машинке и, аккуратно скрепленные, лежали на столе перед плановиком. Но Галан не мог отказать себе в удовольствии произнести их вслух. Он называл цифру за цифрой, перебрасывал на счетах для наглядности, а Двоеглазов, пронзительно всматриваясь в Галана, молча раздражался: Галан забывал всякую меру, когда речь заходила о деньгах, это было уже не впервые. Двоеглазов прервал Галана, когда цифра ожидаемой премии перевалила за семьдесят тысяч.

— Удивительное дело! — сердито сказал Двоеглазов. — Все изобретатели сами лезут подсчитывать свои доходы и обязательно врут. И врут как-то странно — только в свою пользу. Хоть бы раз ошиблись в пользу государства!

Галан стащил с носа очки и внимательно посмотрел на плановика.

— Не понимаю, Даниил Семенович, ты хочешь сказать, что я где-то напутал?

— Где-то! — негодующе фыркнул Двоеглазов. — Вот давай, я покажу тебе настоящий расчет. Окончательно будет оформлять бухгалтерия, а вчерне мы сами прикинем.

И, отставив в сторону расчеты Галана, он пустился беспощадно стучать на счетах. Костяшки целыми стаями, словно вспугнутые птицы, перелетали с места на место. Галан с ужасом смотрел на счеты: годовая экономия от сокращения рабочих общипывалась, обламывалась, на глазах худела, а вместе с ней худела и подлежащая выплате премия. Один десяток тысяч отдирался за другим, словно капустные листья с кочана, — вот уже сорок тысяч осталось, вот уже к двадцати катится...

— По плану на данный год полагалось провести, независимо от автоматизации, двадцатипроцентное сокращение рабочего персонала — отминусуем эти двадцать процентов от годовой экономии, — говорил плановик. — Новое автоматическое оборудование стоит полмиллиона, амортизация по нормам завершается за пять лет, итого сто тысяч в год, — снимем их. Заводской лаборатории КИП добавлено дежурных прибористов, неоспоримый рост зарплаты, вызванный автоматизацией, — вычтем его. Механизмам автоматики требуется ремонт, на это предусматриваются суммы — отчекрыжим их.

И, показывая рукой на счеты, словно полководец на оставшееся за ним поле битвы, Двоеглазов решительно подвел итоги:

— Не семьдесят тысяч, а что-то около десяти, и то ориентировочно, более точный расчет, конечно, внесет существенные коррективы в сторону уменьшения.

Галан был человеком опытным и понимал, что точные бухгалтерские расчеты — дело относительное, многое, явно постороннее, можно в одном случае приплести к делу, а другое, вроде и требующееся, в ином разе и не упомянуть. Радостно улыбаясь, он укоризненно заметил:

— Ну, как же так, Даниил Семенович? Ведь ежели все валить на одну голову, так еще с меня же за мои труды причтется.

Двоеглазов непреклонно воззрился на него сквозь очки-лупы.

— А ты как думаешь? И очень возможно, что будет вычет вместо выплаты, случаи такие нередки. Одно вас, изобретателей, спасает — убытки от ваших выдумок государство взваливает на свою спину. Шишки, так сказать, оставляет у себя, а вам выдает только пышки, когда полагаются, конечно. Зато и другое правильно — государство не дойная корова, а вы что-то часто об этом забывать стали.

Как Галан ни крепился, улыбка на его лице потухла.

— По-твоему получается так, — сказал он. — Я мозги трудил, ночей не спал, и меня же за это ругать надо. Да пойми, мы переворот устроили, целый автоматизированный передел пустили без людей. О наших достижениях статьи пишут, из Москвы приезжали — интересуются. Концы у тебя не сходятся, Даниил Семенович.

Двоеглазов нетерпеливо отмахнулся.

— Очень сходятся! К какому эксперту ни обратись, станет на мою сторону. Одно дело слава, а другое — государственная копейка. За твои сверхурочные труды и изобретения ты получил благодарность по приказу и единовременную денежную премию в поощрение. Это одна графа, и она говорит: заслуг изобретателя никто не отнимет! — Двоеглазов с силой стукнул костяшками на счетах. — А сюда ты пришел не за признанием своих заслуг, а за деньгами — установленным твердым процентом от годовой экономии, образовавшейся в результате внедрения твоего предложения. Экономии этой не нахожу, вот в чем гвоздь, дорогой Александр Ипполитович. И это другая графа! — Он с грохотом перебросил новую партию костяшек и с торжеством уставился на счеты.

Теперь Галан молчал. Как ни был он раздражен, он понимал, что дальше злить Двоеглазова не следует. Вопрос придется перенести в высшие инстанции. Когда нажимает руководство комбината, Делопут не брыкается особенно, он понимает, что живет среди людей и сам человек. Но если идти на принцип, он из человека превращается в гранитный параграф — тогда его и министр не сдвинет.

— Вот так! — удовлетворенно сказал Двоеглазов. — Забери свои расчеты и не торопись с премией. Автоматика твоя — дело новое, пусть поработает, присмотримся, чего она стоит, соберем отзывы, полагающиеся по инструкции, а там уж окончательно решим.

Он снял очки и стал протирать их носовым платком Зазвонил телефон. Один из сотрудников отдела взял вторую трубку и вполголоса проговорил: «Кабаков, срочно!» Двоеглазов, оставив на столе очки, схватился за свою трубку. Злое желание овладело Галаном. Воровато оглянувшись, он ловко пододвинул очки и спрятал их под ворохом бумаг. Двоеглазов кричал в трубку: «Да! Слушаю! Немедленно выхожу!» Не глядя, он безошибочно положил ладонь на то место, где только что лежали очки. Не найдя их, он стал шарить рукой по столу и хлопал ею по бумагам, низко наклоняя голову. Злорадный смех разбирал Галана; плановик водил носом по столу, словно обнюхивая. Встревоженный пропажей, он ошалело уставился на людей, сидевших в комнате, теперь глаза его уже не казались пронзительными, в них был ужас внезапно ослепшего человека.

— Товарищи, что же это? — сказал он отчаянно. — Я, кажется, потерял очки, помогите найти. У меня девятнадцать диоптрий, я ничего не вижу без очков.

Все кинулись помогать ему. Бумаги перекладывались с места на место. Больше всех старался Галан. Проворно упрятывая очки все дальше под кипу бумаг, он громко кричал: «Вот, вот, они! Нет, не то! Ага, кажется, здесь!» Внезапно страшная догадка мелькнула в потрясенном мозгу Двоеглазова. Он встал и, держась рукой за стену, отошел от стола.

— Товарищи, очки, наверное, упали на пол! — сказал он дрожащим голосом. — Вот туда, к окну. — Он слепо тыкал рукой в сторону от окна. — Ради бога, не наступите ногой, я погиб, если очки разобьются, такие можно достать только в Москве по спецзаказу! Очень прошу...

Минуту Галан колебался между благоразумием и мстительным порывом бросить очки на пол и с хрустом пройтись по ним каблуками. Потом он вытащил очки из кипы и с торжеством всунул их в трясущуюся руку Двоеглазова, не отходившего от спасительной стены.

— Благодарю! — сказал Двоеглазов с облегчением, еще не видя, кто протянул очки. — Это они, точно. — Он быстро вздел их на нос, и, обретя обычный вид, уставился на Галана. Лита Галана выражало счастье по случаю благополучного исхода происшествия. Плановик протянул Галану руку и так тряс ее, словно Галан спас ему жизнь.

— Без тебя их растоптали бы! — сказал он, полный горячей признательности за бескорыстную помощь. — Сейчас, извини, вызывает Кабаков, но мы еще вернемся к твоему делу. Думаю, получится не так уж плохо, сделаем, что можем!

Галан шел по улицам, ухмыляясь. Конечно, Делопут будет еще путать, но на прямое зло уже не поднимется. Неожиданная шутка с очками обернулась удачно. Галан все снова вспоминал Делопута, обнюхивающего стол, и трясся от удовольствия. Потом черные, заботы опять заполнили его. Ах, как еще много предстоит бороться, чтобы вырвать свои денежки! Один ли Делопут на свете?

Недалеко от цеха на Галана налетел Шишкин. Галан; увидев его, хотел свернуть в сторону: он побаивался неприятного разговора; после того, как Шишкину отказали в премии, отношения у них вконец испортились. Но Шишкин мчался по улице с такой быстротой, что уклониться было невозможно. И, против ожидания, Шишкин не собирался попрекать Галана. У Шишкина было радостное и возбужденное лицо.

— Новые дефицитные материалы раздобыл, Федор Федорович? — спросил Галан с любопытством, зная, что ничто другое не может так взбудоражить снабженца.

— Го-го! — загремел Шишкин. — Думаешь, только дефицитом живу? Ошибся, друг, дело поважнее!

Удивленный Галан догадался, что случилось.

— Неужели Людмила Павловна вернулась?! — воскликнул он.

— Вернулась! — кричал Шишкин, убегая. — Только что с аэродрома звонила. Извини, спешу! Заходи, если дефицит понадобится.

Он помчался еще быстрее, торопясь поспеть домой до приезда жены. Но Людмила Павловна приехала раньше. Перед дверью своей квартиры Шишкин остановился перевести дух. На него вдруг напал страх: как-то еще встретит его Людмила Павловна, достанется ему, вероятно, за холостяцкий беспорядок! Он прислушался: из-за двери доносились голоса. Сашенька плакал и чего-то требовал, Людмила Павловна отвечала знакомой беспомощной отговоркой: «Боже, как ты меня мучаешь!» Потом Людмила Павловна звонко шлепнула Сашу, заревевшего еще громче, и в отчаянии пригрозила: «Вот папа придет, я все о тебе расскажу! Ах, боже мой, совести у него нет, как можно так задерживаться!» Шишкин приоткрыл дверь, переступая через порог, как через ров.

В комнате был разгром. Посредине стояли два раскрытых чемодана, белье и вещи валялись повсюду. У окна, среди изломанных игрушек, сидел Саша и вытирал грязным кулаком грязные щеки. Сама Людмила Павловна, загорелая и похудевшая, рылась в вещах, с досадой бросая то одну, то другую. Появление Шишкина произвело неожиданное действие: Саша, поднявшись, боязливо забился в угол, а Людмила Павловна со страхом и тревогой смотрела на мужа. Некоторое время они молчали, словно придавленные встречей. Шишкин видел теперь, что Людмила Павловна не только похудела, но и подурнела.

— Это мы! — сказала наконец Людмила Павловна и торопливо подтолкнула сына в спину. — Иди, здоровайся с папой, мучитель!

Сашенька неуклюже заковылял из угла, недоверчиво посмотрел на отца и вдруг, схватив обеими ручонками его ноги, заревел, бормоча сквозь слезы:

— Папочка, милый, мы совсем приехали!

Шишкин схватил сына и поднял вверх, целуя и тиская. Сашенька прижимался щекой к его щеке. Шишкин захохотал от счастья и протянул жене свободную руку. Людмила Павловна порывисто шагнула по чистому белью и крепко обняла сына и мужа. Потом они долго целовались, и Сашенька, затихнув, всматривался и вслушивался в эту новую для него процедуру. Раскрасневшаяся и похорошевшая, Людмила Павловна прошептала с укором:

— Как ты мог быть таким жестоким! Нет, как ты мог! Я чуть с ума не сошла, когда получила телеграмму!

Шишкин, смущенный, оправдывался. Он не сумел сразу добыть денег, которые она просила, и вынужден был телеграфировать, что придется немного погодить; она, вероятно, говорит об этой телеграмме. Но потом дела повернулись к лучшему, он кое-что занял и дал новую телеграмму, что высылает деньги. Она должна была на днях получить этот перевод.

— Ах, ничего я не получала, — сказала Людмила Павловна устало. — Мне было не до денег. Я выехала в тот же день, как прочла твою страшную телеграмму.

Он поставил Сашеньку на пол и в недоумении уставился на жену.

— Людочка, на что же ты купила билет? И как ты питалась в дороге?

Она ответила равнодушно:

— Я продала свое новое платье. И очень выгодно: всего двести рублей потеряла. У меня еще рублей сто осталось.

Она снова стала рыться в чемоданах, ожесточенно... выбрасывая вещи на пол.

— Людочка, дай я помогу! — робко попросил Шишкин. Он побаивался лезть в дела Людмилы Павловны: она не терпела непрошенного вмешательства.

Но она ответила, не сердясь:

— Да ты не знаешь, что я ищу. Мы с Сашенькой купили тебе подарок, он сам ткнул ручкой и сказал: «Вот это для папуси!» А сейчас найти не могу, наверное, на самое дно засунула.

Саша с торжеством крикнул, вытаскивая из белья пару носков, ярких, как лубочная картинка:

— Вот они, мамочка!

Шишкин, растроганный, прижал носки к груди и долго благодарил сына и жену.

— У нас таких нет, — любовно бормотал он, поглаживая желто-оранжевую шелковую пряжу. — Не завозят на север. Форменный дефицит.

Людмила Павловна сразу утомилась, словно исчерпала весь запас энергии, села на диван и сказала со вздохом:

— Ах, как мы устали с Сашенькой! Десять дней в дороге, и ни одной спокойной ночи, все такие черные мысли! И еще этот ужасный самолет! Знаешь, я лучше потом все уберу.

— Да ты отдохни, Людочка, я сам все уберу и приготовлю поесть, — поспешил успокоить ее Шишкин. — Ложись с Сашенькой, я буду двигаться тише мыши.

— Я с папой! — ревниво крикнул Саша. — Не пойду лежать, я выспался!

Людмила Павловна устало опустилась на диван. Шишкин прикрыл шторкой окно, чтобы свет не падал ей на лицо. Некоторое время она следила, как муж с сыном раскладывают вещи по чемоданам и на полки шкафа, потом глаза ее сомкнулись. Тишины не было, Сашенька топал ногами, с грохотом перебрасывал игрушки, приставал к отцу с вопросами; тот громким шепотом отвечал. Но эти звуки не раздражали Людмилу Павловну, они успокаивали сердце, мягким туманом обволакивали сознание. Проснулась она от внезапно наступившего грозного безмолвия. Потрясенная, она вскочила и стала оглядываться. В комнате было чисто прибрано и пусто — ни мужа, ни сына. Крик ужаса рвался из горла Людмилы Павловны, она успела сдержать его — за стеной послышался грохот падающего пустого бидона, звонкий хохот Сашеньки, смущенный голос Шишкина что-то объяснял, Людмила Павловна на цыпочках, словно боясь спугнуть что-то самым слабым шумом, возвратилась к дивану. Сон больше не шел. Она вслушивалась в возню Шишкина с сыном на общей кухне, потом мысли ее возвратились к тому, над чем бессильно бились все эти страшные дни. Она всегда знала, что Шишкин — загадка, она подозревала это и не ошиблась. Недаром все так боятся его на службе, она одна не боялась, и напрасно. А сейчас он по-старому смотрит добрыми глазами, он делает вид, что не понимает, о какой телеграмме речь. И она не может уличить его во лжи, не может вынуть телеграмму и положить на стол: тогда, в спешке, она выронила ее из кармана. И текст ее повторить тоже не сумеет, она помнит только, что там был ужас, ужас. А если бы телеграмма и не потерялась, ей все равно было бы страшно перечитывать эти черствые и злые слова. Нет, как все неверно и трудно! Она не сумеет больше спокойно командовать мужем. Теперь она знает, на что он способен. Он именно такой, каким его считают другие. У него железная выдержка и непреклонный характер, подобные люди ни перед чем не останавливаются, если пойти против них. И Сашенька весь в отца, с ним тоже сладу нет. Ах, какие это были ужасные дни! У нее сердце разрывалось, когда она думала, что осталась одна, что никогда больше ей не вернуться в эту комнату. Она плакала и говорила Саше: «Проси отца, чтоб он нас не оставил», — а Саша ревел и ничего не понимал.

Дверь распахнулась, первым вошел Саша с миской нарезанного хлеба, за ним двигался Шишкин с яичницей и сыром.

— Ты уже проснулась, Людочка? — загремел он весело. — А мы времени не теряли: обед из четырех блюд. Сейчас принесу отбивные и какао. А сыр нарезал сам Сашенька.

За едой Шишкин сообщил жене, что вечером к ним придут Крутилин с женой и два проектировщика — Пустыхин и Бачулин. Пусть она не беспокоится, он сам все приготовит к встрече. Он понимает, ей хочется с дороги отдохнуть, но так уж вышло: Крутилина надо было пригласить, а те как-то сами напросились, он толком даже не помнит, как все получилось.

— Нет, ничего, я уже отдохнула, — поспешно сказала жена.

— И люди они хорошие, смирные! — в увлечении кричал Шишкин. — Мухи не обидят, говорю. Неслыханный завод проектируют: по слухам, ни одной рядовой машины, ни одного материала из ширпотреба, на жутком дефиците все держится. Представляешь? Нужно им особое уважение оказать.

— Да, конечно! — поддержала Людмила Павловна. — Обязательно, раз такие интересные люди!

После обеда Сашу потянуло в сон. Его положили на диван, а Шишкин с Людмилой Павловной улеглись на кровати. Она, не удержавшись, снова шепнула:

— Нет, я все-таки не понимаю, как ты мог послать такую телеграмму!

— Не знаю, о чем ты говоришь — проговорил Шишкин в недоумении. — В телеграмме было только то, что следовало. Хочешь, я повторю тебе ее слово в слово?

Но ее охватил страх, что она снова услышит эти беспощадные слова. Она поцелуями закрыла ему рот.

— Не смей! — шептала Людмила Павловна. — Никогда не вспоминай о ней больше, хорошо? И я никогда не вспомню, клянусь, чем хочешь! Дай слово забыть ее!

— Даю слово, — сказал он покорно. — Никогда не вспомню!

Они еще долго шептались в кровати, то нежно обнимались, то смеялись, то деловито обсуждали будущую жизнь. И если бы остряк Селиков, любивший потешится над Шишкиным, увидел его в эти часы, он ни за что бы не повторил ходячей остроты: «Шишкин такой скупой, что даже жену не ласкает, приберегая ласки на черный день».

26

Был поздний час, тот час, когда все официальные приемы закончены и в кабинете Кабакова остаются только близкие люди для дружеской беседы. Даже диспетчеры управления, зная, что директор комбината еще не вызвал своей машины, старались ему не звонить — все уважали этот полуночный час. Напротив Кабакова сидел Савчук. Между ними на столе лежала телеграмма Баскаева — предписание Савчуку выехать в Москву для доклада на коллегии о причинах отставания фабрики. Кабаков и Савчук разговаривали, как старые друзья, понимающие один другого с полунамека и не желающие касаться того, что и без толкований ясно; со стороны показалось бы, что они беседуют о пустяках, в то время как «пустяки» эти раскрывали им самую глубину происшествия.

— И он новому стилю поддался, — заметил Кабаков, кивая на телеграмму. — Представляешь, как бы это выглядело года три назад? «За систематическое невыполнение, за развал, за провал, за срыв...» Сергей Николаевич умел орудовать словом, как колуном.

Савчук, весело, по обыкновению усмехаясь, согласился:

— Мне Лесков рассказывал, как Баскаев ему насчет управления промышленностью втолковывал: ни слова, что уже собирались вопросы управления по-новому решать. Сейчас бы он многое по-другому излагал. Трудно ему, конечно, на старости лет переучиваться.

Кабаков сумрачно отозвался:

— А кому легко? Каждый день что-нибудь новое. Вчера у меня дочка читала эти стихи, помнишь? «Задрав штаны, бежать за комсомолом». Я поразился: до чего же верно! Ну, не за комсомолом, комсомольцы тоже всякие бывают, а шире — за временем. Время молодеет, мы стареем — такова ситуация. Эпоха мчится ракетой, а нам остается одно: сломя голову по лужам! Не по годам, конечно, а по сердцу — надо.

Они помолчали. Кабаков снова начал:

— Это твои начинания по автоматизации...

Савчук подтвердил:

— Автоматика, конечно. — Он засмеялся. — Я это давно знал, что шишки на меня посыплются. Кому-нибудь надо начинать!

— Думаешь, назад не возвратишься?

— Это как сказать. Может, отделаюсь, на вид поставят только. А возможно, и новое назначение. Сергей Николаевич провалов с планом не поощряет.

Зазвонил телефон. Кабаков, хмурясь, взял трубку.

— Кто еще не спит? Ты, Тимофей Петрович? Ладно, приезжай — подожду. — Усмехаясь, Кабаков пояснил Савчуку: — Прямо с партийного собрания звонит. Всыпали ему, конечно; я слышал, что кое-что готовится. Теперь будет плакаться в жилетку.

Савчук возразил:

— У Тимофея гвозди из глаз сыплются, а не слезы. Верно тебе говорю: когда разозлится, он взглядом поранить может.

Они еще поговорили и помолчали, потом в кабинет ворвался разъяренный Крутилин. Он грозно взглянул на Кабакова и протянул руку Савчуку.

— Поздравить можно, вызывают за выговором? — сердито спросил он Савчука.

Тот довольно мотнул головой.

— Поздравляй, Тимофей Петрович. И о себе не забывай: скоро и твой черед.

— Ну, это еще бабушкино гаданье, может и соврать старая дура — ей не впервой! — гневно ответил Крутилин, бросая пальто на диван. — Одно скажу: Крутилин не Савчук, он посмеиваться не будет, когда под него мину подведут. Свою контрмину заложу.

— А что, уже к этому идет? — поддразнил его Савчук.

Кабаков прервал их препирательство:

— Что же случилось, Тимофей Петрович?

Крутилин закричал, в бешенстве хлопнув кулаком по столу:

— А то самое — прохвосты задуривают голову неустойчивым людям!

— Ты рассказывай поспокойнее, — посоветовал Кабаков.

Крутилин схватил графин и залпом выпил два стакана воды. Он все же постарался взять себя в руки. Все знают, какие у него отношения с Лесковым, он никогда не скрывал: считает этого человека болтуном и демагогом, хоть до министра дело дойдет, там тоже это повторит. Так вот этот Лесков сегодня явился к ним на партийно-техническую конференцию и выступил с недопустимой, невероятной речью! До него все шло по заранее намеченной программе: Бадигин открыл конференцию, докладывал главный инженер. Конечно, Бадигин все знал, что готовится, Бадигин тоже штучка, он в последнее время что-то сам стал заноситься; но это разговор особый, сейчас речь не о нем. Первые выступления были деловыми: намечали перспективы, вскрывали недостатки. А после Лескова хлынул потоп. Конференция вырвалась из программы, ничего конкретного, одни высокие фразы, фантастика какая-то, а не деловое обсуждение. Он, Крутилин, старался вмешаться, шепнул Бадигину: «Борис Леонтьевич, да что же это такое: такие мировые вопросы только на коллегии обсуждать или в ЦК, здесь вроде не место и не время». А тот, даже не поворачивая головы, сухо отрезал: «А по-твоему, только министерские коллегии уполномочены говорить о том, что весь народ интересует? Рекомендую послушать, много откроешь для себя поучительного!» При таком руководстве конференцией, конечно, и результаты получились соответствующие. Хорошо подработанную резолюцию отвергли, приняли свою — требовать от дирекции немедленного крутого поворота к новой технике.

— Я, однако, не понимаю, о чем же говорил Лесков? — спросил Кабаков.

— Ты бы его послушал, Григорий Викторович! — снова забушевал Крутилин. — «Я профессиональный технический революционер, я буду взрывать ваши порядки, я против вашего средневековья — я, я, я!» Кого взрывать, что взрывать, против кого революция? Против нас революция, против наших советских заводов! Весь прогрессивный мир гордится нашей работой, а он взрывать ее собрался! Я тебя спрашиваю: как можно это стерпеть? И такой наглой демагогии Бадигин не дает отпора! Автоматика Лескова душит цех, непрерывные ремонты приборов, люди растерялись, от ручного управления отошли, автоматика отказывает за ненадежностью, пожар в борделе во время наводнения! И этот бордель он требует распространить на все цехи. Я свое мнение высказал твердо: хорошее без разговора приму, а превращать огромное предприятие в экспериментальную лабораторию не позволю, вам в автоматические игрушки играть, а мне страну медью снабжать — разница! Пока на одном агрегате не отработаете до блеска, следующего не увидите, так и знайте. А Лескова вообще на завод не пущу, распоряжусь завтра в шею гнать от ворот!

— Ну, это ты, положим, загнул, — негромко заметил Кабаков. — На завод его не пускать ни твоей, ни моей власти не хватит.

Крутилин уставился на него подозрительно.

— Что за тон, Григорий Викторович? Я тебе напомню твое же собственное мнение о Лескове: «Человек несерьезный, ради мелкого улучшения готов фундаменты потрясти». Неужто забыл? Или, может, считаешь, что Лесков был нахал, а стал приличный человек? Неужто, как Бадигин, будешь его защищать?

— Что я говорил, все помню, — строго ответил Кабаков. — И характер у Лескова вряд ли существенно изменился: горбатого могила исправляет. Зато опытности у него прибавилось, на глазах растет человек. А суть дела, если хочешь, не в этом. Я сам изменился: другими глазами гляжу на его поведение. И могу сказать, когда меняться стал — с того момента, как его регуляторы задурили. Лубянский из кожи лез скрыть неполадки, лак на все наводил. А Лесков? Первый опыт, успех открывал Лескову дорогу. А он не польстился на этот успех, все мы, видели, как его — придавили неудачи, только о них и думал. Мало это, по-твоему? Это ведь излом, человека видишь словно в разрезе. И я тогда понял: больше себя любит он свое дело, не может дело у такого не пойти. И слово себе дал помогать ему. Тогда же и с Савчуком по душам побеседовали — полностью со мной согласился.

Савчук вмешался в спор, ехидно подмигивая на Крутилина.

— А сейчас еще добавлю: умница, способный и честный человек.

— Ладно, Павел Кириллович, не подыгрывай! — крикнул Крутилин Савчуку. Он помолчал, стараясь справиться с раздражением, и снова заговорил: — Психология не моя область. Возможно, за плечами Лескова ангельские крылышки трепыхаются, а я их не замечаю. Я не о характере, а о политике. Пойми: он взялся порочить наши заводы, достижения мировой промышленности. Нужно унять его, ведь он смуту сеет. Для того и примчался к тебе, откровенно поговорить, как эти безобразия оборвать.

Кабаков усмехнулся, вывернулся в кресле всем телом: он устал за трудный день. Крутилин следил за ним встревоженными, требующими глазами. Савчук улыбался: он знал, что ответит Кабаков. Кабаков сказал:

— Поговорить нам давно уже требуется, я не против серьезного разговора. Одну важную ошибку ты делаешь, Тимофей Петрович. Не на то ополчается Лесков, что тебе мерещится. Ты думаешь: завод, тобой построенный и руководимый, — мировое достижение?

Крутилин немедленно с вызовом отозвался:

— А по-твоему, он не мировое достижение, этот завод, построенный на мертвом севере Сибири, законченный в годы самой страшной войны? Боюсь, Григорий Викторович, и ты поплелся по унылой дорожке — ревизовать принципы!

Кабаков спокойно возразил:

— Постой, зачем так торопиться? Давай разберемся, что тут мировое, а что нет? Прежде всего мы с тобой мировое достижение: простые, малограмотные некогда рабочие стали командирами производства, сами строили, сами руководили строительством первоклассной индустрии. История зачислит это событие в подвиги человечества, тут спорить не буду. Но против этого достижения Лесков не восстает, запомним это на всякий случай. Второе: труд наш, подвижничество наше, то, как мы преодолевали немыслимые трудности, — это также достижение мировой истории. Впервые мы показали, чего стоит человек, чего целый народ стоит. Разве нападает Лесков на это достижение? Вроде нет. Теперь последнее: результаты нашего с тобой труда — построенные нами заводы. Тут абсолютная истина превращается в относительную. Конечно, для своего времени заводы эти были удивительным достижением, но жизнь не стоит на месте, а завод — ничего не поделаешь — стоит. И он стареет, как все, что не меняется. Что раньше было достижением, то, постарев, становится тормозом, надо его менять — так вроде по логике. И Лесков, как петух об утренней заре, первый кричит и тормошит нас: новое идет, давайте бороться за новое! Думаешь, иначе Бадигин стал бы так к нему прислушиваться?

Крутилин, побледневший, насупленный, не отрывал взгляда от нервного, сумрачного лица Кабакова. Они знали один другого два десятка лет. Крутилин понимал, что за спокойными словами директора комбината недели размышлений, взвешиваний и оценок, это был итог, не случайное возражение, только что явившееся в голове. Крутилин с горечью и неприязнью бросил своему старому товарищу:

— Всего мог ожидать, но чтобы ты собственную свою работу, душу свою оплевал — этого, прости, не ждал... Конечно, раз ты при таком мнении, разговор наш бесцелен. Жалею, что явился к тебе, боюсь, не по тому адресу...

Он добился, чего хотел: Кабаков вспыхнул, готов был сорваться, его остановил предостерегающий жест Савчука. Тот хмурился, предупреждал взглядом: возьми себя в руки, Григорий. И Кабаков сдержался. Это было нелегко, он тоже побледнел, как и Крутилин. И голос его дрожал на первых словах. Он справился и с этим, старался закончить беседу в прежнем спокойном тоне.

— Насчет плевков — пусть на твоей совести... Тебе скажу: многого в тебе не понимал, теперь понимаю. Ты, выходит, рассуждал так: нужно страдать, из кожи лезть, чтобы построить промышленность и города, а там разнежимся в новых городах, будем благодушествовать в возведенных цехах — успеха добились, чего еще нужно, от добра добра не ищут. Нет, друг, ищут, вечно будут искать от добра добра! А кто этого не понимает, кто устал или кого лень одолела, что же, можно и на пенсию. В уважение старых заслуг персональную положат, отпустят без позора; все-таки лучше, чем с подобными мыслями оставаться...

Крутилин с перекошенным лицом поднялся с кресла, вплотную подошел к столу. Кабаков тоже встал. Встревоженный Савчук приблизился к ним: он страшился, что Крутилин, неистовый в гневе, кинется в драку. Но Крутилин только бешено прошипел:

— Ах так, на пенсию, с почетом, персональная, говоришь? Ну на это у тебя руки коротки, сам знаешь! Разреши полюбопытствовать, товарищ Кабаков, а если я все же останусь, вот каков есть, с мыслями моими? Какой позор меня ждет?

Кабаков сурово ответил:

— А такой: обыкновенный позор, что выпадает всем, кто мешает движению... На крутых поворотах истории и не такие, как ты, уважаемые товарищи вылетали из тележки. Поройся в памяти, Тимофей Петрович!

Крутилин схватил пальто, стремительно направился к выходу. Он яростно хлопнул дверью, по всем этажам пустого здания разнесся грохот. И хоть Кабакову и Савчуку было не до смеха, они расхохотались, глядя на трясущуюся, как наказанный щенок, дверь.

27

Его терзало бешенство. Он кипел и негодовал. Он все снова возобновлял в памяти происшедший разговор, не верил: разговор был немыслим, невозможен! Но он произошел, этот разговор, уйти было некуда. Крутилин стискивал руки в кулаки, нет, не словами нужно было завершать беседу!.. Он содрогался: ему, Крутилину, предложили уйти на пенсию, нагло бросили в лицо, что он помеха! И не демагог Лесков, даже тот на это не осмелился, не подыгрывающий ему Бадигия, а близкий товарищ, многолетний соратник Кабаков! У Крутилина было ощущение, словно все вещи перед глазами вдруг запрыгали, не за что ухватиться, мир полон пыли и грохота, все обваливается, как при землетрясении. Он закрывал глаза, настолько реальным было это сумасбродное движение вещей и лиц. Шофер с тревогой поглядывал на него: таким молчаливым, мрачным и подавленным он еще не видел его.

Дома Крутилина ждал ужин, он знал, что в большой комнате собралась вся семья — жена, две дочери с мужьями и сын, горный инженер, работавший на одной из местных шахт. Это был твердо заведенный порядок: внуков укладывали спать, а взрослые ожидали главу семьи, не начиная ужина. Если Крутилин не мог явиться в обычное время, он предупреждал по телефону, что опоздает, и ужинал один. Проходя мимо столовой он вспомнил, что в этот вечер домой не позвонил, нужно бы хоть сейчас крикнуть, чтоб его не ждали. Но он, опустив голову, торопливо прошел мимо двери. Ему никого не хотелось видеть.

Крутилин прошел в свою рабочую комнату, самую маленькую комнатушку большой квартиры. Она предназначалась для домработницы, но, уютная и светлая, понравилась хозяину. Здесь стоял небольшой стол, этажерка с книгами, диван и кресло.

Крутилин, не раздеваясь, кинулся в кресло, он глядел в темное окно, прислушивался к голосам, звучавшим в мозгу. Голоса распадались, догоняли друг друга, словно живые существа. Спор продолжайся, шла битва мыслей, она не была менее ожесточенной оттого, что ее вели не кулаками. У Крутилина дрожали ноги, как после бега: ему было тяжко от этой битвы, тяжелее, чем от разговора с Кабаковым, чем от тех пристрастных и лживых (это по-прежнему вне сомнения) выступлений на собрании. Крутилин горько усмехнулся — нет, не везет ему, другим легче. У других инфаркты, инсульты, гипертонии, всякие там жабы и раки. Им лучше. Им проще. Вот прийти бы после такого собрания или после такой беседы — и тут же хлоп! Со всех бы сторон врачи, сиделки, пузырьки, клистиры, валидол, нитроглицерин, а внутри — сердце, печень — все жжет, все болит, есть еще смысл в существовании — побороть болезнь! А куда ему, Крутилину, уйти от дум? Сроду не было у него самой завалящей болезни, жизнь бушует в нем, как брага в бочке, не устроить ему бегства от самого себя! Он вынул из тумбочки бутылку водки и стакан, он часто теперь пил в одиночестве, это стало уже привычкой. Он облегченно вздохнул: три полных бутылки стояло в тумбочке. Ну и напьется же он сегодня — до белых слонов и зеленых Лесковых, черт бы их всех побрал! Крутилин налил стакан и задумался, рука сжимала бутылку, тихо покачивала ее. Более пьянящее, чем алкоголь, мучительное и острое зелье — воспоминания прошлых лет — заполонило его, притупило лезвия беспощадных мыслей.

Крутилин видел себя мальчишкой, в рваной рубашке навыпуск, белой от пота; пот лился по всему телу, горячий, как кровь; он был солонее крови. Мальчишка орудовал ломиком у печи, старые рабочие хлопали его по плечу: «Молодец, Тимоша, лет через десять печевым станешь!» Он замирал от гордости и страха, он не верил в такое возвышение. И точно, не стал он печевым — грянула революция, ломик пришлось сменить на винтовку, печь — на коня. Через три года он возвратился на свой завод, к своей печи. Не было ни завода, ни печи, все лежало в развалинах. Он плакал, не стыдясь своих молодых горьких слез, ему казалось, что лучшее в жизни разрушено, жизни больше не будет. Нет, жизнь только начиналась, самый пророческий взгляд не сумел бы тогда разглядеть высоту, до которой она доплеснет. И вот прыгнули в неповторимый двадцать девятый. Словно гроза пронеслась над замершими от зноя полями, кругом все кинулось в рост, гомонило, звенело, ломалось, становилось другим — история перешла от шажка к бегу. Он тоже торопился, он бежал, он хотел быть впереди. «Знатный бригадир Тимофей Крутилин» — иначе его и не называли в газетах. И на новом заводе — совсем он не походил на тот старый, дедовский, которого уже не было, — бригадир Крутилин, лихо плюнув на кожаные рукавицы, загнал в летку ломик — «взял печь на ломок» — и пошел по старому обычаю три дня ее обмывать. Он не выдержал священных трех дней, он ломал все обычаи: пили только сутки, на вторые печь выдала первый металл. И снова газеты кричали: это было не его достижение — успех всей страны!

Вскоре Крутилин появился в новом качестве — студентом института; он знал уже: не печевым быть ему, а инженером. Он кинулся штурмовать новую твердыню, после возведения завода море было ему по колено. Оно было глубоко и бурно, это море учения, каждая сессия налетала, как ураган, он тонул в зачетах, захлебывался в конспектах, глотал страницы книг, как соленую воду, до одури и головокружения. Нет, не было блеска в его тяжком четырехлетнем плавании по волнам науки, сколько раз он в отчаянии кричал себе: «Да брось эту муку, живут же люди без диплома!» Он не бросил, он проплыл до конца — рядом с ним выгребал Кабаков, такой же рабочий паренек, как и он, еще хуже подготовленный. Он не мог уступить Кабакову, тянулся за ним, отставал и догонял — вытянул все же. Так они вместе шли с тех пор: Кабаков книжки писал, инспектировал строительства, командовал строителями; он, Крутилин, строил и пускал, снова строил, снова пускал, строил все лучше, пускал все быстрее. О Кабакове говорили специалисты, о Крутилине кричало радио, шумели газеты, докладывали лекторы... Кто из них был нужнее стране? Пусть — он не считается заслугами — оба они были нужны. Разве тот же Кабаков не писал о «методе Крутилина», о «показателях Крутилина»? «Наивысшие в истории металлургии результаты» — так это тогда формулировалось! Теперь формулируется по-другому: «Персональная пенсия в уважение старых заслуг». Нет, врешь, до пенсии далеко, надо разобраться, он еще Крутилин — директор передового в стране завода! Да, конечно, он Крутилин и завод его передовой, только тот ли он Крутилин, что был прежде, и завод его тот ли? Завод его тот же, и показатели у завода лучше, чем были, о них не кричат, как раньше, все стало поскромнее, но лучше они, это ведь так? Надо и тут разобраться, в самом деле, почему же не кричат? Может, лучшее — этого теперь уже мало, поэтому и молчат, хвалиться особенно нечем? И сам он другой, это точно, не тот теперь. Крутилин! Тот ночевал в цехе, знал каждого рабочего, в кабинете у него даже телефоны не звонили: к чему, начальник на объекте. Ему издали улыбались, на разносы не обижались, еще грозили другим: «Вот к Крутилину пойду, он тебе покажет!» И ходили, ловили на улице, дома, за горло хватали, выбивали материалы, квартиры, путевки, чуть ли не в свои семейные неурядицы тащили. Соснуть не отпускали, жить не давали — так он был всем необходим. Это и была жизнь, подлинный расцвет. Не было у него времени лучше, им, Крутилиным, гордились, он сам собой гордился. Нет, постой, постой, как же случилось, что он стал другим? А вот так и случилось: себя не понимал. Он жил, лучшего и не надо было, а ему казалось: временные трудности, а не жизнь — была такая удобная формулировочка. Он ожидал, когда все утихомирится, устроится, можно будет и поспать вволю и книжки почитать, годами он их не читал. Прав Кабаков, спорить нельзя: он мечтал отдохнуть на достигнутом. И вот пришел этот мучительный, дремотный, беспокойный покой: завод шел, все устоялось, можно было и в кабинете запереться, и неделями в цех не выходить, и спать вволю. Жизнь дошла до завершения, он пожинает ее плоды, наконец-то живет спокойно, на вершине всех благ... Такой ли она ему мечталась? И рюмочка, всегда она была, из рюмочки стакан вырос, стакан бутылкой обернулся — уже от этой желанной и нудной жизни насильно отрываться приходилось, забывать о ней в угарном тумане. А где уважение окружающих, где любовь рабочих? Где чувство того, что без тебя другие не могут обойтись, сладостное чувство собственной необходимости? Могут без него теперь, могут, уже не бегут к нему навстречу, стараются мимо прошмыгнуть, как бы на глаза грозному директору не попасться. А раз он не нужен, следующий шаг — пенсия, совсем уходить надо, пока не выгнали. Чем же неправ Кабаков? И не так уж далек этот час. Лесков крикнул: «Крутилину плевать на технический прогресс!» И все зашумели: правильно, имеется недооценка, нужно перестраиваться. А он тут одно увидел — подкоп под руководство. Не подкоп, а линия, новый этап развития. Проморгал он новый этап в своей кабинетной дреме! На пенсию он добровольно не уйдет, — значит выгонят его с позором, точь-в-точь по его, Григория, прописи.

«И в коммунизм не верю, правильно! — с горечью думал Крутилин, вспомнив недавние слова Бадигина. — Как в далекую мечту верил — это Бадигин тоже верно определил, а что коммунизм не за горами, рядом со мной, что уже нужно за него бороться, и еще крепче, еще страстней, чем за социализм, этого не было. Передышечки захотел перед походом в коммунизм, долгой передышечки, до конца дней. А новый поход, мол, на детей оставлю, на внуков, ведь прямо так и говорил! Чем же не по Григорию, отстал от новой обстановки!»

Крутилин ошеломленно глядел на стоявший перед ним стакан. Он был потрясен. Он упустил ход своих мыслей, видел выводы, неожиданные и страшные. Он начал с того, что разгневался на Кабакова, хотел обосновать свою правоту. А вышло, что Кабаков прав: кончилось крутилинское время, пора вылезать из тележки. И снова его охватило неистовое, мутное, как похмелье, бешенство. Он сбил со стола стакан, водка плеснула ему в лицо, вслед стакану полетела бутылка. Крутилин топтал бутылку ногами, с яростью дробил ее каблуком. Сердце его тяжко билось, впервые он почувствовал боль в груди. Измученный, Крутилин свалился в кресло, ловил открытым ртом воздух, медленно затихал. Все новые и новые, обжигающие страстные мысли мчались в его мозгу. «Врете, дорогие товарищи, врете, крутыми поворотами не пугайте! Как бы вам самим не вылететь из тележки! По-иному дело пойдет, чем вы расписываете, по-иному!»

Он долго еще бушевал, то вскакивал, то падал в кресло. Он и заснул так, разметав руки по столу, положив голову на кипу бумаг; давно он не спал так крепко, вероятно, со времен войны, когда часто сваливался в монтажных каморках у дощатых, в щелях столов и сладко отсыпался под стрекотание пневматических молотков, шипение электросварки и трезвон бессонных телефонов.

Утром он вызвал к себе Жариковского. Жариковский с робостью всматривался в хмурое лицо Крутилина, он догадывался, зачем его вызвали: вчерашняя резолюция превращалась в действие.

— Так вот, товарищ Жариковский, — сказал Крутилин. — Человек ты исполнительный, в плохом не замечен. Исполнительности на данном этапе мало. Дерзание требуется и солидные специальные знания.

Жариковский вздохнул: будь у него дерзание, он начал бы с того, что выложил Крутилину все о нем самом и не постеснялся бы, как вчера на собрании иные стеснялись. Крутилин угрюмо продолжал, не глядя на Жариковского:

— Правильно вчера отмечали, для задач реконструкции завода ты пока мало подходишь. Помнится, ты в цех просился?

Жариковский оживился: после тяжелых страхов, одолевавших его в эту ночь, он не надеялся на такой благоприятный исход.

— В цех, Тимофей Петрович! Поверьте, приложу все силы!..

Крутилин прервал его:

— Подавай заявление — переведем мастером по автоматике.

После ухода Жариковского Крутилин некоторое время ходил по кабинету. Предстоял обидный и трудный разговор, нужно была собраться.

— Бадигина ко мне! — приказал он секретарше.

Бадигин вошел через несколько минут. Он понимал, о чем с ним собирается толковать Крутилин. Догадывался он и о бессонной ночи, проведенной Крутилиным. Далеко за полночь на квартиру Бадигину звонил Кабаков, интересовался в подробностях, как прошла конференция. Кабаков рассказывал Бадигину об их стычке и о том, в каком тяжелом состоянии Крутилин уехал домой.

— Думаю, будет пить, — сказал директор комбината. — У него водка вроде панацеи от тяжелых мыслей: мутной голове не надо размышлять. Если не явится на завод или придет нетрезвый, немедленно позвони мне.

— Позвоню, конечно, — пообещал Бадигин. — Не думаю, впрочем, чтоб Крутилин напился.

Бадигин объяснил, почему так думает. Дело в том, что на заводе у них начался период беспокойств и новшеств: проектировщики разрабатывают реконструкцию цехов и узлов, многое недостаточно обосновано, особенно все неясно и спорно с автоматикой. Вначале Крутилин только посмеивался: «Блох ловите, занятие не так чтобы вредное, но несерьезное». Сейчас он, кажется, поддается общему напору. Конечно, самого себя переделывать нелегко, особенно такому человеку, как Крутилин, стычек будет еще немало...

— Результат получится, — уверенно сказал Бадигин. — Вчера на конференции он просто удивил меня: его разносят, он сидит злой, но ни слова! Полгода назад он и слушать бы не стал такие речи: или сам бы ушел, или, оборвал бы оратора.

— Зато у меня он дал душе волю, — хмуро ответил Кабаков. — Все вывалил, что накипело.

Войдя к Крутилину, Бадигин сразу увидел, что тот не пил.

— Ну, так что же, резолюцию приняли, — мрачно начал Крутилин. — Всех обвинили, всех обругали, планы наметили широчайшие. Нужно теперь осуществлять эти планы, товарищ секретарь.

— Нужно осуществлять, — согласился Бадигин и дружелюбно улыбнулся, чтобы показать, что он готов к примирению после вчерашнего столкновения на конференции.

— Что-то не вижу заботы, мог бы и не дожидаться приглашения, до моей двери от твоей — полста метров. Значит, так: Жариковского переведем в мастера, со всеми цехами ему не справиться.

Бадигин утвердительно мотнул головой.

— Верно, Тимофей Петрович, в мастерах ему лучше.

Крутилин с досадой глядел на Бадигина. Тот говорил ровно и сдержанно, словно иначе и быть не могло. Крутилину стало обидно за свои вчерашние муки: могло бы все и по-другому пойти, не перебори он себя, не вылей ему Кабаков на голову ведро ледяной воды. Объяснять все это тихоне Бадигину было бесполезно: Бадигин разбирался в линиях, а не в душах, линия правильная — осуществляй, вот его принцип. А ценой каких терзаний до этой линии доберешься, его не касается. Крутилин ворчливо сказал:

— Ну хорошо, прогнать легко. Кого вместо Жариковского посадим?

Бадигин предложил:

— Может, Селикова? Недели две ко мне ходит парень, он что-то в лаборатории не ужился, а мастер он неплохой.

— Не мастера нужно — хорошего инженера, — возразил Крутилин. — Против Селикова не возражаю, бери, только начальника потребуем другого. Отметь у себя: написать в министерство, чтоб прислали настоящего специалиста по автоматике. Что дальше собираешься делать? Или вся твоя программа Селиковым исчерпывается?

В тихой улыбке Бадигина появилось лукавство. Он легко сообразил, чего добивается Крутилин своими настойчивыми вопросами. Бадигин сделал то, чего хотел от него Крутилин. Он проговорил, пожимая плечами:

— Да как тебе сказать, Тимофей Петрович?.. Конкретно мы с тобой уже многое рассматривали, дополнить все это надо.

— Дополнить! — презрительно покривился Крутилин. — После вчерашнего не дополнять надо подготовленный нами проект, а новый разрабатывать.

— Да, пожалуй, так бы лучше, — согласился Бадигин. — А ты уже что-нибудь наметил, Тимофей Петрович?

Крутилин рассказывал, оживляясь от сочувственного внимания Бадигина. С автоматикой путаница, недооценивают ее многие товарищи, считают незначительной очередной кампанией. Ну, и они на заводе тоже так считали, было. Отсюда и основной порок — взваливают автоматизацию на отдельных работников. Савчук, например, на своей фабрике отдал автоматизацию на откуп лаборатории, массу на борьбу за нее не поднял. У них на заводе это не должно повториться. Как нет человека, не разбирающегося в лампочке и выключателе, так все, хотя бы в общих чертах, должны знать регуляторы. Одной деловитости специалистов мало, нужен размах всенародного обучения — таков его план.

Теперь и Крутилин улыбался: он подметил в глазах Бадигина удивление, тот не ожидал подобной широты. Бадигин продолжил мысль Крутилина:

— Осуществить это можно так: организуем на заводе кружки по изучению автоматизации.

— Вот-вот! — одобрил Крутилин. — А прежде всего две группы: специальная, для работников автоматики, и общая, для всякого начальства, для нас с тобою, сядем, как детишки, за парту; иначе, кроме болтовни, ничего не получится.

Только теперь Бадигин признался себе, что не понимал всей глубины того, что происходило с Крутилиным. Казалось, что могло быть естественней и проще: не знаешь чего, садись изучать. Но для Крутилина это не было ни естественно, ни просто, он давно уже свыкся с мыслью, что освоил вершины технологии, знает больше, умеет лучше других. Он грубо обрывал тех, кто пытался его чему-нибудь научить, сам всех поучал. Сейчас он готов первый сесть за парту...

Бадигин, не показывая, как он поражен, вслух размышлял:

— Руководителя для групп нужно. Наш Жариковский не годится, Селиков тоже не подойдет. Может, Лескова попросим?

Крутилин нахмурился. Он представил себе, как Лесков вызывает его, Крутилина, к доске, презрительно выслушивает его ответы, может быть, при всех ставит ему двойку. Бадигин задумчиво сказал, мельком взглянув на Крутилина и опуская глаза на блокнот:

— Нет, Лесков не подойдет; желчен да и перегружен. Есть у него другой знающий инженер — Закатов...

— Закатова лучше, — согласился Крутилин.

28

День бежал за днем, неделя спешила за неделей, месяц уходил за месяцем. Много важного и мелкого случилось за это время. Давно уехали из Черного Бора Пустыхин, Бачулин и Шур, давно ушел из лаборатории Селиков, вернулся в гостиницу Лубянский. Лесков подал заявление о квартире от своего и Надиного имени, пока же они встречались на улицах и в кино; погода становилась все хуже, встречи были все продолжительнее. По твердому убеждению Кати, Надя сходила с ума; она бежала на свидание в дождь без зонтика, в снег без шапки, а уж приготовить себе обед или выспаться ей и вовсе не хватало времени.

— Сколько калорий дает любовь? — допрашивала Катя. — Раньше, говорят, питались святым духом, только на этой диете жиру нагулять не удавалось. А у тебя все питание — слова да взгляды. И ничего, не худеешь. Честное слово, нужно и мне влюбиться!

Однажды Катя, непричесанная, сидела у стола и что-то подсчитывала на бумаге. Результаты вычислений ее раздражали; уже третий лист, скомканный, летел в форточку. В таком виде ее застала вернувшаяся с работы Надя и, посмеиваясь, обняла подругу. Она не сомневалась, что Катю волнует пустяк — серьезные дела ее не мучили.

Дело, однако, оказалось серьезным.

— Понимаешь, — сказала Катя огорченно, — если придерживаться науки, то раньше шестидесяти четырех лет мне нельзя выходить замуж.

— Это почему? — удивилась Надя.

— Совершенно точно, Надя, просто ужас! Я читала, что муж не должен быть старше жены больше чем на четверть. Вчера Георгий сделал мне десятое предложение, а у нас шестнадцать лет разницы, ты представляешь? Он пришел в ночную смену специально для разговора, а ждать столько не будет: только через сорок три года шестнадцать лет составят четверть моего возраста. Это меня убивает! Я уже треть взяла, тоже плохо — двадцать семь лет ожидания.

Она уныло опустила голову. Надя пожала плечами, не отвечая.

— А нельзя ли так? — проговорила Катя мечтательно. — Выходить замуж не по науке, а по какому-нибудь другому критерию. Подошло по критерию — в загс, не сошлось — от ворот поворот.

— Выходить нужно по сердцу, — сердито отозвалась Надя, собирая на стол. — Это единственно правильный критерий.

Катя вздохнула.

— Нет, — сказала он разочарованно. — Это плохой критерий, Надя. У сердца нет глаз и ушей, оно только стучит, и никто не знает, отчего оно стучит. Сердце обманывает, Надя. Вот я тебе докажу. Симочка, номер первый, он клялся, что сердце его бьется лишь для меня. А в загс он пошел с Зосей из дробильного отделения. Алеша, номер второй, тоже обо мне сердце стучало, а теперь его от этой дуры Машки не оторвешь. Или твой Лесков: сколько он на меня заглядывался! — Она лукаво посмотрела на подругу. — Нет, это, кажется, я на него заглядывалась... В общем, кто-то из нас заглядывался, а влюбился он в тебя. Я теперь решила: к сердцу не прислушиваться, замуж выходить на самых серьезных теоретических основаниях.

Надя прервала болтовню подруги. Ей все больше не нравилось поведение Кати. Из одной благодарности за сильное чувство Катя, не любя, могла уступить домоганиям Лубянского. Надя представила себе Катю вместе с Лубянским и возмутилась.

— Мое мнение ты знаешь, — сказала она сухо. — Лубянский много старше тебя — это первое. А самое плохое — Лубянский себялюбивый, неискренний человек. Кто угодно, только не он.

Катя обиделась. Обижаясь, она становилась серьезной. Она воскликнула с горечью:

— Тебе хорошо: у тебя есть свой «кто угодно», Саня! А где мой «кто угодно»? Один Георгий, остальные побегали да отстали, не выдержали ухажерский кросс. А так, как ты — увидела и сразу влюблена по уши, — я не могу.

Надя обняла подругу, Катя сердито отвернулась.

— Глупая, разве я не знаю, что тебе трудно? Пойми: неприятен Лубянский! Недавно пошли слухи, что его снимают с начальника цеха. Как все обрадовались!

Катя вырвалась из Надиных рук.

— Ну и что же? — крикнула она. — Пусть не любят, а я вот полюблю! Очень мне нужно, чтобы моего мужа все любили. А Георгий прямой, говорит всем неприятности, конечно, на него озлобились. — Она с вызовом прокричала: — Снимут его, тут же зарегистрируюсь, назло всем!

На этот раз и Надя обиделась. Она отошла от подруги.

— Знаешь, меня мало касается, за кого ты выйдешь замуж. И мне зла этим не причинишь, себе — не знаю.

Надя ушла на кухню мыть посуду. Катя уже жалела, что вспылила, если бы Надя осталась, она, как всегда это делала при ссорах, подольстилась бы, и размолвка кончилась бы смехом. Катя стала одеваться. Она еще помедлила, одетая, не вернется ли Надя. Надя не возвращалась.

— Подумаешь, очень надо! — вслух сказала Катя. Она прошла мимо кухни, напевая песенку: пусть Надя слышит, как мало значат ее укоры.

На улице Катя задумалась над своей горькой судьбой. Никто ее не любит, даже Надя, а парни просто шарахаются, им одного нужно и немедленно, побегают немного и бросают. «Лучше всех вас Георгий, лучше всех!» — думала она. Георгия, конечно, снимут. Он борется за новое, легко это не дается, а все шишки валятся на него. Надя ее не понимает. Никто не понимает, что Кате нужно. Вокруг нее увивались, всякие слова говорили, зачем ей это? Хоть бы кто-нибудь догадался не пирожное подносить, а за руку схватить: «Не могу, Катя, умру без тебя, как без воздуха!» И ничего ей больше не нужно, прошла бы с таким человеком всю жизнь!

Так она думала, огорченно и путано, торопясь в парк: она опаздывала. Лубянский нервно ходил по аллейке. Ей показалось, что он взволнован и растерян. Она опять вспомнила о слухах, испугалась за него, порывисто протянула ему руку. Лубянский припал к ее пальцам, снова и снова целовал их; словно огоньки обжигали ее, по телу разливалось тепло. Он хотел заговорить, она быстро прервала его:

— Не надо, Георгий Семенович, все знаю. Это не имеет значения.

Он удивился.

— Откуда же, Катя? Я сам только час назад узнал. И пока это еще не оглашено.

Она досадливо махнула рукой.

— Ненавижу секреты! Вы не огорчайтесь, не все люди начальники цехов, у вас есть друзья, они вас уважают.

— Да нет, Катя вы ошибаетесь! — отозвался Лубянский, засмеявшись. — Снят не я, а Савчук, а на место Савчука меня назначили. Вы понимаете? Я директор фабрики, всей фабрики, Катя!

Он торопился поделиться с ней приятной новостью, шумно торжествовал. Приятель, работающий в министерстве, недавно осведомил его, как прошел доклад Савчука. Имеющие уши улавливают и неслышные звуки, приятель предрекал: жди возвышения, скоро получишь более соответствующее тебе место. Теперь оно пришло, возвышение! Вот когда ему развязывают крылья, никто еще по-настоящему не знал, чего он стоит, — ничего, узнают, ждать недолго! Ах, на какую же высоту он поднимет фабрику — первое место в Союзе по всем показателям, на меньшее он не согласится!

В своем увлечении Лубянский не заметил, что Катя все дальше от него отодвигается. Ему казалось, что она всматривается в него с восхищением и восторгом. А она сквозь все хорошие слова о первом месте и показателях с отвращением открывала в нем неистовое честолюбие, мелкое торжество, равнодушие к судьбе другого человека, хорошего человека, лучшего, чем он, чем все они, она это знала. Она спросила:

— А как же Савчук, Георгий Семенович?

Он махнул рукой.

— Какое это имеет значение, Катя? Поедет на новое место.

Сейчас Лубянский уже видел, что скованность Кати мало похожа на упоение его успехом. Он понял, что хватил через край, добродушно усмехнулся на себя: не утерпел, выложил все сразу. Он заговорил о том, как пойдет их жизнь: они получат великолепную квартиру, комнаты две или три — полагается по чину, в деньгах также не будет недостатка. В общем, будет все, что может пожелать себе любимая молодая супруга.

Он счастливо засмеялся, ловя ее руки, хотел поцеловать ее.

— Катенька, Катенька, завтра мы распишемся!

Она отшатнулась.

— Нет, нет, не завтра! — сказала она в волнении. — Я должна подумать.

Он смотрел на нее с недоумением.

— О чем еще думать, Катя?

Мысли так же плохо слушались ее, как и слова:

— Понимаете, Георгий Семенович, это ведь... Что все подумают? Я считала, вам плохо... Ну, сказали бы: «Дура!» Пусть дура! Помочь вам пережить, подняться... И от квартиры хорошей, от денег, заработанных вместе, не откажусь, нет! Нет, я ужасно все плохо... Ну, не могу я на готовенькое, не могу! Вот скажут: «Катя на богатую жизнь польстилась!..» Ах, все так сложно, все непонятно!

Но Лубянский не находил тут ничего сложного и непонятного. Он хмуро улыбнулся.

— Глупенькая вы, Катя, вечно у вас нелепые фантазии! Если по-вашему, то любить можно одних неудачников, неспособных и несчастных. А кто своим трудом, талантом, своими знаниями и энергией достигает успеха, тому плюнь в глаза? Так вроде у вас получается. Что же вы молчите?

Катя не знала, что отвечать. Она была в отчаянии. Она чувствовала, что права, а он против этого ее чувства выдвигает неотразимые аргументы. Обманутый ее молчанием, он позволил себе то, что старался — по старому опыту — не допускать. Он обнял ее, стал целовать. Она оттолкнула его.

— Нет, нет! — сказала она торопливо и умоляюще. — В другой раз, Георгий Семенович, потом!

А когда он снова протянул руки, снова пытался ее схватить, она кинулась бежать. Оскорбленный и злой, он глядел ей вслед. Катя знала, что он стоит на месте, знала, что он глядит ей вслед, бегство ее было глупо. Она ничего не могла с собой поделать, она убегала не от него, от себя.

29

Лесков с Закатовым рассматривали результаты своей многомесячной деятельности: схемы, чертежи, фотографии приборов, пояснительные записки. Весь стол был завален бумагами, большая их кипа громоздилась на диване. Закатов проговорил с чувством:

— Миг вожделенный настал! Окончен мой труд многолетний.

Но Лесков не считал, что труд закончен и уже получен вожделенный результат. Ему казалось, что заложено только начало — конец будет, когда человека полностью раскрепостят от машины. Лесков озабоченно сказал:

— Разработанную нами автоматику нужно изготовить и внедрить. Дело без драки не пойдет.

Но Закатов, окрыленный успехом, не видел оснований для драк. Какие еще препятствия? Выдумать новый механизм — вот трудность! А уговорить какого-нибудь Делопута спешно отработать бюрократию с формами и заявками — это не трудность.

И Закатов с легкомысленной улыбкой возразил Лескову по привычке стихами:

Для чего стремится Гектор к бою,

Где Ахилл безжалостной  рукою

За Патрокла грозно мстит врагам?

Если рок жестокий нас разлучит,

Кто малютку твоего научит

Дрот метать и угождать богам?

— Давайте брошюровать чертежи, — предложил Лесков, согласившись, что стихи звучат здорово. — Томище получится килограмма на два.

Том вправду вышел солидный, рука еле его удерживала. Первый экземпляр Лесков послал Кабакову, второй — Лубянскому.

Они теперь жили раздельно. Лубянский получил квартиру выехавшего Савчука и обитал в трех комнатах.

— Знаете, меня угнетает этот пустой простор, — признавался он Лескову. — Тысячи мыслимых и немыслимых удобств — последних даже больше. И никто не уплотняет — чин что тын, он от вторжения оберегает.

Вскоре Лубянский сам подал заявление, чтоб его уплотнили — в одной из комнат поселили молодоженов. Алексея с Машей. Лесков был у Лубянского в гостях, с интересом осматривал светлые комнаты, зашел и к Алексею узнать, как они устроились.

— Тебе повезло, Алексей, — сказал он рабочему. — Мне раньше лета не обещают.

Алексей посочувствовал Лескову. В Черном Бору получить квартиру было нелегко, хотя кругом строились новые дома — население молодого города росло быстрее, чем дома. В гостинице Лесков только день пожил один — к нему подселили нового инженера.

Лубянский с энергией входил в свою новую должность, он дневал и ночевал на фабрике. Надя говорила о нем с прежним недоброжелательством: «Типичная новая метла, метет дочиста». Внешне Лубянский, однако, не изменился, только философствовал поменьше — не хватало времени. Утром за ним приезжала «Победа», в нее немедленно набивался народ — Лубянский прихватывал всех знакомых, кто встречался на пути, многие отказывались: «У вас теснее, чем в автобусе!»

Когда Лесков положил ему на стол свой томище, Лубянский сказал с уважением:

— Значит, закончили? Великолепно! Веская штука, один вид внушает почтение. Вы, надеюсь, дадите мне дня три, чтобы разобраться? Я позвоню, когда одолею.

Он позвонил не через три дня, а через неделю. Лесков уже начал терять терпение. Лубянский попросил Лескова приехать. В старом кабинете Савчука, славившемся своим хаосом, теперь был установлен строгий порядок: посторонние не сидели за директорским столом и не отдыхали на диване, телефонистки отвечали сразу, в воздухе не пахло застоявшимся дымом.

— Ну, и загнули же вы! — воскликнул Лубянский, улыбаясь. — Знаете, я ведь плохо знал, что вы испытывали в других отделениях, а там у вас тоже перевороты. И очень убедительно, каждая цифра обоснована.

— Я очень доволен, что вам понравилось, — ответил обрадованный Лесков. — Теперь надо решить, когда начнем все это внедрять. Думаю, придется фабрику перестраивать на ходу — агрегат за агрегатом, секцию за секцией.

Но Лубянский покачал головой.

— Кажется, вы не совсем ясно представляете себе положение вещей, — вздохнул он. — Вам вскружила голову легкость, с какой мы освоили первые регуляторы. Но, во-первых, это пустяк по сравнению с тем, что сейчас задумано, а во-вторых, легкость была мнимая, только для измельчителей, за нее расплачивались другие цехи. — Он улыбнулся извиняющейся улыбкой. — Вас удивляет мой новый подход? Ничего не поделаешь, сейчас я гляжу с другой колокольни и вижу кое-что по-иному.

Лесков не удивился. Он ожидал изменений в Лубянском, даже недоумевал, что они долго не проявляются. Лубянский дружелюбно закончил:

— Если принять ваш план, фабрику в течение месяцев станет лихорадить, план окажется на грани провала. Нет, мы пойдем по другому пути — перешлем все это в Москву, пусть там разберутся и предпишут нам, как поступить.

Лесков стал спорить. Речь идет о сознательном ограничении производства на какой-то месяц, чтоб с лихвой превзойти его в будущем. Почему они должны мыслить месячной программой, а не двух-трехмесячной? Какой же это провал плана, если квартальное задание они выполнят? Полная автоматизация открывает широкие перспективы увеличения производительности...

— Боюсь, кто-то другой, а не я насладится этими широкими перспективами! — резко возразил Лубянский. Его стала раздражать настойчивость Лескова. — Меня выгонят задолго до того, как закончится блистательно выполненный квартальный план. Давайте договоримся, Александр Яковлевич: вашим исследовательским работам я окажу всяческую помощь, а внедрение их результатов в производство будет зависеть от того, помогают ли они или нет выполнению плана. Никаких срывов программы — ни месячной, ни даже недельной я допускать не могу.

Лесков молча смотрел на Лубянского. Ему казалось, что он видит его впервые. Таким он его еще не знал. Этот ли человек так зло издевался над уродствами и недостатками, так тонко их находил у других? Сейчас он сам был уродством и злом. Нынешнее высокое место ему дороже, чем фабрика, он думал только о себе. Еще несколько месяцев назад Лесков взорвался бы неистово и безобразно. Теперь он был опытней и умней. Он знал самое главное: Лубянский из помощника превратился во врага, с Лубянским придется бороться, как он боролся с Пустыхиным, Крутилиным. Эта борьба сложнее и опаснее: тех приходилось подталкивать, этого придется оттолкнуть. И вести эту беспощадную борьбу нужно не криком и кулаками, а как-то более тонко и умно, он еще сам не знает, как.

Лесков встал. Лубянский, казалось, почувствовал облегчение, он ожидал большего сопротивления. Лубянский проводил Лескова до двери. Лесков удалился со своим томом. Его душила холодная злоба. Мысленно он продолжал беседу с Лубянским, теперь уже на всю откровенность. «Ты молодой растущий руководитель! — бешено думал Лесков. — Плана ты, конечно, не пошатнешь и выговоров не заработаешь. И взлетишь высоко, это тоже возможно. Ибо пена ты, а пена летит высоко. Ничего, взлетай, как бы высоко ни взлетела пена, погибнуть ей, превратиться в жалкую капельку воды. А наша задача — ускорить это неизбежное превращение!»

Он пошел к Кабакову. Время было дневное, в приемной толкался народ. Лесков попал к Кабакову часа через два — он упрямо пересиживал менее выносливых. Насупленный Кабаков громко рассмеялся, когда Лесков доложил о разговоре с Лубянским.

— Этот человек не Савчук, — заметил Кабаков. — Помощи такой тебе уже не будет. Что собираешься предпринять?

— Не знаю, — откровенно признался Лесков. — Жду, что вы скажете. Мне кажется, Лубянского надо заставить, пусть разрешит монтаж.

Кабаков раздумывал. Лесков все больше тревожился.

— Не нравится мне твой подход, — сказал вдруг Кабаков. — Ты вот часто о себе говоришь: «Профессиональный технический революционер». Хорошее выражение, точное. От Ленина идет: с организацией профессиональных революционеров он взрывал царизм и капитализм. Сейчас мы старую, от капитализма доставшуюся технику взрываем. Правильно: требуются для этого специалисты по технической революции, профессионалы-новаторы. Но раз уже ты Ленина цитируешь применительно к новой обстановке, то цитируй до конца. Два важных пункта ты забываешь: организацию и массы.

Кабаков нажал кнопку и прошелся по ковровой дорожке. Вошедшему секретарю он сказал:

— Ко мне никого не пускать: важный разговор.

Лесков с досадой возразил Кабакову:

— Я пришел с претензиями на Лубянского. Не понимаю, какая здесь связь с тем, что вы говорите.

— Связь самая прямая, — ответил Кабаков, хмурясь. — Индивидуалист ты, все своими руками норовишь. Сами люди только стихи пишут, да и то, бывает, редакторы поправляют. Начинать ты еще мог один, а разворачивать дело, доводить его до конца — ни твоих сил, ни кого-либо другого не хватит. Тут требуются решения в масштабе всей страны, помощь других заводов. Массы нужно поднять на автоматизацию, чтоб весь народ нас подпер, тогда и реконструируем фабрику. А у тебя свету только что в одном окошке — Лубянский, Лубянский! Вроде как раньше тоже один был — Крутилин! Нет, теперь так уже не пойдет!

Лесков воскликнул:

— Неужели вы поддерживаете Лубянского? Бить его надо, а не поддерживать: человек переродился!

Кабаков дружески положил руку на плечо Лескова.

— Ничего Лубянский не переродился: был дельный и скверный человечишка, таким и остался — дельным, и скверным. Очаровал он тебя, оттого и разочаровываешься. Ну, а мы не были очарованы, видели его насквозь. Это я так, к слову. А конкретно: прав он, независимо от личных мотивов. Он не хозяйчик, живет в плановой системе, и нет у него такой власти: самолично фабрику реконструировать, производственную программу менять и прочее.

Лесков спорил:

— Если самолично не может, вы прикажите. Пока что вы над ним, а не он над вами.

Кабаков оборвал его:

— По-другому сделаем, товарищ Лесков. Два важных события произошло. Первое — новый начальник у нас появился. Такой начальник, лучше которого и желать нельзя, радуйся.

— А куда вы? — встревожился Лесков. — Неужели снимают?

— На старом месте я. Никуда не снимают. Газеты внимательно читай, товарищ Лесков, быстрее соображать будешь. Ты, помнишь, говорил о беседе с Баскаевым, как он защищал достоинства организации нашей промышленности? Не одни достоинства были, имелись и недостатки, жизнь и его заставила это признать. Не только признать — трудиться над их исправлением. Промышленные министерства, как ты знаешь, упразднены. Так вот, председателем нашего совнархоза идет сам Баскаев, а заместителем к нему, специально по нашей горнометаллургической части, — Савчук. Будет теперь руководить нами.

Лесков изумился и обрадовался.

— Второе событие еще важнее, — продолжал Кабаков. — Есть решение ЦК выделить ряд крупных предприятий для внедрения комплексной автоматизации. Вроде школ передового опыта — схватываешь? В нашей отрасли, металлургии таким показательным предприятием полной автоматизации будем мы с тобой.

Лесков даже привскочил на диване. Кабаков хохотал, радуясь его восторгу.

— Можешь гордиться, — сказал он. — Твоя деятельность сыграла немалую роль в том, что именно нас выбрали. Но зато тебе должно быть ясно: силы твоей лаборатории — капля в море предстоящих работ. Вся страна будет нас реконструировать: дадут ассигнования, материальные фонды, проектные институты засядут за наши проекты, ученые приедут к нам испытывать новшества, специальный трест возьмет на себя монтаж и наладку, десятки заводов поставят аппаратуру. Вот что нам предстоит, товарищ Лесков, — размах!

Когда восторг немного утих в нем, Лесков осведомился:

— Что я должен делать в лаборатории?

— А то же, что делал: обслуживай предприятия, внедряй потихоньку разработанные модели одну за другой. Еще приготовь мне десять экземпляров этого отчета. — Кабаков положил руку на том, принесенный Лесковым. — Готовься в командировку, вместе с тобой поедем в совнархоз, к Савчуку. Оттуда — уже с ним — в Москву, а ЦК, в Госплан. Ориентировочно месяца, через полтора. И знаешь, зачем?

Лесков кивнул на свой отчет.

— Проталкивать этот проект, я думаю. Доказывать; что он осуществим, несмотря на его грандиозность.

— Не совсем так. Опять, товарищ Лесков, не разобрался в обстановке. Жизнь ушла дальше, чем ты надеялся в самых смелых своих мечтах. Будем проверять, все ли ты сделал, чего от тебя ожидают в Госплане. Там ведь тебя с твоей лабораторией давно запланировали как некоторую движущую силу.

— Нет, ничего не понимаю, — признался Лесков. Кабаков говорил, прохаживаясь по кабинету:

— Вы вот с Закатовым и Галаном спорили о конструкциях приборов, о деталях к ним, о монтаже их, а другие люди размышляли, что из всего этого получится для общества в целом. Да, не удивляйся, так! Осуществим это. — Кабаков показал на том отчета, — из двух тысяч работников фабрики от силы останется тысяча. Куда освобожденных девать? Безработицу плодить? Люди ведь привязаны к семьям и квартирам. Не приведет ли автоматизация вместо блага к народному горю? Там, у капиталистов, она как раз такая...

— И я об этом думал, — сказал Лесков. — Часто думал.

— Правильно, нужно об этом думать. А к каким выводам пришел?

— Ну, в двух словах не скажешь.

— Скажи в двадцати, время у нас есть.

Лесков рассказал Кабакову, какое впечатление произвело на него увольнение дяди Феди, и вкратце изложил то, о чем беседовал с Надей.

Кабаков одобрительно закивал головой.

— Вижу, тебя не одна голая техника интересует. В принципе мысли твои правильны. Именно так и собираются решать эту проблему в масштабе страны: новое строительство, сокращение рабочего дня, увеличение материальных благ для каждого трудящегося — вот следствия автоматизации.

— Но это в масштабе всей страны, — задумчиво сказал Лесков. — У нас, на нашем пятачке земли, будет труднее: столько освобожденных придется устраивать!

Так же будет, как и везде по стране, — уверенно проговорил Кабаков. — В Черном Бору начинается строительство новых заводов. Рабочую силу для этих заводов со стороны завозить не будем, она появится в результате внедрения твоих автоматов. Вот об этом и пойдет у нас речь в Госплане: достаточно ли она глубока, запроектированная нами техническая революция, чтоб обеспечить уже принятые планы расширения производства.

Лесков сказал, усмехаясь:

— Я думал, все поразятся размаху нашего начинания. А нас, возможно, еще обругают. Мало!..

— И такое не исключено, — согласился Кабаков. — Ты до сих пор всех подталкивал. Как бы теперь не пришлось тебя самого подталкивать!

Кабаков проводил Лескова до приемной. У двери он вспомнил:

— Сегодня Пустыхин прилетел. Привез наметки удивительного проекта одного из новых наших заводов. Вчерне я просматривал, что-то не совсем ясно. На доклад его обязательно приходи, тебя там тоже многое касается. А сейчас немедленно разыщи его. У него важное сообщение о твоей сестре. Болеет она что-то.

30

Лесков кинулся в гостиницу. От Мегеры Михайловны он узнал, что Пустыхин приехал один, остановился в том же номере, где и раньше жил, но на месте его нет, исчез через пять минут после прибытия. Лесков прикидывал: раньше всего Пустыхин, конечно, заехал к Кабакову, потом — в проектный отдел или на заводы. Искать его надобно где-то в этих местах. Лесков схватился за телефон. В проектном отделе Пустыхин был, но уже ушел, на заводах не появлялся. Лесков, расстроенный, раздумывал, куда бы еще позвонить. Он с некоторых пор сам стал догадываться, что с Юлией неладно. Она писала все реже, письма были все суше, о том, как протекает беременность, она ничего не сообщала. Николай вообще не писал, раз и навсегда отговорился занятостью.

Лесков уже собирался уходить из гостиницы, когда его вызвали к телефону. Он сразу узнал веселый голос Пустыхина.

— А я сижу у вас! — кричал Пустыхин в трубку. — Черт знает что — начальство шляется по городу! Немедленно приезжайте, а то начну за вас командовать: ваша лаборантская братия истосковалась по умным распоряжениям.

Когда Лесков появился в своем кабинете, сидевший за его столом Пустыхин, понял, что Кабаков уже подготовил его. Смеющееся лицо Пустыхина стало серьезным. Закатов, сидевший с Пустыхиным, незаметно удалился.

— Не падайте духом, пока ничего страшного, — быстро сказал Пустыхин, энергично встряхивая руку Лескова. — Все расскажу, имею на этот счет специальные полномочия. Самое главное: жива!

Лесков сказал, бледнея:

— Неужели до того дошло, что речь идет о жизни? Почему мне ничего не написали?

Пустыхин выразительно передернул плечами.

— Не хотели расстраивать. Боялись, что задурите. Да сядьте же, жуткий человек, говорю вам: серьезно, но не страшно.

— Что с Юлией? — требовал Лесков, не слушая успокоений Пустыхина. — Ничего от меня не скрывайте!

— Ах, какой вы! Ну как, успокоились? Теперь слушайте. Беременность у Юлии Яковлевны проходит тяжело. Какая-то ненормальность в организме, ну, и под сорок, для первородящей многовато. Сначала были обмороки, даже на улице, дошло до того, что без Николая Николаевича она ни шагу, он ее на работу провожает, с работы, дома ни на секунду одну не оставляет. Муж, доложу я вам, удивительный! Короче: месяца два назад стало совсем плохо. Нависла угроза выкидыша, каждое неосторожное движение, каждый шаг опасны... Собирали мы профессоров, сам я с верным Васькой впихивал их в такси. Профессора трясли лысинами и постановили: нельзя ей рожать, насилие, мол, над природой и прочие тонкие материи. Юлия Яковлевна, конечно, послала всех профессоров к чертям, а себя осудила на немыслимый режим. Второй месяц она лежит в постели, не поворачивается, голодает по строжайшим законам науки: соки, компоты, овощи, ни грамма мучного, чтоб ребенку хватало, а весу ему излишнего не было. Вот, собственно, и все. Лежит, борется за жизнь ребенка, вас тысячу раз целует, Николай тоже — таково положение на день моего отъезда.

Лесков сказал глухо:

— Петр Фаддеевич, я вам верю, ничего не утаили?

Пустыхин клятвенно поднял руку.

— Как на духу! Правда, вся правда, ничего, кроме правды!

Лесков схватился за трубку и заказал срочную телеграмму в шестьдесят слов: упреки, вопросы, готовность немедленно приехать.

— Думаю, вы там не нужны, — сказал Пустыхин, когда заказ приняли. — Впрочем, это — ваше дело. По-человечески понимаю: всех нас тревожит состояние Юлии Яковлевны.

Мрачный Лесков некоторое время молчал, потом стряхнул с себя оцепенение и заговорил о делах Пустыхина.

— Говорят, вы удивительный проект привезли? В чем же его удивительность?

— Придете на доклад — узнаете, — весело ответил Пустыхин. — Одно могу сказать: собираюсь свести с вами счеты.

Лесков с недоумением смотрел на Пустыхина. Тот насмешливо подмигнул.

— Не делайте такого растерянного лица, Александр Яковлевич. Неужели вы серьезно думали, что дело у нас ограничится только той стычкой? Ни одной минуты не собирался ставить на этом точку.

Лесков серьезно возразил:

— По-честному, я предполагал, что это мне надо сводить с вами счеты. Ведь вы меня побили в тот раз, и крепко побили. Мне пришлось уйти, а не вам.

Пустыхин довольно засмеялся.

— Побить еще не значит победить. Тут тонкое различие. В общем, приходите завтра вечерком.

Доклад Пустыхина состоялся на заседании технического совета комбината. Пустыхин знакомил совет с разработанным их конторой проектным заданием второй очереди одного из заводов комбината.

В зале сидели все видные местные работники: хозяйственники, инженеры, проектировщики. Совещание открыл Кабаков. Лесков с Надей уселись в первом ряду. Перед докладом в коридоре шли оживленные споры — введение в официальную дискуссию. Почти все слышали о существе нового варианта завода, некоторым он казался крушением основ металлургии. Пустыхин не прятал новое в ворохах старых одежд, а подчеркивал, что речь идет о радикальной ломке традиций.

— С точки зрения существующих критериев, — говорил он, — огневая металлургия приемлемее. Но мы выдвигаем совершенно новый в проектировании критерий, — годится ли выбираемый процесс для полной автоматизации или нет. Процесс должен совершаться без ручного труда, никаких рабочих, привязанных, словно цепями, к своим машинам, — вот наше предварительное условие. Вы, может быть, скажете: возьмите испытанные агрегаты и методы переработки руд, позовите автоматчиков, и пусть они внедрят автоматизацию на этих освоенных агрегатах. Я и сам поступал когда-то подобным же образом и торжественно, при свидетелях, отрекаюсь от этого: ничего хорошего не получается. Наш критерий заранее отметает всякое кустарничанье и скороспелое приспособленчество. И, если внимательней рассмотреть, предлагаемый нами автоматизированный завод окажется экономически выгодней. — Пустыхин живыми глазами осмотрел зал и с вызовом выложил на стол свой основной козырь. — Тут многие зашумели, когда я сообщил, что капиталовложения в завод вырастут на полмиллиарда рублей. Ручаюсь, у вас явилась мысль: человек сошел с ума, он выбрасывает на ветер народные деньги. Успокойтесь, товарищи, мы в здравом уме. На новом заводе рабочих будет тысячи на три, на четыре меньше. Экономия на одном том, что не надо строить жилищ этим рабочим и их семьям, составит около ста миллионов — вот перерасход частично и возвращается. Но главное не в этом. Главное в том, что экономится зарплата — тоже миллионов около ста в год. Заводу стоять минимум полсотни лет, а все перерасходы окупаются за первые четыре-пять лет — разве это не поразительно? Теперь я спрашиваю вас: какой вариант экономически выгодней?

Он обращался больше всего к Кабакову, главному своему противнику. Кабаков был известным в стране специалистом по огневой металлургии, на его заводах были достигнуты самые высокие показатели, каждая из многочисленных орденских колодок на его груди отмечала особую ступень использования печей — это были не столько знаки его личного почета, сколько вехи развития ныне низвергаемой технологии. И Пустыхин, верный открытому им закону, что «счастливые случайности заранее организуются», целеустремленно бил в эту точку, убеждал в своей правоте Кабакова. Вслед за ним выступили другие проектанты, каждый смотрел на молчаливое, замкнутое лицо Кабакова, тоже обращался к нему. Они, оказывается, давно уже знали о новом проекте Пустыхина, смело его поддерживали: Пустыхин провел обширную подготовку и тут. Кабаков не выдержал этого широко задуманного нападения. Он спросил с досадой:

— Не понимаю, к чему горячие убеждения? Не мы, производственники, решаем эти вопросы. Ваши наметки будут изучаться в Госплане, там скажут окончательное слово.

На это Пустыхин ответил, торжествуя:

— Ваше слово нам важнее решений Госплана. Лучше вас никто не знает технологии. Если вы скажете «да» новому процессу, ему не осмелятся стать на дороге.

Его удар попал в цель — сумрачный Кабаков улыбнулся. Но он еще не желал сдаваться.

— Тут некоторые товарищи указывали, что новый завод только называется металлургическим, а по существу, что-то вроде ректификации спирта или нефтяной перегонки, — заметил он. — Дело, конечно, не в форме, если ректификация руды пойдет — пусть идет! Речь о том, что напрасно вы хороните огневую металлургию: возможности ее далеко не исчерпаны. Я считаю, что автоматизация агрегатов открывает новые горизонты на наших заводах.

Пустыхин немедленно отозвался:

— А я попрошу Тимофея Петровича доложить собранию, каково его мнение об этих горизонтах.

Кабаков с любопытством смотрел на злого Крутилина, пробиравшегося к трибуне. Кабаков не сомневался, что Крутилин опорочит автоматизацию и постарается укусить его, Кабакова: директор медеплавильного был не из тех, кто легко забывал обиды. Крутилин начал с того, что автоматизация, точно, разворачивает новые горизонты, весь вопрос в одном, какая автоматизация. Автоматизация, проводимая Лесковым с высокого благословения Кабакова, — кустарщина, а не горизонты — таково его глубочайшее убеждение. Несерьезно подходят к трудной проблеме автоматизации, вот в чем беда. Автоматизация — это реконструкция производства, а не нашивание заплаток на мелкие дыры, даже ремонт оборудования ведут серьезнее, чем автоматизацию: планируют его, оговаривают сроки, чертежи подготавливают. Чего он требует? Глубины и деловитости. Составьте предварительно толковый проект, охватите обучением всех производственников, массы поднимите на автоматику, зажгите массы пафосом автоматизации, как зажигали раньше пафосом строительства, — только тогда развернутся горизонты. А что касается доложенного Пустыхиным проекта, то проект ему нравится, он решает проблемы, которые на старых агрегатах уже не решить. Конечно, придется переучиваться. Ничего, люди не машины, можно и переучиться, а кто не сумеет, тоже есть решение — выходи на пенсию!

Крутилин не удержался от этого последнего выпада, он метнул сердитый взгляд на Кабакова. Тот усмехнулся, непонятное другим упоминание о пенсии развеселило его, почти примирило с речью Крутилина. Кабаков предложил:

— Давайте еще Лескова заслушаем, его эти вопросы ближе других касаются.

Лесков волновался. Он не мог усидеть на месте, возбужденно перешептывался с Надей. Пустыхин казался ему сейчас невероятным — тот ли это человек, с которым он так отчаянно сражался всего год назад? Лесков любил выспренние образы, ему казалось, что весенний раскованный поток наконец прорвал скалы, вышел на простор, сам прокладывает среди холмов свое русло.

И, встав, Лесков произнес горячую речь; еще недавно она была бы немыслима. Все знают, какие споры происходили у него с Крутилиным, будут они и впредь, но тут он присоединяется к Крутилину: прав Крутилин, они кустарничают, нужно перестраиваться. И еще раз он прав: решение проектировщиков — огромный скачок вперед, надо, обязательно надо помочь скачку совершиться. Огневая или автоклавная металлургия — все равно, важно, чтоб технология была на уровне современных возможностей. Если автоклавы поддаются полной автоматизации, долой печи, да здравствуют автоклавы!

Кабаков больше не спорил. Пожимая плечами, он недовольно заметил Пустыхину:

— Все-таки считаю, что странен этот ваш новый критерий, к пуговице пиджак подбираете.

Пустыхин громко смеялся, он не отвечал на шпильки. Он уже видел, что его проект получит так нужное ему одобрение производственников и что удается к яркой пуговице подобрать хороший пиджак.

Лесков после собрания схватил под руку Пустыхина, еще раз высказал свое восхищение. Нет, нет, он до сих пор не может прийти в себя, это поразительно — такой гигантский скачок вперед!

Пустыхин отшутился:

— Отстающего лупят больше, чем передового, — обернись и дубась. А чтоб передового вздуть, надо его раньше догнать — прямая выгода идти впереди...

Лесков продолжал:

— Об автоклавах мне часто говорил Павлов, и я относился к ним довольно скептически. Но то, что вы сейчас докладывали, не имеет с ними ничего общего — грандиозно, грандиозно!

Пустыхин радостно ухмылялся.

— Очень приятно, что вам понравилось — бывший противник все-таки. А Павлову пришлось перестраиваться, ничего, не брыкался. Под конец его даже одергивали, чтоб не заносился сверх меры — размах пьянит!

После совета Лесков долго гулял с Надей по темным улицам. Шла вторая половина зимы — пора снегопадов и ветров. На эту ночь была отпущена метель. Косой мелкий снег обжигал щеки, резал глаза. Лесков вталкивал Надю из одной парадной в другую. Стоять долго на месте он не мог, возбуждение, одолевавшее его, требовало движения, а Надя быстро уставала от ветра. Она, впрочем, не жаловалась. Она не замечала, что ей невмоготу, он первый догадывался об этом. Когда они бывали вместе, она вообще ничего не замечала, кроме того, что он рядом. Они учились трудному и радостному искусству — смотреть на мир одними глазами, думать о мире одними мыслями; с непривычки это было не просто, на остальное не хватало времени. Мысли Лескова были глубже, он захватывал шире, Наде поневоле приходилось подлаживаться к нему. И хоть физической близости у них еще не было, они были уже близки самой высокой и тесной близостью — двух половинок целого. Она, однако, далеко не во всем соглашалась; и он ей уступал.

— Знаешь, Надя, — восторженно говорил Лесков, — теперь собственная работа кажется мне пустяком и вздором. В конце концов я заплаты ставлю, как выразился Крутилин. А Пустыхин с Павловым открывают новые пути — вот она, возвещенная революция в технике!

Это был один из тех редких случаев, когда Надя возмутилась.

— Не смей больше! — приказала она. — Слушать тебя не хочу — заплатки! Это я, по-твоему, дыра, что на меня нужно заплатки ставить? Ты помогаешь мне, тысячам таких, как я, вот что ты делаешь!

Она так гордилась им, что не позволяла ему умалять его собственную работу. Чтоб не сердить Надю, он старался себя не слишком ругать. Сегодня, правда, был особенный день, в такой день хотелось восхищаться чужими достижениями, радоваться тому, что другие умнее тебя, горевать, что до них уже не дотянуться. Но Надя не делала скидок на особые дни, все дни в ее календаре были окрашены в один цвет — цвет ее любви к нему, веры в него.

Лесков заговорил о другом.

— Когда же мы кончим эти прогулки по улицам? — воскликнул он со смехом. — Честное слово, мы всю нашу жизнь растеряем на тротуарах. Завтра я устрою скандал в жилищном управлении, не постесняюсь!

— Устрой, устрой скандал! — шептала Надя, прижимаясь к нему. — Не стесняйся! А когда нам дадут комнату и мы заживем, как все, я признаюсь тебе, что это было лучшее время в моей жизни — наши прогулки в пургу и мороз. Но только тогда признаюсь, в нашей комнате, раньше не проси!

— И не надо раньше признаваться! — отозвался он. — А то у меня зла не хватит на скандал в жилищном управлении.

Потом они заговорили о Юлии. О чем бы теперь ни размышлял Лесков, он возвращался к этому: что с Юлией?

Тревога томила его, он не мог ее скрыть. От Павлова пришла успокоительная телеграмма: Юлия лежит, ничего нового нет. Долго ли будет она еще лежать, чем это кончится?

— Знаешь, — сказала Надя, — меня удивляет и трогает твоя любовь к Юлии. У тебя даже лицо меняется, когда ты заговариваешь о ней.

Лесков задумчиво ответил:

— Я раньше и не представлял, что так люблю ее. Я часто думаю о прошлом и вижу, что вел себя эгоистично, неблагодарно, во всяком случае. Юлия отдала всю свою жизнь мне, а я считал, что это естественно, иначе и быть не может. Я даже временами злился на нее за излишнюю заботу, старался избавиться от ее опеки, хотя и шагу не мог ступить без нее. А сейчас мне бесконечно не хватает Юлии, она мне просто необходима, даже ты не можешь заменить ее. Ты не сердишься?

— Ну, что ты! — воскликнула Надя. — Я понимаю тебя.

Лескову казалось, что причиной этой внезапно нахлынувшей любви к сестре было ее тяжелое состояние. Он еще не знал, что сам изменился: стал мягче и человечней, глубже и серьезней.

31

Казалось, все дни были заполнены одним чувством. Лесков много и напряженно работал: нужно было готовить материал к предстоящей поездке в Москву. Но когда позже он вспоминал эти дни, он помнил только, что думал о Юлии. Она была далеко, в Ленинграде, была прикована к постели, но еще никогда она не была так близко от него: протяни руку — и погладишь ее волосы, скажи слово — и услышишь ответ. «Говорят, так думают об умирающем, — с тревогой размышлял Лесков. — Нет, это невозможно, нет, все будет хорошо!»

Новое чувство теперь примешивалось к его любви к сестре — гордость за нее. Он-то знал, как тверда и бесстрашна Юлия, теперь все это знают — только она могла решиться на такой режим, только ей доступно выдержать его до конца. «Юлька, Юлька! — горячо думал Лесков. — Я верю в тебя, ты такая, ты все перенесешь! Все будет хорошо, слышишь меня?»

Он повторял эти слова, как заклинание, непроизвольно бормотал их вслух, растроганный, он верил в них.

За первой телеграммой от Павлова пришла вторая, такая же: Юлия лежит дома, нового нет. Затем прошло несколько дней без вестей и примчалась срочная телеграмма: «Немедленно приезжай, — требовал Павлов, — С Юлией плохо. Хочет тебя видеть».

Глаза Лескова еще бегали по телеграмме, а рука срывала телефонную трубку — вызвать Кабакова.

— Нужно, конечно, ехать, — решил директор комбината. — Бери отпуск на десять дней. Сейчас позвоню, чтоб в самолет посадили вне очереди. Оттуда сообщи, как сестра. И не забывай о нашей совместной командировке.

— Не забуду, — уверил его Лесков! — Меня пока заменит Закатов. Он в курсе всех дел и подготовит нужные для нас материалы.

После этого Лесков позвонил Наде.

— Я помогу тебе, — вызвалась Надя. — Через полчаса сдам смену и немедленно приеду. И на аэродром провожу.

Он ждал ее в такси, чемодан уже лежал в багажнике. Он ехал на аэродром молчаливый и подавленный, Надя тоже молчала: слова сейчас были не нужны. Только прощаясь, она горячо сказала:

— Поцелуй Юлию за меня! Крепко поцелуй, очень крепко! И каждый день телеграфируй!

— Поцелую, — сказал он грустно. — Буду телеграфировать.

Через день утром он стучался в дверь своей старой квартиры. Никто не ответил. Тогда он застучал к соседям, сразу ко всем. На лестничную площадку вышли соседки и наперебой стали поздравлять его с приездом. Он оборвал их вопросом: «Ради бога, что с Юлией?» И по тому, как сразу все стали серьезными и никто не обиделся на его грубость, он понял, что Юлии лучше не стало.

— В больнице Юлия Яковлевна, — сказали соседки. — Нехорошо с Юлией Яковлевной.

Он оставил свой чемодан у одной из соседок и помчался в больницу. И здесь все внешние признаки были недобрыми: ему сразу выдали халат, сразу пустили наверх, вежливо просили обождать в приемном покое. В этой больнице, как, впрочем, и во многих других, посетителей, словно вредную, но неизбежную помеху, кое-как терпели только в официальные часы приема. Хорошее отношение проявлялось лишь к родственникам умирающих: смерть требовала вежливости и чуткости. Лесков присел на покрытую клеенкой скамейку, с отвращением втягивал в себя воздух — в нем плыли какие-то специфические запахи, они напоминали о том, что кругом страдают люди, заранее заставляя страдать тех, кто еще не болел. Потом в дверь быстро вошел Павлов, и Лесков, вскрикнув, пошел к нему навстречу. Он был подготовлен к известию, что Юлия уже умерла, но не к тому, чтобы увидеть такое лицо Павлова. Павлов был страшен, это был совсем другой человек. Встреться они на улице, Лесков прошел бы мимо, не узнав. Лескову казалось, что на исхудавшем и постаревшем лице Павлова не осталось ничего, кроме нестерпимо сиявших глаз. Оба они, обняв друг друга, долгую минуту стояли молча. Павлов, вздрагивал от беззвучных рыданий.

— Ты скажи одно: жива она? — спросил Лесков, хватая Павлова за плечи и отводя от себя.

— Жива, жива! — ответил Павлов, вытирая слезы, — Еще жива... Скоро выйдет Семен Осипович, он скажет, сколько ей осталось жить.

— Можно к ней? — спросил Лесков. — К кому надо обратиться, чтоб немедленно увидеть ее?

— К ней нельзя, — сказал Павлов. — Меня тоже не пускают. Надо ждать.

— Тогда сядем, Николай. И расскажи мне все, что вы утаивали эти месяцы.

— Это Юлия утаивала, — ответил Павлов. — Она жалела тебя, Саня, не хотела беспокоить.

Он рассказал то же, что Лесков слышал уже от Пустыхина. В последние недели Юлии было лучше, она уже повеселела. А потом наступила развязка. Позавчера ее отвезли в больницу, роды продолжаются уже третий день. Она так слаба, что у нее нет сил на потуги, а ребенок крупный. Она тает на глазах. Семен Осипович прямо сказал, что долго таких мук Юлия — не выдержит. Около ее постели дежурят врачи, был снова консилиум, сейчас тоже проходит, только как он может помочь?

— Я хочу видеть ее, — проговорил Лесков с тоской, — хочу видеть ее!

Из палаты вышел крупный мужчина с мускулами боксера и красным живым лицом. Это был знаменитый в городе Семен Осипович Бурчис, гинеколог. Рассказывали удивительные истории о его смелости и врачебном искусстве. Сейчас он почтительно склонялся перед старухой огромного роста с пронзительными глазами и уродливым лицом. Сзади них шел изящный невысокий мужчина в золотом пенсне.

— Ну, уж страхи! — сердито говорила старуха густым, громким голосом. — Вот если бы вы в свое время настояли на аборте, — другое дело, это было бы разумно. А сейчас, чего там!

— Кто эта дама? — спросил Лесков Павлова. Старуха показалась ему неприятной. Павлов не успел ответить ему, все трое замолчали и вопросительно посмотрели на Лескова. Он встал.

— Это брат Юлии, Александр Яковлевич Лесков, — сказал Павлов, тоже поднимаясь.

Старуха шагнула вперед и крепко, по-мужски, тряхнула руку Лескова.

— Очень приятно. Вовремя приехали. Обо мне вы, вероятно, слышали, я профессор Волковская, сослуживец и вечный оппонент вашей Юлии; нет дня, чтоб не ругались. А это профессор Понсович, наш хирург.

Понсович с приятностью поклонился Лескову, но руки не подал. И, видимо, считая, что официальные представления закончены, Волковская снова повернулась к обоим врачам и сказала еще сердитей:

— Удивительное дело, чего вы боитесь? Сейчас отрезанные руки и ноги пришивают, умершего человека воскрешают, а тут операция, известная науке две тысячи лет.

— Операция известна давно, но больная слаба, — мягко возразил Понсович. — Речь о том, что в операции подобного рода летальный исход не может быть полностью исключен.

— Палец пораните — тоже летальный исход не исключен, — отрезала Волковская. — Другого выхода у вас нет, если у нее два первых дня не хватило сил на роды сейчас не хватит и подавно. Мое мнение — немедленно операцию. И ничего страшного не случится — через месяц будем ругаться с ней крепче прежнего.

Понсович пожал плечами. Бурчис весело проговорил, потирая руки:

— Не возражаю, буду ассистировать.

Понсович повернулся к Павлову и сказал официально:

— Вы слышали наш разговор, товарищ Павлов? Опасаемся, что иного выхода, кроме немедленной операции, уже нет. При тяжелом состоянии больной операция может окончиться смертью. Вам обоим придется дать официальное согласие и указать что вы были предупреждены.

— Даю согласие, — сказал Павлов, бледнея и задыхаясь.

Лесков взял его под руку, ему показалось, что Павлов сейчас упадет. Сам он тоже поспешно сказал:

— Я согласен!

— Будете ждать здесь или поедете домой? — спросил Бурчис и, видимо, понимая, что иного ответа быть не может, сказал, не дав Павлову рта раскрыть: — В мой кабинет пройдите, там и вздремнуть сумеете.

В кабинете Бурчиса им подали чай и печенье. Павлов ни до чего не притронулся, а Лесков съел и свою порцию и порцию Павлова: он уже сутки ничего не ел. День тянулся мучительно. Павлов совсем потерял контроль над собой; он сидел, опустив голову на руки, и что-то бормотал, словно в бреду, потом вдруг хрипло, лающим голосом начинал рыдать без слов. Лесков успокаивал его, то обнимал и гладил по голове, то в гневе и отчаянии стучал кулаком по столу и кричал — это даже лучше действовало. Потом Павлов заметался по комнате.

— Она умирает, она умирает! — бормотал он, захлебываясь все тем же хриплым, сухим рыданием. — Боже мой, она умирает!

— Перестань! — яростно крикнул Лесков, с силой хватая его за плечи и усаживая на диван. — Мужчина ты или тряпка? Возьми себя в руки.

На несколько минут Павлов затих. В комнату вошел измученный, но веселый Бурчис.

— Половина дела уже сделана! — сказал он глухим от усталости голосом. — Ребенка спасли — мальчик, крепыш будет! Больная потеряла много крови за эти дни, сейчас снова делаем переливание.

— Послушайте, — попросил Лесков. — Возьмите мою кровь, у меня первая группа, как у нее. Бурчис махнул рукой.

— Не требуется. Крови у нас хватит. Ну, успокойтесь, успокойтесь, говорю, половина дела сделана, остальную тоже сделаем.

Но Павлов не слушал его утешений. Он с ожесточением отмахнулся от поздравлений Лескова.

— Зачем мне сын? — шептал он, видимо, не понимая, что говорит. — Зачем мне сын, если ее не будет? Зачем? Зачем?

Еще через некоторое время пришла Волковская и грузно опустилась на диван.

— Будет жить, — сказала она твердо. — Ну, что вы так уставились? Говорю, еще не раз с ней поругаемся.

Павлов, сразу ослабев, приткнулся к ее плечу и снова заплакал, уже слезами. Волковская гладила его волосы большой морщинистой рукой, ласково говорила грубым голосом, больше привыкшим к спорам, издевкам и приказам, чем к ласке:

— Ну, ничего, ничего, успокойся! Разревелся, как мальчишка, а у самого половина головы седая. Будет, будет жить, глупый!

Но Павлов все не мог поверить и немного успокоился только после того, как Понсович подтвердил, что операция прошла благополучно и состояние больной хоть и очень тяжелое, но обнадеживающее.

— Окончательно ручаться нельзя, но, по-видимому, жизнь вне опасности, — сказал Понсович, с сочувствием глядя на измученного Павлова.

Лишь после этого разговора Павлов спросил о сыне. Сына ему не показали, но сообщили: вес — три килограмма восемьсот, рост — пятьдесят пять сантиметров, похож на маму, характера веселого. Павлов выпил стакан бульона и внезапно уснул. Он спал сидя, привалившись к Лескову, — тот не вынес напряжения и уснул раньше.

Только через несколько дней их пустили в палату. Юлия лежала одна в чистенькой комнате, на чистенькой кровати, вся чистенькая, прозрачная и бессильная. Она взглянула на Лескова — ни губы, ни веки ее не шевельнулись, только по лицу пробежало что-то похожее на улыбку. Потом медленно, словно это ей давалось со страшным трудом, она повернула голову к Павлову. Павлов затрясся, сделал шаг вперед, собираясь кинуться на колени перед кроватью, в исступлении целовать Юлины руки, но Лесков и санитарка вцепились в него с обеих сторон, — он только смотрел молчаливо и отчаянно на жену, передавая ей взглядом свою любовь, свой восторг, свое страдание. И, видимо, всего этого было слишком много для нее — она устало прикрыла веки.

— Посторонитесь, товарищи! — весело сказала вошедшая сестра. — Большой человек идет.

Она высоко подняла вверх сверток: из беленькой рамочки глядело сонное, морщинистое, старческое лицо ребенка. Санитарки откинули одеяло и, стараясь не тревожить Юлию, умело примостили к ней сына. Маленький сонный человечек ожил, крепко ухватил мать за сосок, причмокивал, пуская молоко мимо рта. Юлия снова медленно приподняла веки, приоткрыла рот, на щеках ее появился нежный, легкий румянец. У ее груди шевелился, посапывал живой упругий комочек, жадно высасывая из нее остатки ее прежней, ослабевшей жизни, возрождая ее своей молодой, крепкой жизнью.